



**САМАРИНЫ
МАНСУРОВЫ**
Воспоминания
родных

*На первой странице
обложки:*

Москва. Вид на
Кремль, XIX в.
Акварель работы
М.Ф. Мансуровой.
1948 г.



Православный Свято-Тихоновский Богословский институт

САМАРИНЫ
МАНСУРОВЫ

Воспоминания родных



Москва
2001

ББК Э 372.24
УДК 947 (093)
М237

Самарины. Мансуровы. Воспоминания родных

М.Ф. Мансурова. Детские годы

М.Ф. Мансурова, Е.А. Чернышева-Самарина, А.В. Комаровская. Мансуровы
Е.А. Чернышева-Самарина. Александр Дмитриевич Самарин

ISBN 5-7429-0152-6

© Издательство ПСТБИ, 2001

Предисловие

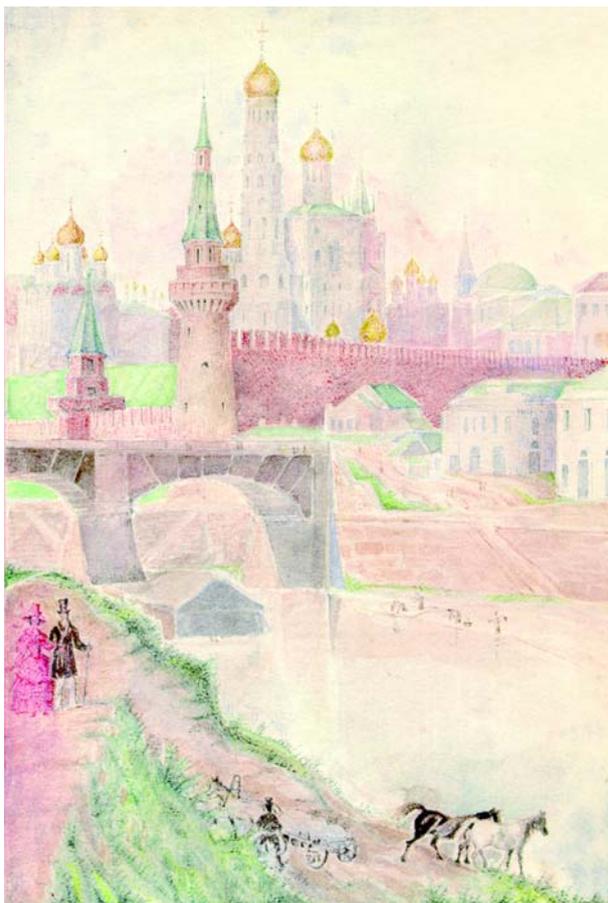
Публикуемые воспоминания рассказывают о двух поколениях одной семьи Самариных-Мансуровых. Ее члены, разные по характерам и судьбам, сходны в своем предстоянии перед Богом, верой, давшей им крепость во времена испытаний. Они пронесли ее до конца с твердостью и чистотой, оставив по себе след, любовь и благодарность знавших их за все, что они им дали.

При написании мемуаров авторы не думали о совместной их публикации. Но сейчас представляется естественным опубликовать эти материалы вместе. Частично они уже публиковались, рукопись “Мансуровы” публикуется впервые.

Мы благодарны А.В. Комаровской и С.Н. Чернышеву за разрешение напечатать воспоминания их родных. Все фотоматериалы также предоставлены нам из их семейных архивов.

В конце книги помещена часть родословного древа семьи Самариных.

В тексте допущена небольшая стилистическая, орфографическая и пунктуационная правка. Примечания А.В. Комаровской, С.Н. Чернышева и редакции вынесены в конец книги. Авторские примечания напечатаны под страницей текста. В тексте замечания редакции помещены в угловых скобках, авторские — в круглых.



Москва. Вид на Кремль, XIX в.
Акварель работы М.Ф. Мансуровой. 1948 г.
Из архива А.В. Комаровской.

М.Ф. Мансурова

Детские годы



Антонина Николаевна Самарина*

Матери моей было 36 лет, когда, после четырехлетней болезни, она умерла, оставив нас, четверых своих детей и отца. Старшей сестре Соне¹ было в то время пятнадцать лет, мне, младшей — семь.

Тридцати двух лет Мама́ заболела стрептококковой ангиной, — это и было началом ее четырехлетней болезни — сепсиса. Отец мой делал все, что тогда было возможно, чтобы Мама́ преодолела болезнь. Доктора посылали ее на юг, надеясь для нее на солнце, тепло, морской воздух. Других средств борьбы с этой болезнью в то время не было. Мама́ не соглашалась уезжать без нас, и потому мы, как птицы, стали переселяться в теплые края всей семьей, от осени до весны. Таких зим, проведенных нами на юге, было четыре. Вот эти четыре зимы и, между ними, четыре лета в Измалкове — последние в земном пути Мама́ — остались в моей памяти насыщенными ее образом. Но, хотя смутно, помню еще одну зиму, более раннюю, до заболевания Мама́, проведенную нами в Москве. Мне было тогда три года. Запишу все, что осталось у меня в памяти о Мама́ за эту зиму.

Мы жили тогда на углу Поварской и Скатертного переулка, в доме Нефедьевой. Брат Дмитрий², на три года стар-

* А. Н. Самарина, урожденная княжна Трубецкая (род. 1 сент. 1865 г.,

† 4 марта 1901 г.)

ше меня, я и наша няня, Екатерина Петровна, жили вместе. Наша комната, детская, выходила во двор. Мама приходила к нам больше в тех случаях, когда мы заболели, поставить градусник, дать лекарство или, чтобы унять большой каприз, с которым няня не могла справиться. И до заболевания ангиной Мама была очень слабого здоровья и заниматься с нами много не могла.

Уже тогда она была для меня вершиной красоты и совершенства — ее приходы в детскую были как дар свыше, волновали и радовали. В старенькой подкладке ее мантильи из шелка “changeant”³ были, как на шейке голубя, зелено-алые переливы. На не очень маленькой, но тонкой и легкой руке Мама было два кольца — обручальное и другое, с небольшими рубином и сапфиром. Темная, морская синева глубоко сидящих глаз, одухотворенность очертаний — граней лба, глазных впадин, переносицы, на ее еще молодом, но утомленном лице, задумчивость — вот образ, запечатленный моим трехлетним зрением на всю долгую жизнь.

Темноватая спальня Папа и Мама была угловой комнатой. За большим зеркальным стеклом орехового полированного киота зеленая лампада на подставке освещала не старые, но благообразные, спокойно написанные иконы в серебряных ризах и, между ними, перевитые золотом венчальные свечи с пожелтевшими лентами. Перед сном я приходила в эту спальню, чтобы на ночь помолиться с Мама, повторить за ней “Богородице Дево, радуйся...” и “Господи, помилуй Папа, Мама, Сою, Варю, Дмитрия, Маню, дедушек, бабушек, дядей, тетей и всех православных христиан”. В этой же спальне Мама слушала, как я, трехлетним голоском произнося “р” не языком, а горлышком, так же как и Мама, говорила выученные мною стихи: “Поздняя осень, грачи улетели...” Стихи эти были грустные, и я еще в то время не стеснялась в присутствии старших произносить их с чувством.

Мама была музыкальна и хорошо играла на фортепьяно. Ее детство и юность прошли в семье, насыщенной музыкой. Ее отец, дедушка Николай Петрович Трубецкой⁴, близкий с братьями Рубинштейн, вместе с ними создал Московскую Консерваторию. Лето Трубецкие проводили в своем родовом подмосковном имении Ахтырка и там, летними вечерами, на двух инструментах играли Николай и Антон Григорьевичи.

Мама́ получила в приданое, а может быть, в подарок от бабушки Самарина, хорошее фортепьяно фирмы Блютнер. В доме Нефедьевой оно стояло в проходной, между залой и гостиной. Мама́ играла больше классические вещи — сонаты Бетховена, Моцарта, Баха, прелюдии Chopin, и мы, ее дети, рано начали узнавать и различать произведения этих композиторов.

Папа́ был совершенно глух к западной музыке; на него действовала музыка только церковная — напевы и ритмы любимых им ирмосов и стихир. Родная ему стихия, стихия с л о в а , ритмически вводила его и в область звука, и тут напев был ему нужен и необходим. Из западной музыки Папа́ узнавал только одну сонату Бетховена, “Quasi una Fantasia” (Лунная) и еще одну прелюдию Chopin — “La goutte d’eau”⁵, узнавал по особому ритму этих вещей, чем веселил Мама́. Иногда Мама́, желая нас приучить петь хором, садилась за фортепьяно, собирала нас, и, бегло аккомпанируя себе, пела, не сильным, но верным альтом, очень мелодичную песенку: “Белым снегом за-а-а-метало луг и лес кругом, и затихнув, ре-е-ечка стала, ско-о-о-ванная льдом”. “P” Мама́ произносила горлом, как французы, но мягко, не раскатывая.

Этой зимой помню Мама́ перед концертом, одетую в платье из мягкого рубчатого шелка цвета “lie de vin”*, и на шее — жемчуг. На ее всегда утомленном и бледном лице был румянец, и в синеве глаз — блеск. Меня поразило видеть Мама́ другую, чем утром, в детской, и опять этот виноградно-алый тон, сопровождавший в моем зрении ее лик. Платье это, отделанное бархатом того же цвета, впоследствии хранилось в большом кованом сундуке, в измалковской кладовой, где лежало все, оставшееся от приданого Мама́.

Мама́ не была рукодельна, я никогда не видела ее с иглой в руках. Единственным произведением ее рук были елочные украшения. Особенно хорошо она клеила колокольчики из папирсной бумаги нежных цветов. В эти наши дозаграничные зимы в Москве у нас, в доме Нефедьевой, на Рождестве бывали елки. Высокая до потолка и свежая, елка приносила в дом благоухание родного измалковского леса, откуда она попадала в нашу залу. Приготовление украшений начиналось задолго

* Lie de vin (франц.). — осадок от вина, мутно темно-розовый цвет.

с большим участием Мама́, и как нам дорого было это ее вдохновение, и как нравились эти нежные колокольчики, выходявшие из ее легких рук!

Папа́ тоже ждал Праздника, но для него не елка была его средоточием. Он ждал Сочельника, когда под колокольный гул с “Ивана Великого” он, на извозчике, повезет Соню и Варю⁶ в Кремль, в Успенский собор, к вечерне, чтобы и они услышали и полюбили дорогие ему слова, слова о Тайне Воплощения в высоком созерцании византийских песнопевцев. Все четыре Рождественских стихиры на “Господи воззвах”, с их высоким умозрением, Папа́ переживал сильно, вникая в каждое слово, в каждую мысль, любясь каждым образом, но особенно его волновала последняя, на “Слава, и ныне” — творение инокини Кассии: “Августу единоначальствующу на земли...” На него действовала и сама стихира с ее рядом противопоставлений исторического с надмирным, действовал и этот непостижимо волнующий внезапный переход с неба на землю, в земной исторический час. И еще не успеет раскрыться содержание стихир, все ее построение, с ее вестью об ином Царстве, пришедшем на землю тогда, когда Август владел землей, как уже эти первые вводные, торжественные слова об Августе, о земном величии его единовластия, сразу начинали волновать Папа́, давая предчувствие следующих слов... и Папа́ плакал.

Так мы готовились к елке и к Празднику. На елку сходились с двух сторон родные Папа́ и Мама́ — Самарины с Поварской и Трубецкие с Пресни. У бабушки Трубецкой⁷ хорошо выходила елочная музыка. Она бодро и весело играла, откинув за плечи мешавшую ей серую плиссированную мантилью, весело оглядываясь на нас и на елку.

Мама́ любила и умела делать подарки. Вот в эту зиму яшла под елкой свой подарок — свиток писчей бумаги (без линеек), цветные карандаши и толстую клеенчатую тетрадь тоже без линеек. Кроме того, я получила семью крошечных белых фарфоровых кроликов, не говоря о хлопушках, стеклянных шарах и других елочных радостях, которые мы могли брать с елки сами. А гладь белой бумаги так вдохновляла! И на все, чем вскоре начали заполняться страницы тетради, мне нужен был отклик Мама́ и ее одобрение. Довольно равнодушна была Мама́

к своим платьям, но очень внимательна к нашим. Платья наши шились дома из не очень дорогих материй: роскоши не было, но примерки тянулись для нас утомительно долго; Мама́ все добивалась от домашней портнихи Дуняши тех линий и форм, каких ей хотелось видеть на нас, и была неуступчива, не мирилась с тем, что ей не нравилось. Линии этих простеньких платьиц из пикэ, бумазеи или фланели — выискивались. Так же из-за матросских блуз Дмитрия Мама́ боролась с Дуняшей, добиваясь свободных и просторных. Бабушка Трубецкая говорила: “Elle est bien plus coquette pour ses enfants que pour elle”⁸.

Эта зима, последняя в Москве, была еще ничем не омрачена, и Мама́, еще молодая, могла и хотела нас веселить. Она пишет своей матери: “Езжу с детьми по елкам”. Для себя она не искала развлечений. После замужества жизнь ее шла в домашнем и родственном кругу. Внутренняя и внешняя утонченность Мама́, женственность и красота не расточались вовне. Концерты были для нее не развлечением, а чем-то органически ей нужным.

Этой зимой, а может быть и годом раньше, в доме Глебовых, на Молчановке, был детский костюмированный бал. Мама́ захотела и нас четверых одеть каждого в подходящий костюм. У пятилетнего брата Дмитрия, очень застенчивого, было лицо королевича, и как хорош он был в бархатном кафтанчике, расшитом на груди, сафьянных сапожках и шапочке древнерусского сокольничьего. Меня, двухлетнюю, Мама́ одела в длинное до пят кисейное платьице “Empire”⁹ и локоны зачесала вверх. Такое же платье было на девятилетней Варе и очень шло к ее тонкому профилю. Совсем не кокетливая, задорная, смелая, способная хохотать до упаду, Соня была почему-то одета в кокетливый костюм цветочницы, в бархатный корсетик, кисейные рукава, с соломенным лотком для буажных цветов. Папа́, кажется, не очень сочувствовал такому раннему участию в маскараде, особенно таких крошечных детей, как брат и я, и видел в этом какую-то игру Мама́ в нас маленьких, еще ничего не понимавших, но Мама́ это было весело, и он уступал.

Если Мама́ проявляла творчество, отстаивая свою утонченность и вкус, когда касалось наших одежд, то в убранстве квартиры в доме Нефедьевой проявлялась другая ее черта — здесь, наоборот, она с большой скромностью подчинялась стилю своего времени,

стилю 90-х годов, оставаясь в этом русле. Не видно было и тех исканий к преодолению стиля, какие заметны были уже у многих, и даже в доме дедушки Самарина у сестры Папá, тети Сони¹⁰. Но, в пределах низкого художественного уровня этой эпохи в целом, все было благообразно, ясно и спокойно. Три окна нашей гостиной, выходящих на тихую Поварскую, были сверху донизу завешаны кружевным тюлем. Мягкая мебель с помпонами, обитая чем-то мутно-розовым, передвигалась на колесиках и была расставлена несимметрично. Перед большим турецким диваном, покрытым пестрым восточным ковром, лежала на полу огромная волчья шкура с головой, подбитая сукном. Громоздкие китайские вазы служили подставками для ламп с шарообразными стеклянными абажурами. На столах расставлены были фотографии родных в кожаных и бархатных рамках. Все это убранство, очень обыкновенное для 90-х годов, было “как у всех”. Таким же обыкновенным был и кабинет Папá.

Федор Дмитриевич Самарин*

Кабинет был тем местом, куда Папá уходил от семьи. Уже лет шесть прошло с тех пор, как он, оставив службу, перешел к работе над теми вопросами, которые он считал себя призванным осознать для себя и для общества. Чувство ответственности перед родиной было ему присуще в той же силе, как его дяде и учителю Юрию Федоровичу¹¹. Папá был живым носителем и звеном традиции, утверждавшей ценность самобытной русской духовной культуры. Эта мысль освещала его путь и труды, вводила их в единое русло. Окруженный течениями, враждебными этой идее, сознавая себя ее преемником, почти единственным, Папá чувствовал большую ответственность и был, может быть, несколько подавлен своей духовной ношей.

Как мог Папá так рано бросить службу? Он был послушным сыном своего отца, строгого и разумного дедушки Дмитрия Федоровича¹², и был с ним в единомыслии. Его ранний уход со

* Ф. Д. Самарин (род. 4 февр. 1858 г., † 23 окт. 1916 г.) <см. прим. на с. 209>

службы, несомненно, совершился с согласия дедушки. В свое время дедушка был свидетелем той жертвы послушания, которую его старший брат, Юрий Федорович, принес своему отцу, строгому Федору Васильевичу¹³. По высказываниям самого Юрия Федоровича, он отдал лучшие годы и силы бесплодной служебной деятельности, сознавая в себе большие силы для иной, более важной творческой работы. Имея этот семейный опыт, дедушка не захотел его повторять со своим сыном. Если между Юрием Федоровичем и его отцом было внутреннее расхождение в понимании жизненного пути и долга перед родиной, то здесь между отцом и сыном было единомыслие. Чтобы избрать этот свободный путь, надо было, подобно Юрию Федоровичу, ощущать в себе силы иные, чем нужные для службы, надо было и дедушке верить, что этот переход не будет переходом от дела к безделью. И дедушка верил: он, в своей жизни не знавший праздности, материально устроил жизнь своего старшего сына так, что освободил его не только от необходимости служить, но и от многосложных и суетных дел по управлению теми имениями, где нужен был хороший хозяин.

Сделать такой выбор пути и деятельности помогла и глазная болезнь Папá, очень мешавшая ему в годы службы. Образ действий дедушки накладывал на Папá большую нравственную ответственность — ему надо было оправдать доверие отца. При всем таком сочетании ответственностей и при огромном чувстве долга, присутствующем у Папá, не могло быть речи о духовной праздности и покое богатого и свободного человека. Не имея внешних рамок, обязывающих к труду, Папá сознавал опасность потери времени и потому сам создал себе эти рамки. Его занятия проходили в строго определенные часы, и он не любил отступать от заведенного порядка.

В свете руководящей идеи, идеи ценности коренных народных начал, сложившихся в России исторически, работал Папá над вопросом крестьянского землеустройства, вникая в то положение, в каком оказались крестьяне после реформы 61 года. В поисках преодоления тех несовершенств, какие он сознавал, он все же убежденно утверждал преимущества “общины” перед формами землеустройства Запада, какие он считал уместными там, но органически чуждыми для России. Эту мысль он воспринял от старшего поколения славянофилов, но отстаивал ее в свои дни.

Не меньше занимало Папá дело народного просвещения. Здесь, кроме убеждений, у него был еще и личный опыт, который он приобрел за годы службы в Богородском уезде. Ему приходилось объезжать школы, следить за преподаванием, присутствовать на экзаменах. Что он вынес из этого опыта, сказать точно я не могу, но думаю, что ему хотелось вдохнуть в это дело живое начало, и несомненно, в русле тех же основ. Папá придавал огромное значение слову, речи, языку как началу просвещающему; можно думать, что именно этот его филологизм вдохновлял его в этом направлении. И по тому и по другому вопросу Папá иногда выступал общественно, делая доклады, подавая записки в министерства.

Папá тщательно изучал все новое и выдающееся, что появлялось в западной литературе по вопросам Богословия, истории Церкви и научному исследованию текстов Священного Писания, считая себя призванным, подобно Хомякову, быть на уровне течений Запада, освещая их православным сознанием, усваивая ценное, преодолевая враждебные яды протестантизма. Глубже осветить эту сторону мысли и личности Папá, шедшего по пути Хомякова, предстоит впоследствии в связи с брошюрой Флоренского¹⁴ “Около Хомякова”, вышедшей в 1915 году, или, скорей, не осветить, а только рассказать о возникшем тогда богословском споре. Эти труды Папá, связанные с его верой и с Православием, стояли у него на первом месте, и тут он приобрел такие знания, что в последние годы жизни был избран почетным членом Духовной Академии и был выше дилетантизма.

Папá с болью сердца внимательно следил за ходом политических событий, за действиями правительства. По его убеждению, оно роняло тот идеал государственности, который был для него свят. Двум поколениям Самариных, поколению Юрия Федоровича и следующему, где старшим был мой отец, присуща была большая внутренняя независимость, как от действий правительства и отношения правительства к ним, так и от общественного мнения, враждебного правительству. Они мужественно исповедовали свои убеждения и о них заявляли во всеуслышание каждый раз, как к этому призывала их общественная совесть, и, чаще всего, их мнения шли вразрез и с действиями правительства и с господствующими либеральными течениями.

Эта черта, для зорких, окрашивала весь стиль быта и дома. Когда, пятнадцать лет спустя после года, вспоминаемого здесь, в 1912 году в нашу семью вошел как новый ее член Владимир Алексеевич Комаровский¹⁵, человек зоркий и чуткий почти до прозрения, он зрительно, как художник, воспринял эту независимость, увидав ее печать и на одеждах, и на вещах, и на манерах, и на всех и на всем, воспринял как некое господство и силу. Эти впечатления он получил не от квартиры в доме Нефедьевой, откуда мы давно ушли, а от дома Самариных на Поварской, где мы тогда жили вместе с братьями и сестрами Папá. Этот дом был настоящей твердыней и созданием дедушки Дмитрия Федоровича. Но о нем сказать предстоит много дальше.

Папá был филологичен не только по образованию, но и по дарованию. Этот филологизм был основным даром рода Самариных во всех его членах и разнообразно проявлялся в каждом. Этот дар, дар проникновения через слово в область духа, был для них силой просвещающей, был тем “Светом Разума” (Логоса), который “возсиял миру” с пришествием Христа. Этот дар давал им возможность черпать от глубин высочайшего творческого чина из вершин умозрительной поэзии VIII века, века Иоанна Дамаскина, Андрея Критского, Косьмы Маюмского, Кассии и других, вводил их в глубинные недра Церкви, и он же, этот дар, отрываясь от живых родников жизни сердца, становясь силой только умовой, ниспадал в рассудочность, становился силой убийственно мертвящей. Как будет видно дальше, у Папá была большая жизнь сердца...

Живой интерес к художественной литературе, русской и западной, Папá разделял с Мамá. В детстве любимым стихотворением Папá было: “По небу полуночи Ангел летел...” Взрослым он любил Пушкина, Тютчева. Глубоко взволнован был он тогда только что явленным миру творчеством Достоевского, считая его огромной силы выразителем самосознания русского духа и его Слова в культуре Вселенной. Из уст самого Достоевского довелось Папá услышать его мысль о всечеловечности русского духа, прозвучавшую как новое откровение в его речи, посвященной Пушкину, — он присутствовал на знаменитом вечере и был захвачен и силой мысли, и пророческой интонацией. Впечатление от этого вечера

осталось у Папá на всю жизнь, и он не раз рассказывал нам о том, как это было хорошо, какое это было событие. Внутренний образ Папá подтверждал именно эту мысль Достоевского: вера в особое, свое, высокое призвание России сочеталась в нем с любовным и благоговейным отношением к западной культуре, к Европе.

Лет через двенадцать после года, вспоминаемого здесь, Папá провел около месяца в Париже, ради лечения своей старшей дочери Сони. Он вернулся оттуда внутренне обогащенным, под сильным впечатлением от многообразия разносторонних богатств этого удивительного, глубокого и тонкого города, где, по его словам, каждый может найти себе сродное. Папá посещал лекции в Сорбонне, восхищался сумраком туманной Notre Dame, бывал в Лувре, наслаждался богатством книжных магазинов, покупал книги. Красоту книги, качество ее оформления Папá очень ценил — это было его удовольствие и только этим он себя баловал. После этой поездки Папá казался немного отдохнувшим от своего многотрудного служения в кабинете, от скорбных дум...

Дни Папá в Париже и то, как он, такой серьезный и строгий к себе человек, умел их наполнить, как он нашел себя там, было замечено и оценено видевшим его в те дни его beau-frère'ом кн. Николаем Гагариным¹⁶, очень чутким и внимательным человеком. Кроме этой поездки Папá много раз бывал за границей, знал Северную Италию, Венецию, Ривьеру, Дрезден, Мюнхен, Берлин и Вену.

В свободном пиджачке, висевшем на покатых плечах, взад и вперед ходил, почти бегал Папá по своему кабинету, иногда быстро, всегда озабоченно, и часто взволнованно. Ходил и делал жесты руками, разговаривая с невидимым собеседником, диктуя секретарю, слушая его чтение. Зрение его, очень слабое с детства, было еще сильно повреждено в первый год его семейной жизни, когда, после бессонной ночи, из темной спальни Мамá, где только что родилась Соня, Папá, взволнованный, вышел на свет яркого июльского дня и поднял глаза к солнцу. С этого дня начался ряд глазных заболеваний. Чтобы сохранить остаток зрения, окулисты запретили ему читать и писать. Вот почему у нас в доме всегда жил секретарь — какой-нибудь молодой человек,

нуждавшийся в зароботке, семинарист или студент. Если Папá читал сам, то подносил книгу близко-близко к глазам.

Папá был роста выше среднего, но казался ниже, чем был. Его щелеобразные глаза, тонувшие в припухших веках, мы видели очень редко, только когда он снимал очки, чтобы их протереть. Над очками возвышался лоб, высокий и умный, переходивший в лысину. Подстриженная лопаточкой, мелковьющаяся темная окладистая борода обрамляла матово-желтое лицо с чертами крепкими и закругленными. Воротник рубашки он носил отложной. Внутренно свободный от своих одежд, он всегда одевался просто, у недорогих заурядных портных, и не замечал на себе платья. В линии его спины, довольно короткой крепкой шеи и затылка было что-то подъяремное, точно нес он на плечах невидимое бремя — так посажена была голова, в какой-то покорной устремленности вперед и немного ввысь. Во всей его фигуре живость сочеталась с собранной, торпливо скромной учтивостью, с непринужденной детской простотой и устремленностью, во всем его образе сквозила внутренняя энергия и умаленность от большой внутренней полноты.

Кабинет был убран скучно и сухо. На письменном столе стояла пишущая машинка, четыре стеариновых свечи на общем подсвечнике, под общим зеленым абажуром, портрет Мамá в кожаной рамке. И тут были какие-то ковры из Крыма, а может быть, и шкуры. На стенах висели очень скучные увеличенные фотографии с развалинами Рима под стеклом и в рамах. Для меня, в младенческом возрасте, в кабинете было трудно. Я заходила туда здороваться с Папá и прощаться. Папá крестил, целовал, борода его колола щеки. Отряхиваясь, я хотела убежать к няне, к братцу и другу Дмитрию, к фарфоровым кроликам и цветным карандашам.

Чтобы увидеть Папá не только в его кабинете, чтобы увидеть его образ в целом, надо выйти из рамок дома Нефедьевой в 90-х годах, надо в ряде воспоминаний и впечатлений дать образ его сердечной жизни — рассказать, как маленьким мальчиком он горько плакал, когда Бабушка¹⁷ читала ему о жертвоприношении Исаака, о том, как братья Иосифа продали его в Египет, и сильнее всего плакал, слушая о встрече Иосифа с братьями.

Надо увидеть Папá в измалковском лесу, поздней осенью, когда, сопровождаемый шедшей по его пятам примолкшей

младшей дочкой, он шел по просеке в пальто и шляпе, погруженный в глубокую и скорбную думу, иногда, останавливаясь, поднимал голову, слушая шепот осеннего леса...

...Увидать его в Донском монастыре, на могиле Мамá и на домашней молитве, вечером, в ее опустевшей измалковской спальне...

...Увидать, как он, коленопреклоненный, опираясь на трость, плакал, когда на вечерне в Прощеное воскресенье пели великий прокимен: “Не отврати Лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю...”

...Как в сером суконном халате с кистями, с свечей в руках, он в полночь обходил измалковский дом и крестил нас спящих...

...Надо увидеть его в родном храме, церкви Бориса и Глеба на Поварской, когда, в Великую субботу перед литургией, он стоял посреди, у Плащаницы, приодетый, убранный, в сюртуке и белом галстуке, и вдохновенно, трепетно читал для себя и для всех причастников этого дня молитвы к св. Причащению...

...Как в Троицын день он слушал на литургии повесть евангелиста Луки о сошествии Св. Духа и, когда рассказ доходил до того места, где народы, спешившиеся в Иерусалим на праздник, удивляются, слыша речь Апостолов, каждый на своем языке: *...Парфяне и Мидяне и Еламиты...* (Деян. 2,9), Папá уже не мог сдержать слез. Вот именно эти *“Парфяне”* сразу, непостижимо его волновали... (может быть, эта точная историческая справка рядом с чудом).

...Как переживал Папá ирмосы 6-го гласа “Яко по суху пешествовав Израиль...”, как много давал ему ритм напева в сочетании с глубиной вздыханий, нарастающих с каждой песнью...

...Надо было видеть Папá в Cannes, в последние годы жизни Мамá, его рядом с ней, в коляске, кутающего ее ноги в плед, встревоженно целующего ее руку...

...Надо было слышать его уроки, вместе с ним читать послания ап. Павла и знать его любимые места...

Чтобы рассказать обо всем этом подробно, надо было написать целую книгу, но, может быть, и эти немногие намеки все же убедят читающих эти воспоминания, что сухой мир кабинета в доме Нефедьевой, мир, где царили убеждения и нравственный долг, не отражали внутреннего мира Папá в целом, а только какой-то его слой.

Папá был глубоко скорбным человеком, он страдал за Родину, страдал о нестроениях Церкви в ее земном образе, страдал за Мама́, за нас и о своих несовершенствах. Папá не только никогда не терял веры, он не был и на той грани неверия и веры, на какой был Юрий Федорович, в 1843 году преодолевавший гегельянство. Чувство его к Богу было личное и с самого детства горячее, и связь с Церковью органической.

Из многих крестов, какие Папá нес, может быть, самым тяжелым был внутренний крест: в его личности, не в глубинах ее, а в стороне, обращенной к повседневной жизни, была какая-то стена, мешавшая ему в отношениях с людьми, главным образом с детьми, особенно младшими. Для нас он был как-то слишком срезан. Папá тяготился повседневностью житейской, подчиняясь ей как тяжелой необходимостью. Между ним и миром вещественным был разрыв. Свет Христов, просвещавший глубины его духа, не озарял его подножия, и оно оставалось неосвященным и сухим. Неизбежное участие в повседневном, для него непосильное, по чувству долга, держало его на грани раздражения, которое часто прорывалось. И в тоне и в обращении его было что-то такое, отчего мы съеживались и замыкались. Простоты и ласки от себя и от нас Папá жаждал, томились об этом и мы, но стена оставалась непроходимой... Папá во всем обвинял всегда только себя и чувствовал свою вину за всех и за все.

У него был свой духовный опыт — тайну Христианства, тайну снисхождения спасающей благодатной силы на наше “ничто” он познал опытно, не из книг, и был объят этим познанием. Он завещал поставить над своей могилой простой деревянный крест и сделать надпись, взятую из чина панихиды: “погибшее овца аз есмь, воззови мя, Спасе, и спаси мя”.

К концу жизни, очищенный скорбями внешними и внутренними, образ Папá стал просветленным и легким...

Продолжение о Мама́

По воскресеньям Мама́ ездила с нами к обедне в домовую церковь при Убежище для престарелых сестер милосердия. Убе-

жище это находилось в Борисо-Глебском переулке у самой Собачьей площадки и называлось “Христианская помощь”. Там служил болезненный, тихий, благообразный священник, и пели сестры. В церкви было тепло, все раздевались в передней, служба начиналась поздно и продолжалась недолго. Это было удобно для людей со светскими привычками, для всех больных и старых и для детей. Там Мама́ нас причащала. Не помню в этой церкви Папа́ и думаю, что эта светская церковь, где не было простого народа, была ему не по душе. Папа́ чувствовал себя хорошо или в приходском храме, или в Кремле — ему нужна была “соборность” в молитве.

Алая завеса, тихий священник, похожий на образ Спасителя, в руках его Чаша с Св. Дарами и потом серебряный ковшник с красным вином — все сливалось в моем внутреннем зрении с образом Мама́ в драгоценную и нежную святыню. Дома Мама́ ежедневно читала Евангелие и молилась вечером вместе с Папа́. По своему благоговению к молитве Господней “Отче наш” она повторяла ее три раза подряд.

Семья, в которой родилась и выросла Мама́, семья Трубецких, хотя и христианская, не была так насыщена духом Церкви, как та семья, куда Мама́ попала, выйдя замуж. Там, у Трубецких, гораздо позднее стал пробуждаться вкус к православному богослужению, и отчасти, под влиянием Самариных. Но в то время благочестие Самариных, их церковность, их тонкое знание славянского языка и любовь к нему иногда вызывала у Трубецких, вообще насмешливых, подшучивание и остроты. Сестра моя Соня запомнила один из таких случаев, относившихся к началу 90-х годов. Сам по себе этот случай не стоит внимания, но рассказ Сони дает драгоценную подробность о том, что около Мама́ в Вербную субботу лежала раскрытая книга, по которой Мама́ читала славянский текст вербного канона — творение Косьмы Маюмского. Мама́ была больна и ко всеобщей пойти не могла. Это чтение, конечно, шло от Папа́. То, что Папа́ посвящал Мама́ в близкий ему мир церковной поэзии, и то, что Мама́ на это соглашалась, говорит о их духовном слиянии.

О том же говорит письмо Мама́ от предпоследнего года ее жизни, письмо из Сappes в Москву: она описывает своей матери Пасхальную ночь, проведенную ею, по болезни, дома... Мама́ одна, во втором этаже виллы. Папа́, старшие сестры, брат, Елена Митро-

фановна, Иван Иванович — все ушли на boulevard Alexandre III¹⁸ к Пасхальной заутрени. В Cannes была и есть русская церковь.

За окном ночь, благоухание южного сада. Мама́ читает Пасхальный канон — творение Иоанна Дамаскина... В то время мало кто из верующих людей имел богослужебные книги на дому и мало кто знал о богатстве их поэтического и умозрительного содержания. Самарини в этой области были передовыми людьми — это шло от их словесной одаренности, от их филологизма. Они не только благоговели перед тем, что воспевалось песнотворцами, но и наслаждались мастерством художников слова.

Дедушка и Бабушка Трубецкие

О детских годах Мама́ я ничего не знаю. Она была третьим ребенком бабушки и дедушки, а из дочерей — первая. Старше ее были два брата, Сергей и Евгений¹⁹. За ней следовали сестры — Лиза, Ольга, Варя, Линочка (Александра), брат Гриша и, младшая, Марина²⁰.

Дом Трубецких был на Покровке, около Покровских ворот. Лето они проводили в родовом подмосковном имении Ахтырка, в трех верстах от Хотькова. Есть книжка, написанная Евгением Николаевичем Трубецким — “Из Прошлого” (на правах рукописи), дающая яркие образы дедушки и бабушки, жизни в Ахтырке и передающая дух семьи.

Дедушка Трубецкой был сначала очень богатым человеком. Он где-то служил, потому что так полагалось, не интересуясь своим делом. Его любимым делом была музыка, консерватория, в создании которой он принимал участие. Сам он был музыкально одарен и написал элегическую музыку в духе Глинки на слова “Что ты стоишь, мужичек...”. Дедушка был рассеян, всегда углублен в себя, мало замечал окружающее, даже забывал имена своих внуков. Кроме музыки он любил цветы — садоводство, и тут он был внимателен и сам умел работать. Была его фотография в фартуке, с лопатой, среди цветов.

О внутреннем мире дедушки приходится только догадываться, так мало он его проявлял, но думаю, можно смело сказать, что

он не был человеком книжным. Не знаю, насколько он был образован и начитан, думаю, что не слишком. Ни к каким кружкам и течениям своего времени он, по-видимому, не примыкал и не был общественным деятелем. Природа его души была созерцательно отвлеченной, он о чем-то своем все время думал. Прелестная мелодия его романса, очень грустная, говорит о лирическом строе его души. Служить дедушка все-таки мог. Под конец жизни он был опекуном какого-то московского института и не хотел бросать это дело, несмотря на плохое состояние сердца, пока не закончит каких-то задуманных им планов.

Бабушка Софья Алексеевна, рожденная Лопухина, была второй женой дедушки. Первая его жена, казачка Орлова-Денисова²¹ умерла молодой, оставив сына и двух дочерей. Эти старшие дети дедушки жили отдельно от новой его семьи. Совсем молоденькой девушкой Софья Алексеевна Лопухина вышла замуж за вдовца — князя Николая Петровича Трубецкого. Воспитанию своих девяти детей бабушка отдавалась всецело, действуя больше своим образом, нравственным авторитетом, нежностью и вкусом. В основе воспитания присутствовал возвышенный идеализм западного образа, музыкальность всего душевно-духовного строя, как нечто ведущее, как господствующая сила. Бабушка сама была музыкальна. Все дети бабушки были красивы, талантливы.

Большое место в жизни бабушки и семьи Лопухиных, из которой она вышла, занимала семейственность, родственность, выхождения замуж, рождение детей. Бабушка очень любила свою семью и свое потомство. Она красиво вязала шерстяные вещи для новорожденных младенцев и знала разные “points” (рисунки вязанья). Вот эти нежные крохотные носочки, голубые для мальчиков и розовые для девочек, иногда отделанные по краю крохотными помпончиками, эти распашонки из тончайшего батиста (бабушка умела их шить), вязанные кофточки, чепчики и одеяльца вязанные и сверху еще вышитые шелком, эти голубые и розовые ленточки, на которых вешались в кроватках серебряные образочки — неразрывно связаны с образом бабушки.

Бабушка жила до 60 лет. До конца своей жизни она была легка, бодра, красива, хорошо одета. Фасон ее платья был выработан раз навсегда один и тот же — чаще всего серое шерстяное

платье, сшитое по талии, и, поверх платья, длинная плиссированная мантилья в цвет платья, но из более легкой ткани. Мантилья была накинута свободно, хорошо падала, почти закрывая платье. В молодости бабушка была причесана на пробор с “bandeaux”²², закрывавшими уши, но я ее помню с другой прической: седые волосы лежали свободно, пробор слегка намечался, две волны, оставляя уши открытыми, соединялись сзади, не очень низко и закручивались восьмеркой. Ее профиль римлянки сочетался с веселой улыбкой русской женщины.

Бабушка не казалась домовитой хозяйкой. Можно думать, что, подобно матери С.Т. Аксакова, она относилась немного свысока к хозяйству. Но между ней и миром вещественным разрыва не было. Не тяжела была и связь с землей, но крепка и празднична. С неотравленным доверием к жизни, с взглядом прямым и открытым жила бабушка — она была психически здорова и молода душой. То, что она дарила детям, был ли то бисер, или цветная шерсть с канвой и узорами, или пасхальное яйцо из цветного стекла, или шоколадная бомба с сюрпризом, шло к нам не только от нее, но и через нее. Бабушка еще дарила нам прелестные детские книжки. Ее подарки давали радость, утверждали жизнь. Радовали и ее приезды к нам, ее присутствие и облик.

Однажды поздней осенью мы обедали в измалковской зале. Нам предстоял близкий отъезд на всю зиму в теплые края. С нами была бабушка. Этот обед не был прощальный, но предпрощальный. Шесть свечей на двух медных подсвечниках освещали только стол. Зала оставалась темной и таинственной. Бабушка подвинула к себе стаканы нас, четверых своих внуков, налила в них красного вина, насыпала сахара и растворила водой. Как это было неожиданно! Мягкий свет свечей, вино в стаканах и бабушка — как фея! Прощальная вечеря... Мама сидела, как зрительница — поступок бабушки был ей созвучен, она была внутренне похожа на свою мать, но бабушка была солнечней. Мама боролась с болезнью, болезнь побеждала, вот эта ее скорбь, да еще врожденная от дедушки созерцательность... Бабушка давала нам на ложечке куски сахара, вынутые из чашки крепкого кофе со сливками — это называлось “canard” (утка).

В наши дозаграничные зимы мы обедали через воскресенье у бабушки Трубецкой на Пресне. Бабушка заказывала для нас волшебные сладкие блюда — были однажды сахарные цветные фонарики со свечами внутри, были грибы из марципана и кругом них мох из чего-то сладкого; была, после обеда, бегодня под музыку бабушки. Бабушка курила тонкие дамские папиросы. Кисти ее рук были тонки и гибки, и не только кисти, вся она, как гибкая ветка, непринужденно покоилась в своей мантилье. Лежащей я бабушку не помню, она была трезвенна и собрана, без напряжения. Бабушка играла в шахматы, раскладывала пасьянсы.

Бабушка не любила ни в чем искусственности, жеманства и ломанья и говорила “*ce n'est pas naturel*”²³. Так она воспитывала и своих детей: всякая тень аффектации немедленно замечалась и осмеивалась, передразнивалась. Своих детей бабушка не кормила сама, были кормилицы — так было принято в той среде в то время, когда у бабушки рождались дети, но дочери ее уже кормили своих детей сами, и бабушке это нравилось как естественное. Заграницей бабушка, кажется, никогда не была.

Бабушка была замкнута в родственном кругу, ограничена семьей. Ее доброта, действенная в границах семьи, за этой чертой увядала и становилась отвлеченной. Со всеми она была приветлива, любезна, но много холодней по отношению к не-родственникам, с оттенком отграниченности не столько к людям из народа, сколько к людям другой, не дворянской культуры. Это был для нее другой мир, не ее.

Это сочеталось с либеральной идеологией и гуманизмом. Сын ее, Евгений Николаевич, рассказывает в своих воспоминаниях о том, как бабушка была взволнована и как негодовала, когда ее отец, Алексей Александрович Лопухин, велел высечь кого-то из крепостных. Бабушка не могла с этим помириться и по высокому строю своей души, но не только: ее возмущение исходило из ее идеологии — она была либеральна. Такое возмущение могло вспыхнуть у нее еще и еще, но в то же время не видно на ее жизненном пути проявлений того чувства ответственности перед народом, какое как делание присутствовало у Самариных. Здесь же гуманизм был отвлеченный. Не знаю, были ли у бабушки друзья; думаю, что она ни с кем особенно не сближалась. Общественна она тоже не бы-

ла, ей хватало творчества в пределах семьи. Ее духовный образ воплотился в ее детях. Бабушка воспитала людей внутренне живых, способных к духовному росту, мыслящих, способных перерастать себя и свои направления, умевших включать в свой кругозор ценности других людей. Сказать об этом ясно значило бы дать образы ее мыслящих сыновей и всех остальных ее детей, но это слишком далеко увело бы от оси этих воспоминаний, т. е. от образа моей матери. Отрыв от народа у бабушки если и был, то не в такой силе, как у многих. Но все же мир слуг и мир “господ” у Трубецких — это были два мира, и трещина была много глубже, чем у Самариных; об этом не болели и не было воли к преодолению.

По-русски бабушка говорила хорошо, без иностранного акцента, и народную речь она понимала, но домашняя, семейная ее речь, была речью, выработанной в дворянстве, слегка офранцузенная изнутри. Письма бабушки были чисты, ясны и просты, почерк бисерный и легкий. Бабушка много читала по-французски. Ей нравилась книга “Le roman d’un jeune homme pauvre” (автора не помню)²⁴. Она ее читала вслух своим дочерям. К своим детям бабушка выбрала няню настоящую русскую. Звали эту няню Федосья Степановна*.

Бабушка до конца своей жизни почти не знала горя. За семь месяцев до ее кончины умер дедушка (19 июля ст. ст. 1900 г.), и на две недели раньше бабушки умерла ее старшая дочь Тоня — моя мать. Эти две смерти были первыми за долгую жизнь, если не считать смерти ее первого ребенка — младенца Марии. Бабушка была далеко от нас, когда умерла Мамá — мы были на юге Франции, в Cannes, а бабушка в Москве. И вот бабушка узнала, что умерла ее Тоня... Сама потрясенная этой вестью всего за несколько дней до своей кончины, бабушка все же захотела, нашла в себе силы написать письмо моему отцу, которого она любила как сына и уважала. Бабушка успела написать нам два раза. Содержание первого письма я помню. Папá им дорожил и очень его берег. В этом письме звучит только забота о нем, желание сказать ему что-то самое нежное. Свое горе матери она отодвигает на второе

* Няня эта была довольно бойкая, смелая, остроумная крестьянка, но лирической интимности между ней и ее выходками <т.е. воспитанниками. — *Ред.*>, мне кажется, не было.

место. Она пишет ему о бессилии всех земных утешений и слов и желает ему самого высокого и единственного — от Духа Святого Утешителя. Если бы бабушка не сказала этих слов в своем письме, то можно бы и не узнать о том, что у нее было это познание...

Второе письмо за эти ее последние дни бабушка написала, когда из Cannes пришли письма с описанием кончины Мамá. Вот оно:

Во Францию
France Alpes Maritimes
Cannes Villa Anthemis
Monsieur Théodore Samarine

12 Марта 1901 г.

Милый мой Федя, я писала тебе еще до получения писем Жени*, Вари и твоего. Эти чудные письма столько принесли мне мира душевного, настолько успокоили мою душу, что я могла продолжать говение и причастилась в воскресенье. Я было хотела отложить говение, слишком возмутилась я духом, мало чувствовала в себе покорности и мучительно было ожидание писем с подробностями о кончине Тони после последних ужасных писем. Но по прочтении ваших писем я почувствовала такое успокоение, даже, более того, была минута блаженства за дорогую нашу Тоню. Благодарю Господа за то, что Он дал ей такую кончину, которая всем нам великим назиданием служит.

О тебе, дорогой мой Федя, и о детях молюсь постоянно и жалею, что я не с вами. Надеюсь, Аня** будет часто писать о вас до вашего возвращения.

Обнимаю вас всех и Женю с Верочкой. Да хранит вас Господь.

С.Т.

* Евгений Николаевич Трубецкой присутствовал при кончине Мамá. Он с семьей прожил эту зиму на Ривьере.

** Сестра Папá, Анна Дмитриевна Самарина <1872–1953. — *Ред.*>. Узнав о кончине Мамá, дедушка и бабушка Самарины послали к нам в Cannes тетю Аню и дядю Юшу <Юрия Дмитриевича Самарина, 1875–1903. — *Ред.*>, чтобы помочь нам вернуться в Москву.

Прошли какие-то дни после этого письма, и бабушка заболела воспалением в легких, от которого и скончалась. Младший сын бабушки, Григорий Николаевич, видел бабушку в церкви, вот в эти ее последние дни, вероятно в то самое воскресенье, когда она причастилась. Дядя Гриша заметил в ней печать какой-то отрешенности, когда она подходила к иконам. Он вспоминал об этом при мне, и я запомнила. Такими предстают моему внутреннему зрению образы дедушки и бабушки и по личным воспоминаниям, и по рассказам, и по всматриванию издалека...

Когда матери моей было около 14 лет, в семье Трубецких произошел большой перелом — переход от богатой и привольной жизни к гораздо более скромной. Случилось это потому, что дедушка отдал почти все свое состояние, продал Ахтырку и дом в Москве для того, чтобы спасти от беды своего брата, промотавшего свое большое состояние. Дедушке пришлось поступить на службу, более серьезную чем до этого времени, такую, чтобы содержать семью. Он взял место вице-губернатора в Калуге. Переехала в Калугу и бабушка со всеми детьми. Трубецкие поселились в “Загородном доме” (так они называли этот дом) с большим запущенным садом.

Ахтырка с ее чудесным парком на берегах Вори, подковообразный деревянный дом с колоннадой — один из лучших образцов подмосковной усадебной архитектуры “Empire”, музыкальные вечера с Рубинштейнами, все это сменилось скромной и простой жизнью в загородном калужском доме. Старшие братья Мамá, Сергей и Евгений, поступили в калужскую гимназию, где в старших классах, по выражению Евгения Николаевича (в его воспоминаниях), “проделали нигилизм”. Он вспоминает, как была потрясена бабушка, как взволновалась и негодовала, когда ее старший сын Сережа сказал ей, что “Христос был хороший человек”. Но в этих мыслях Сергей и Евгений Николаевичи оставались недолго. Из Калужской гимназии они перешли в Московский университет, где впоследствии оба стали профессорами. Их мирозерцание было близким к Владимиру Соловьеву, оба они утверждали Богочеловечество Иисуса Христа.

Как и у кого учились Мамá и ее сестры, я не знаю, знаю только что дома. В докалужские годы у них была француженка Мле

Menetrée. Когда старшие братья стали студентами, а Мамá и тетя Лиза подросли до 17–18 лет, в “Загородном доме” стали веселиться, больше летом, когда братья были дома. Приезжали двоюродные братья Лопухины, но особенное оживление и веселье вносили приезды графа Федора Львовича Соллогуба²⁵, которого все звали “Федя Соллогуб”. Это был человек в то время лет тридцати пяти, очень одаренный, дилетант поэт и художник, с большим юмором и с большим обаянием. Он был близок к плеяде Фета, А.Толстого и Апухтина. В семейной жизни он не был счастлив и больше жил вне дома. Мать его, графиня Марья Федоровна Соллогуб (рожд. Самарина)²⁶ приходилась двоюродной тетей бабушке Трубецкой, и потому Федя Соллогуб бывал у Трубецких на правах родственника и со всеми был “на ты”. Его талантливость в сочетании с талантливостью Трубецких давала блеск. В Калуге устраивались домашние спектакли. Пьесы сочинялись совместно Сергеем Николаевичем Трубецким и Соллогубом (“Соловьев в Фиваиде”).

Мамá и тетя Лиза, совсем юные, с большим духовным содержанием, еще не раскрывшимся, были обе очень хороши. Тонкое лицо тети Лизы, смуглое, с чудесными карими глазами, с узким, низким и хрупким лбом было охвачено волной черных волос. Глаза Мамá, синие, задумчивые, вдохновили Ф.Соллогуба — им посвящено лирическое стихотворение²⁷. Обе сестры были музыкальны, хорошо играли. У обеих было доверие к жизни с незнанием темных ее сторон, высокая настроенность. У Мамá все это сочеталось еще и с игривостью, *espièglerie*²⁸ — ее тянуло к шалостям, и эта черта проявлялась в ней и после замужества (пока не замучила болезнь). Такими приблизительно были Мамá и тетя Лиза ко времени их переезда в Москву. Он состоялся осенью 1883 года.

У бабушки Трубецкой была младшая сестра — Эмилия Алексеевна. Тетя Эмилия жила в Москве со своим мужем, графом Павлом Алексеевичем Капнистом. Она имела двух, в то время небольших сыновей. Капнисты жили в конце Пречистенского* бульвара против храма Спасителя в казенной квартире при Учебном округе, где муж тети Эмилии занимал место попечителя.

* Гоголевского.

Когда Мама́ стало 19 лет, а тете Лизе — 18, и им пришло время выезжать в свет, тетя Эмилия пригласила их к себе на всю зиму с целью их веселить и провожать на балы и вечера. Бабушка их отпустила, а сама осталась в Калуге с остальными детьми. Время от времени она приезжала в Москву повидать своих дочерей. Где жили старшие братья Мама́, бывшие в то время студентами Московского университета, я не знаю. Эта зима 1883—1884 гг. была единственным и коротким временем светской жизни Мама́ и тети Лизы. И та и другая вскоре вышли замуж и после замужества уже не выезжали — жизнь их проходила в семейном кругу.

Тетя Эмилия была нежная, ласковая и изнеженная женщина, лет около тридцати пяти. Здоровье ее было некрепкое, нервы — слабые. Муж ее очень любил и оберегал тот образ жизни, какой она создавала. В доме у них было весело: целые дни проводили ее племянники, молодые Лопухины, бывал тут и Федор Львович Соллогуб, а также его двоюродный брат — Федор Дмитриевич Самарин. Бывала и его сестра — “Соня Самарина”, дружившая с моей матерью, бывали и старшие братья Мама́ и старший сын дедушки Трубецкого от его первого брака — Петр Николаевич²⁹. Тетя Эмилия вставала поздно, среди дня. Утренний туалет ее продолжался долго и в конце его, когда тетя Эмилия, уже успевшая устать, полулежала в кресле и горничная расчесывала ее густую каштановую косу, — двери спальни были открыты для всех, кому нужно было и кто хотел войти*. Одетая и причесанная тетя Эмилия переходила в гостиную на кушетку. Полулежа, вся в шалях и пледах, подпирая голову тонкой и очень маленькой рукой, она своими карими глазами внимательно и ласково следила за окружающими ее молодыми людьми и девушками, наблюдая, замечая, переживая все их взаимные отношения, расположения и увлечения.

Устраивались и здесь шарады и ставились небольшие пьесы, вдохновляемые Федей Соллогубом. Этой зимой бывали

* Об этом я слышала от тети Сони Самариной. Трезвенная тетя Соня, воспитанная строго, любившая утром свежесть холодной воды и открытую на мороз форточку, английские блузы, не без критики рисовала картину вставания тети Эмили. Этот стиль изнеженности был ей чужд и неприятен.

в Москве большие балы, куда тетя Эмилия провожала своих племянниц. У нас были фотографии Мамá и тети Лизы в бальных платьях. Платья шились у *madame Minanguoi*, и как же они были сложны! Как башни из кружев, оборочек, воланов, рюш и складочек... Мамá и тетя Лиза не только веселились, — против дома, где жили Капнисты, возвышался храм Спасителя. Мамá и тетя Лиза там бывали и всегда с любовью вспоминали этот храм. От этой зимы у нас была фотография Мамá с ее подругой и сверстницей тетей Соней Самариной. Они в домашних платьях сидят друг против друга. Между ними столик. Обе — в профиль, в позах задумчивых, обе серьезные. По замыслу эта фотография говорит о дружбе двух девушек. Мамá причесана просто и гладко — коса ее заложена низко у шеи, профиль ее нежен, поза простая и естественная. Поза тети Сони немного театральна, с преувеличенной задумчивостью. Она облокотилась на руку и подняла глаза на Мамá. Тетя Соня любила играть в домашних спектаклях и играла хорошо.

Семьи Самариных и Трубецких были в дружеском общении еще до переезда Трубецких в Калугу, и дети были между собой “на ты”. Они были в родстве. Мать бабушки Трубецкой, Варвара Александровна Лопухина (рожденная кн. Оболенская), была двоюродной сестрой дедушки Самарина, Дмитрия Федоровича. Мать дедушки Самарина и мать Варвары Александровны Лопухиной были сестрами — Софья³⁰ и Аграфена Юрьевны, рожденные Нелединские-Мелецкие. Софья Юрьевна вышла замуж за Федора Васильевича Самарина. “*La séduisante Sophie Neledinsky épouse Samarine, le roux*”³¹, — говорили в Петербурге. Старшая, Грушенька, стала женой князя Александра (Петровича (?)) Оболенского, умерла сорока лет, оставив мужу десять человек детей, в числе которых была дочь Варенька — мать бабушки Софьи Алексеевны Трубецкой.

Годы Трубецких в Калуге разлучили эти семьи. Зима 1883—84 гг. была годом их новой встречи после перерыва в несколько лет — теперь они увидали друг друга взрослыми. Мой отец, “Федя Самарин”, в то время уже кончил Московский университет*. Он служил в Богородске земским начальником и часто приезжал в Москву. И старшие, и молодые, в

* Историко-филологический факультет.

семейном кругу объединявшиеся около тети Эмилии Капнист, относились с уважением к “Феде Самарину” — он считался в этом кругу серьезным, содержательным и выдающимся по своим нравственным качествам молодым человеком. Братья Мамá, мыслящие молодые люди, философы, считались со своим родственником и сверстником. По своему умственному развитию он был на одном уровне с ними, а по начаткам и залогам духовного просвещения, может быть, и превосходил их, хотя и более талантливых*. Их интересы хотя и не совпадали всецело, но все же много было и общего. Направления и убеждения религиозно-философские и политические, их место в русской духовной культуре, тогда еще не определилось, а только зарождалось, и не было причин для резких расхождений — христианство лежало в основе и тут и там. Расхождения, и серьезные, начались много позже.

Внимание, которое отец мой все больше и больше оказывал Мамá, было замечено ее родственниками и принималось сочувственно. У бабушки Трубецкой было достаточно жизненного опыта и чуткости, чтобы оценить и почувствовать как редкую ценность, как личность, полюбившего ее старшую дочь. Ее твердая уверенность в большом решении поддержала Мамá в ее колебаниях. К концу зимы, когда расположение к Мамá перешло в глубокое и сильное чувство, а Мамá, как очень юная девушка, еще, может быть, не ясно сознавала, к чему это скоро приведет, тетя Эмилия сочла нужным предупредить Мамá и выразила это подарком: она подарила Мамá браслет, на внутренней стороне которого была выгравирована надпись. Слова покаянного кондака из великого канона Андрея Критского — “Душэ моя, душэ моя, восстани, что спиши, конец приближается...” тетя Эмилия избрала как намек на скорый конец девической жизни Мамá.

От этого времени сохранилось письмо Мамá к ее матери. Это письмо поражает присутствием дружеской близости, простоты и доверия у дочери к матери. Мамá открывает бабушке свое отношение к двум молодым людям — к Феде Соллогубу и к другому Феде, ее любимшему. Первый был много старше, был женат и не мог быть соперником Папá как жених, но видно

* Корни.

из письма, что все же обаяние этого блестящего человека не проходило для Мама́ бесследно. Весь тон письма похож на обращение к подруге — Мама́ ничего не утаивает от матери, почти как “откровение помыслов” старцу. В этом письме из Москвы в Калугу (на Вербной неделе 1884 г.) Мама́ описывает своей матери дни, когда она была в душевном борении.

Отрывки из письма Мама́ от 1 апреля 1884 г.:

“...я начала было серьезно увлекаться им, но вот три дня что он с нами весь день, обедает у нас, сидит вечером, и после этих трех дней пропало увлечение! Он очень мил, но не то, что я от него ожидала! А Ты его судишь все-таки не верно! Как Ты не понимаешь, что с другой женой это был бы совершенно другой человек. Вот эту зиму он проводит у Самариных и вполне довольствуется семейной их жизнью и говорит, что нигде ему так не хорошо, как у них! К несчастью, этого спокойствия, которое Ты нашла в моем письме, все эти дни у меня не было, и бывало даже совсем скверно!

Затем Ты меня не вполне поняла. Федю Самарина я уважаю, но не могу сказать, чтоб он мне очень нравился; я его только очень уважаю и сознаю, что он прекрасный человек, что я его мизинца не стою, и все-таки не то, чего хочу, ищу, желаю! Федя Самарин вернулся из Богородска в первый день базара, был там у нас и обедал с нами, и все время, не скрою, я слушала не его, смотрела не на него и не обращала на него никакого внимания. Я мучилась, что уже начинается с тем, но теперь успокоилась, и вот он (Ф. Соллогуб) теперь у нас, мне стало с ним скучно, и я села писать Тебе. Страшное ничтожество, несмотря на то, что это золотое дно! Сегодня опять мы с Федей Самариным на базаре виделись. Неприятно мне то, что все тут это устраивают — этим можно только помешать мне, если бы даже он мне и нравился. Это очень противно.

Говеть я на этой неделе не буду, потому что нездорова. Я рада отложить это до лета и говеть спокойным духом, а теперь во мне такая путаница, сложность, столько переварить нужно, объяснить себе, что это самая скверная для говения минута! Будь все-таки спокойна, ничего очень скверного, кажется, слава Богу, нет! Страшно рада, что Ты сюда приезжаешь.

Страстную неделю постараюсь заняться как следует, сосредоточиться; много можно будет думать, делать и заниматься.

Все в доме у нас будут говеть, кроме меня, и атмосфера вся так для этого и сделалась!

Ну прощай, милая моя, дорогая Мама́, крепко целую Тебя.
Тоня.

Повторяю Тебе, только ради Бога, ничего не бойся; так что... (в подлиннике письма выскоблено) да и вообще ничего”.

Вскоре после Пасхи Папа́ сделал предложение, и оно было принято. В памяти моей остался рассказ о том, как это было. В этот весенний вечер, вскоре после Пасхи, когда родители Мама́ были в Москве у тети Эмилии и Папа́ об этом знал, дедушка Самарин, Дмитрий Федорович, благословил Папа́ образком, и Папа́ во фраке, поехал на извозчике на Пречистенский бульвар. По ходу событий последних перед этим вечером дней, на Пречистенском бульваре могли ждать со дня на день, что Папа́ делает предложение. Сестры Мама́, стоявшие у окна во втором этаже, увидели Папа́, подъезжавшего к дому на извозчике. От волнения Папа́ соскочил с пролетки раньше, чем извозчик остановился, и из передней прошел прямо к дедушке Николаю Петровичу. Предложение было принято. Что было дальше в этот вечер, я не знаю.

Знаю по словам тети Лизы, что и во время жениховства у Мама́ временами возникали сомнения в ее чувстве к Папа́. Ее откровенность с бабушкой помогла ей это пережить. Бабушка и дальше поддерживала своими письмами Мама́ в новой жизни. Через год после этой весны, когда Мама́ уже ожидала рождения Сони, она писала своей сестре Лизе, что ей теперь странно вспоминать о своих переживаниях год тому назад — она была совсем спокойна и счастлива.

Венчались Папа́ и Мама́ первого июня в церкви свв. Бориса и Глеба на Поварской — приходе Самариных. Дяконом на свадьбе был отец Алексей из церкви “Никола Толмачи”. О. Алексей в то время был вдовцом. Он был уважаем за свою непорочную жизнь и молитвенность. Он имел прекрасный голос, бархатный бас “октава”. Самарины, мой отец и его братья, знали о. Алексея с детства, потому что о. Алексей участвовал в домашних всенощных на Ордынке в доме М.Ф. Соллогуб,

когда там жила Софья Юрьевна Самарина, мать дедушки, Дмитрия Федоровича. Этот дом на Ордынке был в Николо-Толмачевском приходе. Отслужив всенощную в храме, священник и диакон служили еще раз краткую всенощную в доме Соллогубов по приглашению Софьи Юрьевны, сидевшей в кресле.

Впоследствии о. Алексей был в числе причта Успенского собора в Кремле. Своим видом и чудесным голосом он украшал соборное служение. Духовно возрастая, он захотел монашества и удалился в Зосимову пустынь. В 1913 г. была моя с ним первая встреча. В это время о. Алексей уже был опытным духовником и чтимым старцем. В беседе со мной, 19-летней девочкой, он вспоминал и всенощные на Ордынке, и чаепития после них, и венчание моих родителей, и образ моей матери в подвенечном наряде, ее красоту и стройность. Это подвенечное платье Мамá из мелкорубчатого шелка, пожелтевшего от времени, хранилось в кованом сундуке в измалковской кладовой.

После свадьбы Папá и Мамá поехали за границу. Где они были, кроме Венеции и Дрездена, откуда сохранились письма Мамá, я не знаю.

Две няни Ольга Ивановна

В 1898 г. Ольге Ивановне было лет пятьдесят с небольшим. Вся коротенькая, с закругленными очертаниями фигуры и лица и очень большим лбом, она, кругленькая, была легка под своей пелериной из черного кашемира. Няня эта любила Варю, а с Соней сражалась. Варю Ольга Ивановна приняла на простынку из рук акушерки.

Замужем Ольга Ивановна не была и своим девичеством дорожила. Ей хотелось кончить жизнь в монастыре. Иногда, сердясь, она говорила, что оставит нас и уйдет в Дивеево, — туда она посылала свои сбережения и имела общение с монахиней-сборщицей, бывавшей в Москве. Ольга Ивановна была из Воронежской губернии. Она рано осиротела. Как она попала в Москву в богатый дом Алексеевых, принадлежавший к именитому куль-

турному купечеству, я не знаю. В этом доме она была воспитана и приобрела опыт и умение ухаживать за вещами, за бельем, платьями и всем тем, что хранилось в сундуках. От Алексеевых Ольга Ивановна лет семнадцати перешла к молодым Мамонтовым. Ее заботам и уходу было доверено очень большое и ценное приданое Елизаветы Григорьевны, ее семнадцатилетней сверстницы и госпожи. После десяти первых лет семейной жизни Саввы Ивановича и Елизаветы Григорьевны, еще до рождения их дочерей, Ольга Ивановна от них ушла и поступила в семью Мартыновых, уже в качестве няни, и оттуда, в 1886 г., к нам.

В непрерывных трудах проходила жизнь Ольги Ивановны в нашем доме. Кроме ухода за сестрами, в ее руках была починка белья, столового, постельного и носильного — все из прачечной попадало к ней. Не спеша, обдуманно, тщательно и умело она чинила вещь за вещью. Ее заплаты не портили, а украшали. Ее прикосновение к вещам было согрето теплом — она не отделялась от работы, а присутствовала своей личностью в каждой ее точке — это было ровное служение. Ольга Ивановна ухаживала за вещами и за сестрами. Надев на их плечи короткие пелеринки из батиста, Ольга Ивановна расчесывала их длинные косы и гребнем с щеткой, и частым гребешком с ватой и водкой, когда долго не было дождевой воды для мытья. Заплетала косы, вплетала ленты. Убирала постели, накрывая их накидками из пикэ, чистила и чинила платья, ворча замывала грязь, принесенную с прогулки, на юбках и чулках. Утром она давала сестрам артос на блюдечке и крещенскую воду в чашке. Шкафы, комоды, большой кованный сундук с приданным Мама́ в кладовой, одно время и шкаф с сухой провизией, наблюдение за служившими в доме молодыми — все постепенно перешло в ее руки. Мама́ ведь была больна. Лежа на своей кушетке то в спальне, то на балконе, Мама́ только украшала жизнь — больше всего своим образом, а также выражая свою душу и в наших платьях, которые она создавала с Дуняшей, в цветниках, какие под ее руководством разводил садовник, в том, что заказывала повару, и музыкой и своим одухотворенным глубоким и грустным взглядом, устремленным с северного балкона далеко, за пределы парка, вверх и сквозь него, через деревню, куда-то гораздо дальше.

Ольга Ивановна бывала благодушной и довольной, но не всегда — она много ворчала. Характер ее считался трудным. Ворчала она и на нас и на старших, как своя. “La bonne est furieuse aujourd’hui...”³², смеясь, говорила не понимающая труда молодая тетя Линочка, входя в спальню к Мамá в английской блузе, с желтым томиком французского романа в руках... Но нет — не так... Ольга Ивановна просто уставала сражаться за порядок — ведь мы его разрушали, не замечая, чего он стоил. Не замечали и старшие, хотя и утверждались на няне, как на своем подножии, а в нем царила она. Близость к ней была, но позднее пришла другая близость, когда мы стали взрослыми. Тогда уже сама Ольга Ивановна нам стала гораздо нужней, чем ее труды.

Тишина сходилась на образ Ольги Ивановны, тишина, покой и кротость, когда, утомленная, она ложилась немного отдохнуть. Не протягивая ног, она только бочком прикладывалась на свой короткий диванчик в девичьей. Полежит немного, потом встанет, поправит кружевную наколку и снова берется за труды.

Ольга Ивановна была немного грамотна. Она любила и берегла свое Евангелие, большое, с крупной печатью. Завернутое, с закладками, оно лежало в ящичке столика рядом с катушками, клубками и ножницами. Очень высоко ценила Ольга Ивановна то, что могла сама читать Слово Божие. И в праздник, когда она не шила, иногда в будни, если было время, она надевала очки и читала. По складам, спотыкаясь, произнесенные вполголоса слова, одно за другим, не скользили по ее сознанию, они живо творно проходили внутрь, не встречая препятствий. И в это время она отдыхала, но по-иному, чем на диванчике, — упокоение, именно оно отпечатывалось зрительно на ее образе — отходила суета и обреченность ее служения, ей становилось хорошо и свободно. Других книг Ольга Ивановна не читала. Согретым доверием и упованием было в ее устах слово *Спаситель* — оно было для нее именно тем, что оно значит. Божию Матерь Ольга Ивановна тоже любила. Когда ей показали изображение одной из итальянских Мадонн, она сказала: “Неужели же Царица Небесная не сшила Спасителю рубашечки...”

Иван Иванович Смирнов

...С нами ехал за границу тихий Иван Иванович. Он нужен был Папá для занятий — Папá ведь плохо видел. Иван Иванович был сыном священника. Кончив Духовную Академию, готовился быть учителем в Иванове-Вознесенске. И заработать, и бесплатно пожить за границей было ему хорошо. Грамотный богословски и верующий, он мог не только читать Папá вслух, но и понимать, что читает, не ошибаться, что для Папá было ценно.

Лицо северного русского крестьянина Ивана Ивановича напоминало еще лицо ямщика или странника. Оно светилось тихой радостью и все лоснилось, как бы чем-то смазанное. Сквозь редкую желтую бородку просвечивал подбородок, раздвоенный на два шарика. Этот его подбородок меня сильно занимал. Сидя на одном колене Ивана Ивановича, я его трогала пальчиком, двигая бородку. Он мне не мешал и только тихо сиял. Пятилетнюю Маню он величал по имени и отчеству и был очень вежлив. Так же он вел себя с 14-летней Соней и 13-летней Варей, внимательно и тепло без малейшей тени развязности. Он был внутренне собран, скорей молчалив. Если говорил, то застенчиво. Кисти рук и ступни Ивана Ивановича, искривленные ревматизмом, придавали ему вид убожества, хотя он и был здоров.

Убеждения Ивана Ивановича не совпадали с взглядами Папá на Россию и ее историю, на реформу Петра. Иван Иванович — народник. Впоследствии он подарил Папá книгу своего сочинения “Печальники народные” (Некрасов, Кольцов и др.). Эту книгу он написал в Иванове, когда уже преподавал литературу в женских гимназиях. Сострадание народу у Папá и у Ивана Ивановича исходило из разных источников. К Папá Иван Иванович относился с уважением, чувствовал его духовный образ, и весь уклад нашей семьи он принял с любовью. Мы тоже его любили все, а для старшей сестры Сони Иван Иванович был особенно дорог — от своих тринадцати лет и до шестнадцати Соня его любила — это была ее первая любовь.

У меня и брата была своя няня — Екатерина Петровна. Ездившая с нами за границу годом раньше (1896 г.), она теперь останется сторожить квартиру в доме Нефедьевой. Она уберет

измалковский дом после нас и приготовит его к нашему приезду. Екатерина Петровна была и няней и экономкой. “Весной она будет ждать нас, она собьет нам желтое майское масло, сделает пасху очень свежую, испечет кулич. На столе будут ландыши, будут петь птички... По коридору из залы и девичьей будет дуть ветерок, в детской, надрываясь, будут хрипеть стенные часы с гирями, и мы с няней будем снова вместе...” — такие мечты и образы предносились пятилетней Мане. Только бы дожить... Как болит сердце от близкой разлуки... Эту няню Маня любит больше всех... Няне тоже тяжела разлука. Что-то тут не так... Но ничего не поделаешь. Папá и Мамá не понимают...

Екатерина Петровна Каватеева

Екатерина Петровна была воронежской крестьянкой. После короткой замужней жизни, мужа ее взяли в солдаты, и он пропал без вести. Родился мальчик — младенец Автоном. Няня оставляет свое крестьянское хозяйство, деревню и едет с сынком в Москву. Первые десять лет ее жизни в Москве она кое-как перебивается: то держит корову, то чем-то подторговывает, одновременно прислуживает, где придется. Народные кварталы Москвы с ее рынками были фоном ее жизни в те годы.

Когда Автоном подрос, Екатерина Петровна определила его к золотых дел мастеру учиться, а сама стала поступать на места. Одно из таких мест было у какой-то француженки (няня говорила “французенки”), там ей жилось сносно. Так продолжалось до того времени, когда Автоном встал на ноги, стал сам хорошим мастером и женился. У него родились дети. Екатерина Петровна пробовала жить в семье сына, она, может быть, думала, что теперь ей можно не скитаться, но невестка стала и теснить и выживать, и вот она снова бездомна. Она решила уйти от сына и искать работы. Приблизительно в 1885 году, по чьей-то рекомендации, Екатерина Петровна попала в качестве няни в дом нижегородского губернатора Прутченко и прожила там четыре года. В семье Прутченко ее полюбили. Младший ребенок этой семьи, Коля, родился при ней и был ее выходком. Впослед-

ствии, взрослым, проезжая через Москву, он всегда выписывал няню для встречи на вокзале и дарил ей золотой. В одну из последних таких встреч Коля показал няне браслет, который он вез своей невесте, княжне Оболенской. Няня была рада видеть его счастливым. Для этих встреч на вокзале няня надевала серое шерстяное платье, плетеную черную косынку и большую круглую брошку с аметистом, работы Автонома.

В доме Прутченко няня успокоилась и расцвела в пожилую представительную барскую няню. За эти годы дела ее сына пошли настолько успешно, что он купил себе дом в “Грузинах” (где-то в Тишинских переулках). Дом был двухэтажный, красный, кирпичный с флигелем во дворе. Продолжая свою работу ювелира, Артамон³³ Сергеевич стал еще держать жильцов, но няня, вернувшись в Москву после четырех лет работы у Прутченко, там жить все равно не могла, хотя связь с семьей сына она не теряла. Няня снова ищет работу. За месяц до рождения брата Дмитрия, т. е. в декабре 1889 года она поступила к нам. Мамá пришлось взять вторую няню, потому что Ольга Ивановна не соглашалась брать на себя уход за новорожденным. Екатерине Петровне было около 56 лет, когда началась ее жизнь у нас.

У Прутченко няня приделась: у нее было парадное платье лиловое шелковое, с огромными пышными рукавами по тогдашней моде. Она его надевала на наши с братом крестины (крестили нас не в церкви, а дома) и, как говорили, была величава, когда в таком наряде и белом чепце держала тоже нарядного младенца. С такими же рукавами было ее черное драповое пальто. В обычное время она была одета в свободное и простое ситцевое платье — кофта сверх юбки и фартук. На голове она первое время носила белый чепчик, а потом черную кружевную наколку или платок.

В молодости Екатерина Петровна была красива, а после пятидесяти лет — представительная, рослая, широкая, даже толстая. Черты лица ее были крупны, но не грубы, лоб низкий, выражение веселое, походка энергичная и легкая. В ее бабьих закругленных очертаниях не было тяжести, в своем широком ситцевом платье она была свободна. В веселом и бодром лице няни, где-то поглубже, но близко, были слезы — она легко плакала, несильно, недолго, и, плача, становилась

красивей. Няня была сострадательна к животным. Однажды из окна вагона заграничного поезда она увидела стадо. Коровы карабкались по скалам, почти отвесным, среди которых стремительно неся наш поезд. Няня заплакала со словами: “Скотина мучается”.

Первые годы в Москве наложили свой отпечаток на образ Екатерины Петровны: у нее было сходство с торговкой небольшой городской лавки, может быть, посудной — такой, где бывали трактирные чайники и стеклянные лампы на цепочках, может быть, овощной с кадками соленых грибов. Она была жизненна и народна. Няня не была убита жизнью, она вся была растворена с землей. В то время, когда няня укладывала меня спать, я часто просила ее рассказывать — повторять уже слышанное мною из ее прошлой жизни, из того, что было до ее работы у Прутченко и дальше, у них. Нянина жизнь по ее рассказам была для меня окном в другой мир — не наш. Так хотелось слушать еще и еще, все о том же, ловить все новые черты. И сколько было красок!

Когда дневной присмотр за нами был передан Эмме Ивановне, Екатерине Ивановне поручили молочное хозяйство, кур, уток и шкаф с сухой провизией, стоявший в проходной комнате между залой и передней. Няня стала экономкой и “ключницей”. Скотного двора она не касалась — ей на погреб приносили удои, утренний, полуденный и вечерний. Но наша с братом детская, наши ночи, укладывания и вставания оставались в няниных руках.

Летом няня уходила из детской в пять часов утра, чтобы принять молоко, накормить кур, цыплят и уток. Заросший травой солнечный дворик, посреди которого стоял сруб над просторным погребом, был тем местом, где проходило нянино раннее утро, и потом, после небольшого перерыва, она снова шла туда же хозяйничать до вечера. В лучах летнего солнца, в зеленой травке у ног ее толпились куры, цыплята с наседками, и сама она ходила среди них, как большая общая наседка. Сходство с наседкой было у нее и в домашней жизни. Часов в восемь утра няня возвращалась в детскую бодрая, светлая, с порозовевшим лицом под клетчатый розовый платком. Каких только запахов не при-

носила она на своем платье, фартуке, руках: русское масло, сметана, огурцы и укроп, а ближе к осени грибы и всякие соленья...

Раннее утро няни на погребке и мое бессонье в детской (без нее, в кроватке) проходили для нас обеих противоположно: она в делании, а я в бездействии металась по кроватке, не зная, куда себя деть — заснуть не удавалось, встать без няни не разрешалось. Брат безмятежно спал, нервы его были крепче. Но в четыре годика эти трудные часы одиночества были облегчены и наполнены огромным содержанием: у меня был крохотный живой зайчик. Разносчик, носивший на голове лоток с фруктами, печеньем и конфетами, поймал его в лесу. Мамá его купила и подарила мне. Зайчик стал ручным, бегал по всему дому и прибегал ко мне в кроватку. Он занял в моем сердце первое место. Кормить его молоком с пальчика было блаженно, язычок его был шершавый... Мамá даже не понимала, каким чудом вошел в мою жизнь ее подарок! Жизнь зайчика была в опасности от собак...

В деревянной раме зеркало висело в детской, в простенке между двух окон. Под зеркалом стол, накрытый суровой парусинной скатертью с бахромой, на столе — щетки, гребенки, цветы и Евангелие, заложненное лентой. В пикейном белом халатике садилась Маня к столу, а няня, стоя сзади, расчесывала заплетенную на ночь косу. Раскрывалось Евангелие на заложненном месте и читалось вслух подряд, день за днем. Маня читала и поглядывала на лицо няни, отражавшееся в зеркале. Екатерина Петровна читать не умела и, может быть, слышала Евангелие только в церкви. Отраженное в зеркале лицо ее выражало восприятие впервые услышанных так близко Божественных словес. Вечером на этом же столе горела свеча. Заплеталась коса на ночь и были разговоры о няниной жизни. Ничего особенно печального няня не рассказывала, как всегда было много красок и много жизнеутверждающего, но сквозь все это горькая женская доля няни улавливалась внутренним слухом, как тонкое скорбное звучание. Маня очень жалела няню, а няня — ее. Между ними было сострадание.

Уложив нас спать, няня не оставляла нас одних, пока мы не заснем. Ради этого она пила свой вечерний чай в детской, у окна, при свете лампы. Это был ее час после длинного летнего дня, та-

кого хлопотливого. Кроме чая, крутое яйцо разбивалось о подоконник, кучка соли, черный хлеб. Бывало и варенье, бывал и глиняный кувшинчик с Рижским бальзамом. В это время няня вслух изливала все, что за день ее волновало. Няня бормотала вполголоса, ворчала, говорила разными голосами. Свои столкновения с поваром и управляющим, с Ольгой Ивановной или Эммой Ивановной, может быть, какое-нибудь замечание Мама́, какое она считала кем-нибудь внушенным — все изображалось в лицах. Речи повара Екатерина Петровна передавала грубым голосом, представляя “господ” и гувернантку, говорила манерно. Няню волновали препятствия в хозяйстве и от людей, и в жизни вверенных ей птиц: слышно было и о курице, которая несла яйца без скорлупы, и о курице, стремившейся сидеть на яйцах не вовремя. Очень хотелось лучше понять, что говорит няня. Няня подходила ко мне с ягодкой варенья на чайной ложке. Хотелось, чтобы няня была довольна и не сердилась, особенно на Мама́, но ничего... <фраза не окончена>

Няня знала наизусть три-четыре молитвы и без них не ложилась спать. Перед ее образом Казанской Божией Матери горела лампада. В жаркие летние вечера Екатерина Петровна становилась на молитву в одной рубашке и босая, но на голове был платок. После молитвы няня ложилась на свою перину и крепко засыпала с сильным храпом. От ее присутствия и храпа проходили страхи и дурные сны.

Коля

Из четырех детей Артамона Сергеевича вторым был Коля, любивший свою бабушку. Он был утешением в ее неудавшейся жизни с сыном. Коля был ровесником нашей Сони, т. е. на восемь лет старше меня. Работая с отцом, он впоследствии стал хорошим ювелиром. Летом Коля довольно часто приезжал в Измалково к своей бабушке, гулял, ловил рыбу, пил молоко, ворошил сено в парке, пил чай с вареньем под кленами вместе с двумя нянями Екатериной Петровной и Ольгой Ивановной, а после нашего обеда, за которым он не присутствовал (обеда с бабушкой), участвовал в наших играх перед домом. Держал он себя скромно. Нам всем было приятно ви-

деть его с няней и чувствовать, как им отрадно побыть вместе. Однажды Коля сделал мне чудный подарок: из крохотных осколков бирюзы он собрал незабудочку в пять лепестков и укрепил ее на тонком золотом колечке, по размеру четырехлетнего пальчика. Екатерина Петровна привезла это колечко из Москвы и надела мне на руку. Какая радость неожиданная! Какое счастье!

г. Боровск
50-е гг.



Сергей Павлович
и Мария Федоровна
Мансуровы
вскоре после свадьбы.
Ялта. 1914 г.

М.Ф. Мансурова
Е.А. Чернышева-Самарина
А.В. Комаровская

Мансуровы



*Не имамы бо zde пребывающего
града, но грядущаго възыскуем.*

(Евр. 13, 14).

Маня Самарина... и сразу встает передо мной очень далекое прошлое: дом, семья, люди, окружавшие эту тоненькую, необыкновенно изящную и внутренне такую же тонкую, хрупкую девушку, какую я могу ее помнить.

Ей шестнадцать лет, а мне пять, но у нас уже складываются отношения — может быть, причиной тому было одинаковое горе: Маня лишилась матери в семь лет, а я в два года. Я-то, конечно, не сознавала своего сиротства, но Маня горько сознавала свою утрату, о чем уверенно свидетельствуют ее фотографии того времени, — детское ее личико с печатью глубокой, недетской думы. И записки Мани, так превосходно написанные... Читая их, ясно становится, каким печальным было ее детство. Может быть, потому уделяла Маня мне, маленькой, большое внимание.

Моя мать¹, войдя в 1902 году в семью Самариных, привлекла к себе малообщительную девочку — Маню. Много позднее Маня рассказывала мне, что она любила приходить к нам в детскую при жизни моей матери. Тогда Маня “играла в меня”, причесывала мои очень кудрявые волосики, “только не локоны”, которые тогда делали девочкам, а мать моя этого не любила. В трехлетнем возрасте я лишилась еще и бабушки² (маминой матери), около которой мы остались после смерти матери. Мне рассказывали, что, узнав о смерти бабушки, я

повторяла: “Ну что же, и у Мани нет бабушки”, — вот каким бездушным существом может быть такой маленький ребенок!

Немного позднее, когда мне было четыре года, нас с братом Юшей³ отправили жить в Измалково⁴, в семью дяди, Федора Дмитриевича Самарина⁵. В этом старом интересном помещичьем доме Маня занималась мною, она дала мне играть своих двух любимых кукол, которых тогда еще хранила и любила. Куклы были чем-то похожи на Маню, какой-то тонкостью, и мне казалось, что вокруг Мани все красиво. В это время Маня начинала делать прическу, а волосы у нее были огромные, пепельные, и со мною, потихоньку от взрослых, она незаметно выстригала пряди этих красивых волос, чтобы облегчить прическу.

Дом семьи Самариных в Москве, на Поварской⁶, куда вернулся жить овдовевший дядя Федор Дмитриевич с детьми, и дом в Измалкове, — это был особый, интересный мир. Теперь уже никто, кроме меня, не может помнить этот московский дом, который как бы впитал в себя дух семьи и был своего рода твердыней, ее олицетворявшей. Все было там строго, чинно, чисто и безупречно внутренне и внешне, но думаю, что младшее поколение семьи, дети Федора Дмитриевича, испытывали некоторый гнет, или скованность, которую из старших способен был нарушать своей живостью разве один дядя Сергей Дмитриевич⁷.

Мои представления о доме на Поварской относятся к раннему моему детству. Мы там бывали по воскресениям, зимой, с отцом, который входил в эти родные для него стены уже без родителей, но в единении со столь близкими ему братьями и сестрами. Дом не отличался роскошью и не был красив ни по архитектуре, ни по обстановке. Двухэтажный по фасаду, по Поварской, почти напротив Дома Коннозаводства (теперь Институт мировой литературы), рядом — маленький домик церковного причта, и за ним церковь святых Бориса и Глеба. Теперь место дома и церкви занято Институтом Гнесиных. Все в доме соответствовало эпохе. Широкая, удобная деревянная желтая лестница вела из передней на второй этаж. Там, после маленькой проходной, где стоял бюст боярина Артамона Матвеева, предка Самариных, шла маленькая гостиная со старыми портретами предков и хорошей старинной мебелью вокруг круглого стола, на котором стояла чудесная ста-

рая лампа с абажуром из транспарантов на стекле, изображавших, вероятно, швейцарские или немецкие горные пейзажи. Это была самая уютная комната в доме. За ней, тоже по фасаду дома — большая гостиная в стиле конца XIX века, чрезвычайно безвкусно обставленная: черная мебель с темно-красной обивкой, такие же штофные портьеры, на стенах картины или в черных, или в золоченых рамах, но что-то очень мало интересное. Из маленькой гостиной была еще дверь в залу, большую, белую, светлую — это была также и столовая. Очень типичным и скорее уютным был большой кабинет дедушки Дмитрия Федоровича, сохранявшийся после его смерти неприкосновенным дядей Сергеем Дмитриевичем. Может быть, потому кабинет казался мне уютным, что у дяди Сережи мы всегда чувствовали себя просто и с ним было весело и интересно. Старые портреты предков, которые я упоминала, были выполнены хорошими мастерами, и сейчас некоторые из них остались в семье, другие ушли в музей.

После этих “парадных” комнат шли жилые, расположенные по сторонам коридора, — это был мир женщин. Тут же была большая, в два окна по фасаду, комната Мани, и все в этой комнате отражало ее облик того времени. Кисейные, белые в мушку занавески на окнах, мебель простая, орехового дерева, обитая васильково-синей материей, на стенах репродукции картин Боттичелли, не в цвете — это то, что она тогда любила. Все в комнате светлое, даже белоснежное. На полу ковер с цветами на темном фоне. Есть фотографии Мани, в белом бальном платье, у окна этой комнаты.

Маня была необычайно одаренным и во многом талантливым человеком. В ней ярко выразилось наследие, данное двумя незаурядными семьями. Самарины со стороны отца, Федора Дмитриевича, и Трубецкие по матери, Антонине Николаевне. В своих воспоминаниях о родителях и бабушке Трубецкой Маня блестяще характеризует среду, обе семьи и дает с большой любовью и правдивостью образы своих родителей. Эти воспоминания полны мысли и чувства в соединении с редким даром слова и красотой стиля⁸.

Я постараюсь в немногих словах характеризовать эти две семьи. Самарины — это строгое церковное начало: православие,

твердость убеждений, правдивость до конца, строгость, даже иногда суровость и замкнутость. Большое просвещение, стройность мысли, где строгим умом все воспринималось критически сквозь призму этих устоев. И жизнь и быт были проникнуты теми же устоями, в соединении с чувством большой ответственности за свое слово. Особое значение в семье имел Юрий Федорович Самарин, славянофил, старший брат нашего деда, Дмитрия Федоровича.

Трубецкие, в поколении Антонины Николаевны (матери М.Ф.), выделялись талантливостью, одаренностью философского мышления, представителями тут были братья Антонины Николаевны, Сергей и Евгений Николаевичи, оба необычайно широко и свободно образованные люди. Помимо того, семья отличалась большой музыкальностью. “Родители как-то молодод сливались с детьми. Мать, София Алексеевна, в своем женском начале, большой близостью с детьми, играла значительную роль, смягчая и объединяя всех со свойственным ей тонким изяществом” (воспоминания М.Ф.). Это большое гнездо, очень дружное, отличалось какой-то здоровой бодростью, жизнерадостностью и непосредственностью в восприятии жизни. Эти две семьи, соединившись, дали плодотворную почву, на которой выросла и дала плоды эта редкая душа, но и дали при этом образец необыкновенно сложной натуры.

Маня была одарена, я бы сказала, не женским философским умом, пониманием и умением разбираться в сложных философских, вернее, богословских вопросах, тонко ценить значение, глубину, красоту слова в разных его проявлениях: в поэзии (в своих воспоминаниях она говорит о “вершинах умозрительной поэзии VIII века, века Иоанна Дамаскина” и других), в пении, особенно церковном (она хорошо знала древние напевы “подобны”, вероятно Лаврские, а может быть и Оптинские)... В юности она хорошо играла на фортепиано и хорошо знала западную классическую музыку, которую в детстве слышала в исполнении матери. С детства хорошо рисовала и обладала зорким восприятием художника. Последнее проявлялось в ней по-разному и прошло через всю ее жизнь. Она любила красоту в явлениях природы, даже в самых незаметных, простых полевых цветах и в мелочах быта. Сама она была как

бы созвучна прекрасному, уже не говоря об ее облике в молодые годы, но и в старости, в болезни, в бедной одежде — в ней все было красиво, проникнуто около нее благородством. Она выглядела и держалась так, что в последние годы ее жизни в Боровске женщины-соседки говорили о ней: “Разве она как мы? Мария Федоровна — она или княгиня, или игуменья”.

Помню Маню невестой Сергея Павловича Мансурова. Мы, дети, уже знали его и любили, привыкли видеть его часто в доме на Поварской. Сережа Мансуров, как все его звали, был такой милый, простой в обращении. Он высокий, длинный, тогда студент философского отделения историко-филологического факультета Московского университета, лежа на полу во весь свой рост, играл в оловянных солдатиков с моими братьями.

И вот наступил день торжественного благословения на брак Мани и Сережи, в той же красивой, белой зале. Служили молебен, было все очень чинно, но нас, детей, поразило, почему наши тети Самарины⁹ (старшая из них, тетя Соня была крестной матерью Мани) плакали, а не радовались. Мы не могли тогда понять всей сложности семейных отношений. Тети, заменявшие в какой-то мере для Мани мать, по большой сложности внутренней, очень любя Маню и отдаваясь ей в годы ее детства и юности, не были ей внутренне близкими. Только много позднее, возрастая духовно с помощью Сережи и испытывая влияние оптинских старцев, Мане удалось преодолеть эти трудные взаимоотношения, и она с земным поклоном просила прощения у тетей. Об этом мне с большим чувством рассказывала тетя Соня.

Мы, дети, радовались семейному событию, тому, что Сережа Мансуров для нас теперь совсем свой, родной. Они женохами приходили к нам на Спиридоновку, на Рождестве были на нашей елке, и Сережа со своим двоюродным братом Владимиром Алексеевичем Комаровским¹⁰ был прекрасен в роли фокусника. Мы не понимали тогда, что он философ, человек такого удивительного содержания!

Помню свадьбу — 8 января 1914 года. Весь дом Самариных преобразен этим событием: все нарядно, великолепно, полно гостей. Столы накрыты старинной праздничной посудой. Вен-

чание в церкви святых кн. Бориса и Глеба — вся жизнь семьи связана с этим храмом. Я понимала, что событие огромное. Мне передалось волнение близких. А как хороши были они оба, такие красивые не только внешней красотой. Оба высокие, тонкие... но главное не это, а их отношение к совершаемому таинству. Венчал их отец Алексей Мечев¹¹, которому тогда уже они были духовно близки. До сих пор помню его маленькую, такую маленькую рядом с ними и среди великолепного светского окружения фигурку и поразительный по подъему его возглас: “Исайя, ликуй!” Да, это было, действительно, ликование. Мне говорили, что отец Алексей, имея дар прозрения будущего, увидев такое многочисленное собрание праздничных гостей, как-то широким жестом обвел их, сказав: “Так будет у вас всегда”, — как бы предсказывая, что в будущем эта молодая чета будет окружена многими, ищущими общения с ними.

Какую жизнь, казалось, предвещало это торжество! Да и раньше, все детство Мани под крылом отца, семьи, когда “сдувались пылинки” с слабой, болезненной девочки: поездки за границу для ее здоровья, поездки в Германию, на курорты, для лечения зачатков костного туберкулеза. Долгое, почти с детства, знакомство с другом любимого брата Дмитрия¹² — Сережей Мансуровым... Все обернулось совсем по-другому, но суть этого необычайного союза избранников Божиих осталась до конца пути их обоих так значительна. Теперь, когда их нет с нами, их жизненный путь можно смело назвать житием праведников, шедших по стопам тех святых, которых они так чтили, любили и понимали.

Маня была младшей дочерью, четвертой в семье Ф.Д. Самарина, и я буду говорить о ней, это моя цель, но нельзя умолчать о спутнике ее жизни, ее муже, Сергее Павловиче Мансурове, впоследствии о. Сергии. В последние годы своей жизни, в своих воспоминаниях о нем Мария Федоровна так прекрасно нарисовала его образ, его шествие по христианскому пути, что лучше всего привести здесь выдержки из ее записок, чтобы сказать о нем. О себе она умалчивает, но она тут, рядом с ним, побеждая свою болезненность, свою чисто самаринскую сложность, замкнутость и даже, решусь сказать, некоторую гордость, свойственную ей в дни ее молодости. В те времена она не под-

пускала к себе близко людей, держалась на расстоянии, оценивая свое превосходство. Нужна была вся простота, все истинно христианское смирение будущего о. Сергия, чтобы привести ее к тому смиренному самосознанию, к той любви и отзывчивости к столь трудным человеческим путям, которыми проникнута была вторая половина ее жизни. Многие шли к ней, ища помощи, совета, мудрости духовной, любви, которую она щедро давала. Вот как начинает М.Ф. биографию о. Сергия:

*Мир оставляю вам,
мир Мой даю вам.*
(Ин. 14, 27).

“В жаркий июньский день (кажется, воскресенье), 14 июня 1890 года, на азиатском берегу Босфора появился на свет младенец Сергей (Сергей Павлович Мансуров, сын Павла Борисовича¹³ и Софии Васильевны Мансуровых¹⁴. В то время Павел Борисович был секретарем Русского посольства в Константинополе. — Е. Ч.) — этот маленький, смуглый комочек с темными волосиками и крупным арабским носиком... Что окружало Сережу с младенчества? Светская жизнь с пустыми интересами, разговорами и развлечениями... И на фоне всего образы отца и матери с их московским прошлым, — вот что окружало Сережу.

Московское прошлое... Историчный по складу своего мышления, преданный Церкви, с огромным чувством ответственности за свое настоящее, Павел Борисович при всем этом производил впечатление просвещенного иностранца. С уважением, преданностью, с готовностью служить до самоотдачи, смотрел Павел Борисович на свой народ, но смотрел как зритель, с печатью отвлеченного идеализма. Такое устройство личности просвечивало и в речи, в ее стиле, в ее интонации...

...Ни у Павла Борисовича, ни у его жены не было русской няни. Не было ее и у Сережи... не было этой живой, целительной силы, какая во многих семьях присутствовала так живоотносно... Впоследствии я никогда не слыхала от о. Сергия никаких об этом слов, но все житнетворчество юношеское и более зрелое было именно преодолением этого наследия, этого

пробела. То, чего он лишен был в детстве, он обрел не через няню, обрел своим путем. Его тесное сближение с нашей семьей много для него значило, но не только это.

Серезу тянуло к морю, к порту. Смотреть с берега на русские корабли, знакомиться с матросами, пробовать их борщ и кашу было так заманчиво. Только здесь, может быть, и слышал маленький Мансуров простую русскую речь. Сереза чувствовал себя хорошо с взрослыми, со сверстниками ему было скучно. Впоследствии он говорил, что не знал того детства, о котором многие вспоминают как о чем-то райском. В своем самоощущении он был всегда взрослым. “Детское” в его личности присутствовало не как воспоминание, а каким-то иным образом, трудно передаваемым, может быть, и “взрослым” он никогда не был.

С матерью Сереза дружил... Совсем крошкой, он приходил к ней с книгой, и даже с газетой, садился на диван, скрестивши ножки по-турецки, и начинал рассуждать... Светская жизнь, его окружавшая, не проходила бесследно, но застенчивая, немного виноватая улыбка, присущая ему до конца его жизни, не сходила с его личика. Мирно держал он себя с людьми совсем еще крошкой. Для старших это было занято. Слушаться старших Серезе было легко. Слишком независимым он был и свободным внутренне, слишком занят был чем-то своим, чтобы капризами отстаивать свою самостоятельность. Он вел себя как сильный, сам того не замечая. Только в стихии мира шло творческое цветение его духа. Эта стихия была его дыханием, ее он обретал и в непринужденном послушании, оно его не затрудняло.

Вот что пишет о нем знавший его в те годы Григорий Николаевич Трубецкой¹⁵. Письмо это было получено мной в 1929 году, вскоре после кончины о. Сергия. Вот отрывок из него: “...много лет спустя я застал семью Мансуровых в Константинополе. И с самых ранних лет в нем поражал сложившийся облик — детскость в соединении с мудростью и любовное отношение к людям... Он с детства мог разговаривать как-то дружески со всеми возрастами, и все его любили, и все в нем чувствовали любящую душу...” (письмо от 21 марта 1929 г.)

...Родители были удивлены... Неожиданным был для них, и каким-то чудом, этот странный ребенок — сынок и друг,

такой мыслящий, такой свободный... В церкви Сережа бывал как ребенок со старшими, знал молитвы, причащался, но пробужденность его духовной жизни наступила много позднее, в юношеском возрасте. В своей главе “Дружба”¹⁶ о. Павел Флоренский говорит о “землетрясении любви”, об “откровении личности”. Сергей Павлович прошел этим путем к своему христианскому просветлению, — но это было много позднее, не слышала от него ни одного рассказа о каком-нибудь религиозном переживании детским, но присутствие в его личности мира как благодатного дара осеняло его всегда...”

Окончив в 1912 г. философское отделение историко-филологического факультета Московского университета, С.П. не воспользовался оставлением при кафедре. В университетские годы он жил обычной для молодого человека его круга светской жизнью. Интересуясь искусством, он посещал выставки и концерты, любил входивший тогда в жизнь кинематограф, бывал в собраниях молодежи на балах. Два последующих года до женитьбы были для него временем самоопределения. В эти годы в нем совершался поворот. М.Ф. пишет: “Хранение церковного предания по доверию к вере отцов теперь оживает, как личное — становится всепоглощающим. С детства причастный и склонный к светской жизни своего круга, он теперь от нее отходит, склоняя к тому и свою невесту”.

По словам М.Ф., в С.П. “постепенно обостряется чувство ответственности за ощущаемое в себе дарование”. Будучи по природе и серьезному образованию историком, любя русское прошлое и древнюю Русь, С.П. с того времени как бы вынашивает “свое слово”. М.Ф. пишет: “Образ его понимания Русской истории, ее связи с Византией, ведет его мысль к Церкви Вселенской, явившей и вечно являющей себя в веках как единое целое”. С этих пор зарождается работа С.П. над “Очерками по Истории Церкви”.

М.Ф. говорила о себе, что в 19-летнем возрасте в ней произошел перелом. Он, несомненно, был в полной зависимости от того “самоопределения”, через которое проходит в эти годы С.П. Будучи невестой С.П., в возрасте 19-ти лет Маня зимой

жила некоторое время в зимней тишине абрамцевского дома. Оттуда она впервые поехала в Зосимову пустынь, находившуюся недалеко от Лавры, вблизи от станции Арсаки. Строгая пустынь, уединенный мужской монастырь с прекрасным монастырским богослужением. Там в это время жил и подвизался старец о. Алексей¹⁷. Маня с большой любовью была принята старцем, который еще со времен прабабушки Софьи Юрьевны Самариной и Юрия Федоровича знал и любил их семью. Дом их находился тогда в Толмачевском переулке. Он и сейчас стоит, огражденный красивой фигурной чугунной решеткой, в нем помещается библиотека. Будучи тогда дьяконом в приходской церкви Николы в Толмачах, о. Алексей в числе причта приглашался служить всенощную у Софии Юрьевны на дому и с тех пор хранил особое расположение к семье Самариных¹⁸. Маня вспоминала, какое особое, сильное впечатление произвела на нее исповедь у о. Алексея, весь монастырь в заснеженном еловом лесу и служба с монастырским пением.

Такими они были, Сергей Павлович и Мария Федоровна в 1914 году, когда ему было 24 года, а ей — 20 лет. Год их свадьбы. Они были юны, но их теперь соединяла не поэтическая влюбленность, не увлечение ранней молодости — все это было раньше; теперь была глубокая любовь, любовь к Богу, долголетняя дружба и взаимное понимание во всем и до конца.

Во время свадебного путешествия молодые побывали в Риге, в женском монастыре, основанном родными тетками Сергея Павловича — монахинями Сергией и Иоанной Мансуровыми¹⁹. Матушки с любовью приняли молодых, познакомились с Маней, и с тех пор у них сложились отношения близкие и исполненные взаимного тяготения и уважения. Значительно позже, после кончины о. Сергия в 1929 году, Павел Борисович Мансуров пишет к Мане письма, в которых ясно виден образ этого прекрасного, большой глубины человека. Он говорит о том, как дороги ему взаимное понимание и любовь между его сестрами-монахинями и Маней.

Были молодые Мансуровы заграницей, на юге Франции — в Ницце и в Каннах, на берегу Средиземного моря. Эти места

для Мани были дороги воспоминаниями детства, когда всей семьей они проводили там зимы с больной матерью, которая там скончалась в 1901 г. Есть очаровательная фотография молодых в эти дни — они идут по набережной, против ветра, держась за руки, с такими счастливыми лицами. У Мани даже несколько задорное выражение лица, для нее необычное. По пути из Франции Сережа и Маня заезжали в Ялту представить Маню дедушке Безобразову²⁰ (отцу Софьи Васильевны Мансуровой). Она, по-видимому, очень понравилась старшему поколению.

Вернувшись в Москву, молодые поселяются с родителями Сергея Павловича в Ваганьковском перереулке на Воздвиженке. Павел Борисович в то время был директором Архива Министерства иностранных дел и занимал казенную квартиру при Архиве (теперь это место занято фасадом библиотеки им. Ленина, выходящим на проспект Калинина, и входом в метро).

Сергей Павлович начинал свой день с ранней обедни в приходской церкви св. Антипия, а затем посвящал свое время розыскам древней литературы: или в залежах у букинистов, или в библиотеках старых монастырей. Его интерес был обращен к литературе житийной. Это были не только жития канонизированных святых, что иметь в руках в те дни не представляло трудности, это были жизнеописания непрославленных подвижников — монахов и мирян — мужчин, женщин, странников, юродивых, блаженных. Привожу выдержку из работы М.Ф.:

“Святые в истории, их присутствие в веках, явленное и сокровенно-творческое и жертвенное, особый род общества, их окружавшего, преемственность благодатной жизни как тайна предания; разрыв школьно-богословской мысли с благодатным опытом святых, — вот те основы мысли, тот ее “образ”, какой для будущего автора “Очерков” стал определяющим. Освещение истории, первоначально открывшееся в мире святых, близких по времени, обратило его мысль в глубь веков, отсюда начало его замысла “Таблиц” и “Ключа”²¹ к ним”.

В начале XX века стали выходить издаваемые Поселянином книги “Подвижники благочестия 18-го и 19-го вв.” Вживаясь в такую литературу, старую и новую, на живых образах людей, прославленных с первых веков христианства и до

наших дней, построил Сергей Павлович свои “Очерки по Истории Церкви”. Он предпослал своему труду предисловие, в котором изложил свою идею дать как бы живой поток, идущий от святых апостолов из Иудеи и дальше переходящий в Египет, Рим, Византию и многие другие страны и, наконец, докатившийся до России с ее подвижниками.

Не в фактах исторического значения, не в Соборах, спорах о ересь, разделении церковью видит автор “Очерков” суть истории Церкви, а в тех людях, подлинных носителях христианства, которые, как бы передавая друг другу, пронесли сквозь почти 2000 лет свет Христова учения. К сожалению, С.П. за свою недолгую и многотрудную жизнь смог выполнить только часть своего замысла. И напечатан его труд был через много лет после его кончины в “Богословских трудах” Московской Патриархии (№№ 6 и 7 за 1971 г.). Это было при жизни М.Ф. и при ее горячем участии.²²

Через полгода после свадьбы Мансуровых началась первая империалистическая война с Германией (июль 1914 г.). Сергей Павлович был освобожден от призыва в действующую армию по состоянию своего зрения. Взамен этого он в 1915 году включается в работу “Земского союза” — в работу санитарного отряда Союза на Кавказском фронте. На два года его работа над “Очерками по истории Церкви” замирает. Но впечатления Грузии, впервые увиденной, оказались вдохновляющими для работы. Образ Церкви, идущей по этой земле из далекого прошлого, еще более обогатил восприятие С.П.

На Кавказе, в Земском союзе, Сергей Павлович работал вместе с Ю.А. Олсуфьевым²³ и В.А. Комаровским, двоюродным братом Сергея Павловича и мужем Варвары Федоровны, сестры Марии Федоровны²⁴. Там же они встретились и очень подружились с работавшими в Канцелярии наместника Кавказа — Петром Владимировичем Истоминым²⁵ и его женой, Софией Ивановной²⁶, которые помогли молодым Мансуровым освоиться в новой для них обстановке. Это общение привело к большому сближению этих незаурядных людей.

Мария Федоровна очень ценила дикую природу Кавказа: она любила вспоминать красоту гор, древних храмов в нетронутых

тогда уединенных ущельях, особенно в одном из них, где они часто бывали в крошечном монастыре.

Осенью 1916 года Мансуровы едут в Москву и по пути заезжают в Оптину Пустынь, до тех пор известную им лишь по жизнеописаниям ее старцев. “Встреча со старцем о. Анатолием (Потаповым) была первой в ряду последующих”, — так пишет позднее М.Ф., говоря этим, что этот старец до самой своей кончины в июле 1922 года был для нее и для С.П. духовным руководителем²⁷. Поездка в отпуск, в Москву, в связи с войной была сопряжена с большими сложностями. Плыли по воде, по-видимому из Баку, по Каспийскому морю, затем по Волге, до ее верховий. В это время (23.10.1916 г.) внезапно скончался отец Марии Федоровны — Ф.Д. Самарин. Мансуровы не застали его в живых и не были на похоронах.

Зиму 1916—1917 г. Мансуровы провели в Тифлисе и весной 1917 г. окончательно вернулись в Москву.

Дружба и общность духовных и разнообразных умственных интересов с Ю.А. и С.В.²⁸ Олсуфьевыми, утвердившаяся во время жизни на Кавказе, привела Мансуровых в Сергиев Посад. Олсуфьевы в это время купили двухэтажный дом в Посаде — на Вальной улице, с усадьбой, садом и хозяйственными постройками. Они сами заняли верхний этаж и всю усадьбу. Мансуровы, по их приглашению, поселились в нижнем этаже.

В это время, накануне революции 1917 г., Сергей Павлович и Мария Федоровна, единственный раз за всю жизнь, поселяются самостоятельно, создают свой “дом”, по своему вкусу и пониманию уюта и красоты. Стиль обстановки, мебель — скорее 40-х гг. XIX в.

Иконы простые, семейные или дорогие по своему значению; горят лампадки. Книги на простых полках и только религиозно-философские, творения святых отцов, житийные, исторические. В спальне простые кровати. Все так просто, скромно. Сергей Павлович пишет в это время другу: “Очень нам и, кажется, мне особенно, хорошо живется в Посаде... Пока счастливы...” Это были последние годы старого строя Лавры. Богослужение шло во всех храмах Лавры ежедневно, с монашеским пением древних лаврских напевов. Главным в жизни Мансуровых

была близость к Лавре с ее святыней и близкий по духу Гефсиманский скит. Постоянное, неуклонное посещение церковной службы, с таким знанием и пониманием ее глубины и красоты было основой их жизни. Строгое соблюдение постов. Знакомство, вживание в житийную литературу научило Сергея Павловича, а с ним вместе и Марию Федоровну, знать и любить, как живых, далеких по времени и близких духом подвижников. Они каждый день знают не только имена святых этого дня, а как бы входят в живое общение с ними, проникаются их заветами и примером. Это можно было наблюдать и в последние годы жизни М.Ф., когда она спрашивала неопустительно: “Какой святой завтра?” — и часто помнила его житие и говорила о нем.

Тогда, при все нарастающих трудностях в жизни и в быту, Сергей Павлович и Мария Федоровна под крылом Лавры, в русле строгой церковности, в общении с памятью почивших святых и с живыми близкими друзьями того же высокого строя духовного и широкого полета мысли, строят свою жизнь, свое “житие”, как бы воплощая в себе идею “Очерков Церкви”. По всем путям испытаний, странствований, болезней, проносят они свою, “домашнюю церковь”, свое “монашество в миру” как символ истинного Православия.

Временами жили в Посаде у сына Павел Борисович и София Васильевна Мансуровы. Вполне единомысленный с сыном, Павел Борисович был еще с молодых лет близким другом отца Марии Федоровны. Софье Васильевне Мансуровой было крайне трудно применяться к новым жизненным условиям. Она была очень красивой, несколько избалованной женщиной, типичной для своего круга, и притом болезненной. К тому же в эти годы она заболела туберкулезом, вернее, разыгрался бывший ранее процесс. Сергей Павлович преданно, нежно ухаживал за матерью.

Своим духовным миром, своей большой одаренностью Сергей Павлович и Мария Федоровна всегда обладали даром привлекать к себе людей. Очень близкими были Олсуфьевы, Михаил Владимирович²⁹ и Наталия Дмитриевна³⁰ Шик, о. Сергей Сидоров³¹, П.В. и С.И. Истомины. Из Москвы приезжали Михаил Александрович Новоселов³², Сергей Алексеевич Мечев³³, тогда еще не священник (сын о. Алексея Мечева). Приезжал Сер-

гей Алексеевич к Сергею Павловичу как к “учителю”, пользовался его глубокими знаниями святых отцов и духовной литературы. Бывал из Абрамцева мой отец, Александр Дмитриевич Самарин³⁴, Мансуровы его очень любили.

Присутствие в Посаде о. Павла Флоренского М.Ф. воспринимала “как чудо”. Для нее Флоренский как философ, его взгляды, его мысли, творчество были некоей непререкаемой вершиной. Думаю, что то, что мне известно по позднему времени, воспринималось так же тогда, в Посаде, и Сергеем Павловичем. В последние годы, уже в Боровске, Мария Феодоровна как бы с благоговением давала читать “Столп и утверждение Истины” Флоренского, давала тем из близкой молодежи, кого считала способным воспринять эту вещь и с интересом ждала их реакции*.

Близкими становятся Вера Тимофеевна Верховцева³⁵ с дочерью Наташей (Наталией Александровной³⁶), позднее принявшие под свой кров изгнанного из Зосимовой пустыни при ее закрытии старца о. Алексея³⁷ с келейником о. Макарием³⁸. О. Алексей скончался в этом доме в 1928 г. После его кончины о. Макарий был вскоре взят ГПУ и, по сведениям, тут же окончил свои дни.

Складываются очень простые, дружеские отношения с многочисленной семьей Голубцовых³⁹, во главе которой стояла сестра Наташа (впоследствии м. Сергия⁴⁰). Подросток Павлик (будущий архиепископ Сергей)⁴¹ приходил к Сергею Павловичу брать уроки Закона Божьего, и с тех пор, до самой кончины Марии Феодоровны, не прерывалась их духовная связь. После кончины о. Сергия П.А. Голубцов пишет странички воспоминаний об этом времени. С большим теплом и с большой скорбью говорит он о том влиянии, которое в эти юные годы имел на него облик С.П. и его уроки.

Были встречи с С. Н. Дурьлиным⁴², с семьей В.В. Розанова⁴³, — при различии взглядов и настроения Сергей Павлович

* Жена о. Павла Флоренского, Анна Михайловна, <урожденная Гиацинтова (1883-1979). — *Ред.*>, была воплощением скромности, но, в то же время, незаменимым дополнением личности о. Павла. Перед кончиной своей Анна Михайловна, тяжело больная, лежала в Боткинской больнице в Москве и совсем чужие, чуждые врачи, соприкасаясь с ней, были поражены ее духовным обликом и спрашивали: “Кто эта старушка? Откуда такой человек?” Похоронена на Даниловском кладбище в Москве.

по своей доброты мог воспринимать все трудности этой семьи и деятельно ей помогать.

Да, сколько было тогда удивительных, мужественных людей вокруг Лавры. В Гефсиманском скиту был настоятель его о. Израиль и духовник там же, о. Порфирий⁴⁴. А в Лавре последние монахи — о. Диомид, о. Потапий⁴⁵, прежде прекрасный канонарх — о. Максимилиан. А кругом такие праведники, как Екатерина Сергеевна Хвостова (впоследствии монахиня Иннокентия⁴⁶), София Сергеевна Тучкова⁴⁷, возглавлявшая Дом для престарелых медицинских сестер, где о. Павел Флоренский был штатным священником домово́й церкви, и София Сергеевна глубоко ценила и чтит его и с чудесным своим контра́льто́ была верным его помощником. Конец почти всех этих подвижников и подвижниц — в лагерях, как и многих, многих других.

В первые годы после Октябрьской революции жизнь в Посаде, как и всюду, была годами большой нужды, большого голода. Искали всякие пути заработка, иногда самые неожиданные. Помню, что во времена НЭП'а М.Ф. пекла мятные пряники по заказу каких-то хозяев булочных для Москвы и Посада, и смиренный С.П., нагруженный этими корзинами, отвозил их в Москву, а М.Ф. на салазках развозила в Посаде.

Была в то время “сельскохозяйственная артель”, организованная Ю.А. Олсуфьевым. Все члены артели должны были работать где-то на участке за городом, и Сергей Павлович шествовал по улицам Посада около запряженной в повозку лошади, везя навоз. Высокий, в очках, на голове старая фетровая шляпа с полями, с неизменной книгой в руке. Лошадь, чувствуя, кто ею управляет, останавливалась и давала возможность Сергею Павловичу долго заниматься своей книгой. Сергей Павлович мог забыть об огороде и о ждавших его там, чем, кажется, вызывал неудовольствие значительно более практичного Ю.А. Олсуфьева.

Чтобы подробнее передать жизнь семьи Мансуровых в 1919–1923 гг. привожу здесь текст письма, написанного М.Ф. из Боровска в 1960-х годах к жившей у них прежде на Кавказе и недолгое время в Посаде П.В. Новиковой⁴⁸, — тогда девушке Поле. Она, потеряв все следы Мансуровых, будучи уже старой, нашла М.Ф., с радостью для обеих, но приехать уже не могла. Вот это письмо:

“Поля, ты уехала от нас (во второй раз) весной 19-го года. Мы остались на Вальной улице с Павлом Борисовичем и Софией Васильевной. Ильинична⁴⁹ то была с нами, то уходила, то опять возвращалась. Троице-Сергиева Лавра была еще открыта недолго, а потом храмы ее закрылись на 25 лет, оставался только музей. Этот музей тогда устраивал Юрий Александрович Олсуфьев. Там работал и С.П., и еще несколько знакомых. Время было беспокойное и для нас тревожное. В январе 20-го года Сергей Павлович выбыл из дома на четыре месяца*. Сначала дней десять в Посаде, в очень плохих условиях, потом в Москве — в центре — дней десять, а остальное время — по соседству от Федосьи Сергеевны. Помнишь ли ты эту местность?** Павлу Борисовичу пришлось оставить Софию Васильевну и жить у моей сестры Вари***, в Измалкове, в ожидании, пока пронесется эта туча... Переехала в Москву и я, чтобы быть ближе к С.П., и жила у своих тетей Самариных, на Поварской. Тети мои и их брат (дядя Сережа) занимали еще весь первый этаж своего прежнего дома. Обе тети очень жалели С.П. и меня и переживали со мной это горе. Трамваи ходили плохо, были переполнены, редко удавалось доехать, я чаще ходила пешком с Поварской в Бутырки, носила передачу со списком вещей и еще несколько слов добавляла. Он возвращал мешок и посуду с запиской. В самом начале своего пребывания там С.П. заболел сыпным тифом. Кризис перенес на полу, в шубе, без медицинской помощи, и уже потом положили в больницу. Эти первые дни его болезни там жизнь его была на волоске, и я не знаю, как только я пережила эту муку. После больницы он опять был помещен в общую камеру. Хлопотала я о нем изо всех сил, тогда это было возможно. Свиданий не давали. Ему не было никаких обвинений, кроме того, что он не говорил, где его отец.

* В дни волнений вокруг Лавры П. Б. Мансуров активно отстаивал на диспутах права верующих. После этого за ним приходили из ВЧК с ордером на арест, но его не оказалось, и вместо него был взят сын его, Сергей Павлович.

** Федосья Сергеевна — близкий человек семьи Мансуровых, прожившая у них всю жизнь. Она оставалась в прежней московской квартире их, в бывшем Тихвинском переулке, неподалеку от Бутырской тюрьмы.

*** В. Ф. Комаровской.

Для Софии Васильевны это время было очень тяжелое и по-дорвало ее здоровье. Она оставалась на Валовой ул. с Ильиничной. Дрова, картофель и овощи были. Из деревень приносили менять молоко и овсяную муку на тряпки. Ильинична только печи топила и воду носила. Она с С.В. не ладила, а потому С.В. оставалась без ухода, сама спускалась в нижнюю кухню и в подвал за овощами, простужалась. В маленькой комнате около столовой жила Мария Яковлевна (мадемуазель Лефевр)⁵⁰, француженка, моя бывшая гувернантка — полный инвалид, она передвигалась на костылях. У нее была неизлечимая болезнь в колене. Мы ее взяли к себе от моих тетей, где она замерзала. С.П. (когда был дома) очень ее жалел, читал с ней духовные книги, переводя их на французский язык, объясняя, готовил ее к принятию Православия. В эту тяжелую зиму, когда Мария Яковлевна оставалась, такая беспомощная, вдвоем с Софией Васильевной на Валовой улице, Ильинична все же кое-что для нее делала: топила ее печь, приносила воду, давала поесть. Навещала их из второго этажа и София Владимировна Олсуфьева, но все же, конечно, было тоскливо и ей, и Софии Васильевне. Я приезжала из Москвы, но очень, очень редко. Больше сделать для них я ничего не могла.

В последний месяц пребывания С.П. около Федосьи Сергеевны* (в мае 20-го года) я очень сильно и с крепким упованием просила св. Николая Чудотворца, чтобы он помог нам. Хлопоты прошли более успешно. И в конце мая я была принята человеком, от которого все зависело, и тут совершилось очень редкое: я получила от него на руки ордер на освобождение С.П.

На конверте была печать из Наркомюста и приказ пропустить к коменданту. Крепко зажав драгоценный конверт в левую руку, я правой ухватилась за ручку в трамвае № 18 и поехала без пересадки от Моховой улицы к Новослободской. Сильно билось сердце — переживание это было потрясающее — держать в руках такую бумажку! Все боялась сделать что-нибудь не так. После нескольких слов переговоров у окошечка в огромных железных воротах, я была впущена внутрь за эти толстые стены, казавшиеся такими непроницаемыми. Просидев там часа полтора в ожидании,

* В Бутырской тюрьме.



Княжна
Антонина Николаевна
Трубецкая. 1883 г.



Федор Дмитриевич
Самарин.
Около 1884 г.



Антонина Николаевна
Самарина
с младшей дочерью
Марией.
Канны, южная Франция.
1900 г.



Федор Дмитриевич
Самарин.
Москва. 1913 г.





Измалково. Подмосковная усадьба Самариных.
Вид на дом с южной стороны



Мария Федоровна и Дмитрий Федорович Самарины.
Измалково, зала. 1905 г.





Слева направо:
дочери
Ф. Д. и А. Н. Самариных Мария, Софья
и Варвара.
Измалково.
1903 г.

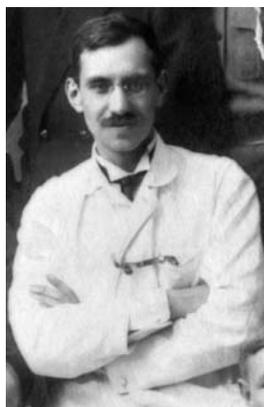
Мария Федоровна
Самарина с отцом,
Федором
Дмитриевичем.
Измалково.
1905 г.





Мария Федоровна
и Александр Дмитриевич Самарин.
1913 г.





Фотография сверху:
Мария Федоровна
и
Сергей Павлович
Мансуровы.
Свадебное путешествие.
Канны. 1914 г.



Сергей Павлович
Мансуров.
Конец 1910-х — начало 1920-х гг.



Сергей Павлович
Мансуров.
(Рисунок М. Осоргиной)



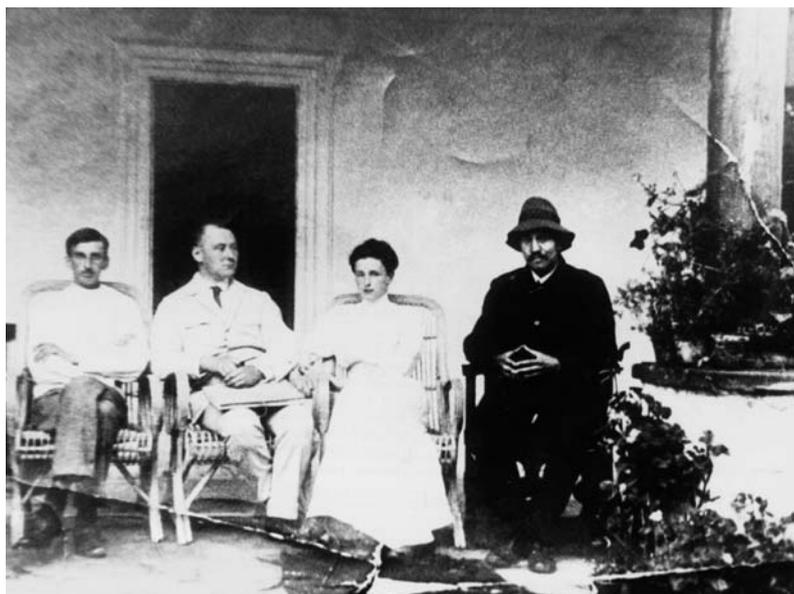
Мария Федоровна Мансурова.
Комната в пансионе
“De la Tour”, г. Канны.
1914 г.
(Фотография С. П. Мансурова)





Граф
Владимир Алексеевич
Комаровский
с женой
Варварой Федоровной
(урожд. Самариной).
Снимок сделан вскоре
после свадьбы.
Москва.
Апрель 1912 г.

Слева направо: Г. Гротус,
В. А. Комаровский,
В. Ф. Комаровская,
С. П. Мансуров.
Усадьба Безобразовых
Ракша в Тамбовском
уезде. 1913 г.





В. А. Комаровский и С. П. Мансуров
играют в шахматы. Измалково.

Июнь 1914 г.



Владимир Алексеевич Комаровский
(фотография перед последним арестом). Москва.

1937 г.





Фотография сверху:
Ф. Д. Самарин
с внуком
Алешей Комаровским
и нянями.
Измалково, дубовая аллея.
1915 г.



Павел Борисович
Мансуров, Алеша и Тоня
Комаровские.
Сергиев Посад.
Весна 1926 г.



Слева направо:
графиня Софья Владимировна Олсуфьева,
Мария Федоровна Мансурова,
св. прав. Алексей (Мечев),
Софья Федоровна Самарина. Измалково.

1918 г.





Сестры: Екатерина Борисовна (слева) и Наталья Борисовна Мансуровы в молодости, тетки отца Сергея Мансурова (будущие игумении Сергея и Иоанна)



Игумении: Сергия (Мансурова) — слева и Иоанна (Мансурова) — справа





Игумении Сергия и Иоанна Мансуровы
с сестрами и медицинским персоналом.
Рига. Первая мировая война





Тюремная фотография Марии Федоровны Мансуровой
1934 г.



Мария Федоровна Мансурова с группой ссыльных.
Мария Федоровна сидит справа, стоят слева направо:
Наталья Сергеевна Самуилова, Михаил Сергеевич Самуилов,
Анна Никитична Крылова, Софья Сергеевна Самуилова.
Бек-Буди (Карши), Узбекистан.

1936 г.





Мария Федоровна Мансурова
и Евгения Николаевна Бирукова, г. Боровск.
Конец 1950-х гг.



Мария Федоровна Мансурова, г. Боровск.
1950-е гг.





Мария Федоровна Мансурова. Последняя фотография, г. Боровск.
Лето 1976 г.



Кресты на могилах
Марии Федоровны и отца Сергея Мансуровых.
Городское кладбище, г. Верея



пока конверт, переходя из рук в руки, дошел до коменданта, я имела великое счастье увидеть С.П., выходящего в шубе, с узлами, обросшего бородой, и выйти оттуда на волю вместе с ним, держа его за руку. В тюремном дворе на пути к воротам, встречавшиеся провожали нас удивленными и веселыми глазами. Федосья Сергеевна увидела нас с балкончика 6-го этажа знакомой тебе, Поля, квартиры, расплакалась и встретила нас с волнением и слезами радости. Пока мы поднимались на 6-й этаж, приготовлена была горячая вода, чистое белье, костюм. С.П. умылся, переоделся, побрился, что-то горячее поел, и мы уже к вечеру пошли пешком на Поварскую, где были встречены со слезами радости. Тетя Аня бросилась на колени и благодарила Бога.

Вернувшись домой, на Валовую ул., мы нашли С.В. совсем больную, у нее был плеврит, который постепенно перешел в туберкулезный процесс и большое истощение. Без нас С.В-ну навещал старый московский профессор, ученый и доктор, живший в Посаде. Он очень жалел С.В. и скрашивал ее заброшенность. Но вот мы опять дома. Сергей Павлович взял на себя уход за матерью, часто кормил ее с блюдечка тем, что она попросит, она указывала, что дать, успокаивал, ласкал.

Ильинична оживилась от нашего присутствия и стала помогать. Мое здоровье после твоей, Поля, последней зимы у нас понемногу окрепло. Температура была нормальная, и я постепенно многому научилась в хозяйстве: топила печи, пекла черный хлеб на закваске, просеивала овсяную муку для лепешек, варила суп из высевок и рагу из овощей, ставила горячими углями красивый медный самоварчик, который ты, может быть, помнишь. Стирать и мыть пол я научилась много позднее. Вместо чая заваривала лист или смородины, или яблони, а вечером на комфорку этого холодного самовара вставляла зеленый стаканчик лампы, и это было очень красиво.

Эта зима 1920–21 гг. была для нас духовно богата. После разлуки моей с С.П. он был возвращен мне как еще более драгоценный дар. Я поняла и ощутила, что присутствие его дома и со мной очень хрупко, ненадежно, только как чудо, на время вымоленное, поняла, что его надо беречь, охранять и защищать, а не только опираться на него, поняла, что его можно опять потерять.

София Васильевна немного оправилась и тоже была довольна, что мы с ней. С.П. ее согрел. П.Б. все еще оставался в Измалкове. С.П. читал лекции в Институте*, я давала уроки рисования в школе. То и другое за гроши, за кувшин супа и ложку каши. Храмы Троице-Сергиевой Лавры уже были закрыты, музей существовал. С.П. ходил почти каждый день к ранней обедне то в церковь Рождества, то в Пятницкую, где еще служили монахи. Если почему-нибудь день его не начинался с обедни, он днем не был таким светлым. Ходила к этим обедням и я, но реже, надо было месить тесто, топить печи.

В Праздники (и с вечера, и с утра) мы ходили в скиты, в Черниговский или в Гефсиманский. Домашнее хозяйство у нас стало налаживаться. С.П. еще работал дома, для себя писал. У него был давно им задуманный труд по истории Церкви.

Этой зимой у нас кое-что украли. Старушка портниха ходила к нам перелицовывать, брала дешево, а взяла несколько оставшихся драгоценных вещей, самых красивых, которых не хотелось продавать. Может быть, ты помнишь, Поля, четырехугольную брошку — аметист, оправленный тонкой бриллиантовой рамочкой с бантиком. Вот и ее украли. Деревенская девушка, приезжавшая менять свои продукты на наши тряпки, взяла из плетеного сундука в передней много еще хорошего белья, ожидавшего стирки. Но мы не очень тужили — в это время нас больше занимало главное, вечное, оно занимало нас всегда, но этот год был очень горячим духовно. В Оптину пустынь мы продолжали ездить (как начали еще при тебе) и ездили, пока ее не закрыли (в 23 году), то вместе, то по отдельности. О. Анатолий скончался летом 22 года. Поезда ходили плохо, трудно было добираться туда и оттуда в теплушках, по кусочкам одолевали пространство, на чем и как придется, брали приступом случайные поезда, иногда для того, чтобы проехать один-два пролета, боролись у входа в товарный вагон с не хотевшими нас пускать пассажирами, иногда подолгу сидели на какой-нибудь маленькой станции, от усталости ложились на пол и засыпали с плетушкой под головой. Плетушка

* Педагогическом.

и узелок, смена белья, жестяной чайник, кружка, кусок хлеба, может быть, огурец и холодный картофель...

Летом 21 года было большое и волнующее переживание. Мой брат, Димитрий, после семи лет скитаний и по России, и по Сибири, больной душевно и телесно, очень одаренный как философ, странник — за шесть недель до смерти вернулся в Москву. Узнали мы об этом стороной. Его психическая болезнь внушала ему ложные о нас мысли, он считал нас за врагов. Ходил по Москве, искал прежних знакомых, искал пристанища. Оборванный, больной, нищий. Удалось его направить к очень доброй женщине (он не знал, что это устроили мы). Она его приласкала и пригрела, дала ему угол в кухне, отгородила ширмой. Он рассказал ей всю свою страдальческую жизнь, а от нее узнали и мы. Через шесть недель он скончался от бронхита, который перешел в отек легкого. Под конец жизни он вернулся к вере в Бога и перед смертью приобщился*. Отпевали его в нашем родном храме Бориса и Глеба, на Поварской, где была наша свадьба. Отпевание это производило сильное впечатление. В гробу лежал тридцатилетний человек с каштановой бородкой, редкостной красоты. Сердце разрывалось от скорби, но скорбь была просветленная; ценою больших страданий он был возвращен нам в образе прекрасного умершего. Похоронили его в Донском монастыре, рядом с его отцом и матерью. Какое чудо, что он умер на наших глазах и был погребен так прекрасно, около матери. Это было возвращение в *дом отчий из страны дальней*. Эти его последние шесть недель в Москве были потрясающим завершением семи лет страданий его, и наших — за него.

Летом 1921 года Павел Борисович вернулся домой и сам стал ухаживать за Софией Васильевной. Помогали и мы. Сергей Павлович получил место заведующего библиотекой Троице-Сергиевой Лавры — огромное и очень ценное книгохранилище с древними рукописями с времен преподобного Сергия.

* Видимо, в эти годы в Сибири он вернулся в лоно Церкви, которую отвергал из протеста к отцу и ко всем традициям семьи. Приобщал его перед кончиной о. Алексей Мечев. От пришедших сестер, дяди Сергея Дмитриевича и тей Самариных он резко отвернулся.

Ему это было нетрудно: там был очень знающий человек из братии Лавры, на него можно было положиться. Ильинична нас опять бросила. Вместо нее мы взяли девушку Катю, приехавшую из Казанской области от голода. Она у нас прижилась и полюбила нас. Работала очень хорошо. В ее ловких и сильных руках наша квартира быстро отмылась — и полы, и белье. Материально нам жилось легче: появился белый хлеб, сахар, масло. Я пекла мятные пряники для продажи в магазин, и знакомые заказывали. Рецепт был очень хороший.

Зимой 21–22 года С.П. часто бывал в Москве, там встретил людей, которым он был очень нужен, которые почувствовали его духовное богатство. Зима 22 года кончилась скорбью. С.П. вернулся из поездки в Москву сильно простуженный, с высокой температурой и без голоса, и слег надолго. Сначала его лечили от простуды: банки, горчичники, компресс — думали, что это воспаление легких, но болезнь не поддавалась этим средствам. Впоследствии выяснилось, что это был первый и очень сильный приступ туберкулезного процесса. После этого приступа такие обострения, менее сильные, повторялись еще в течение шести лет до самой его кончины (2 марта <15 марта по н. ст.> 1929 года).

В июне 22 года С.П. все же поправился и не болел полтора года. А вот София Васильевна с осени 22 года стала опять болеть. Кроме ее постоянной болезни в легких, в ноябре она заболела брюшным тифом. Ходил доктор и сестра милосердия, жившая напротив, через дорогу. Тиф С.В. перенесла, и дней десять перед Рождеством и ей и нам казалось, что она поправляется, но вдруг, неожиданно для нас, у нее снова поднялась температура; это уже был не тиф, а обострение ее болезни в легких: жар, одышка, красное пятно на одной щеке, блеск глаз. Такое состояние продолжалось недели две. Ослабленная перенесенным тифом, она уже не могла преодолеть этот приступ. Быстро наступал конец. Дней за 5–6 до кончины ей стало страшно. Она все звала Сергея Павловича: “Сережа, Сережа, страшно, страшно...” Только он мог ее успокоить, но ненадолго. Сознание было ясное. Она исповедовалась, причастилась и собо-

рвалась. Для этого приходил ее духовник, о. Павел из церкви Рождества, где она бывала. Крещенский сочельник был последним днем ее жизни. В этот день она была спокойна и страха уже не было. Что-то говорила, невнятно. П.Б. хотел понять, что она говорит, и спросил ее об этом. Она ответила: “Я благодарю Бога”. Часов в шесть С.П. ушел ко всеобщей в ближайшую к нам церковь Рождества. П.Б. не отходил от Софии Васильевны и все ей подавал, что ей было нужно. Я была в кухне (верхней). В доме стало необычно тихо. Мадемуазель Лефевр в своей комнатке вся дрожала, очень волновалась.

Я вошла к Софии Васильевне и вижу, что она скончалась тихо на руках у П.Б. Племянница Олсуфьевых по моей просьбе сходилась с С.П. в церковь. Одели ее во все белое, как она любила. Очень она была красива. На похороны приехала Федосья Сергеевна, моя сестра Варя, из Абрамцева дядя мой, Александр Дмитриевич. Отпевали в церкви Рождества. Пели три монаха Лаврских, выбранные нами из бывшего хора, как лучшие из оставшихся певцов. Очень согласно и стройно звучало их трио. С.П. молился на коленях около гроба. Похоронили в Киновии — это первый монастырь на пути в Гефсиманский скит.

П.Б. оставался с нами недолго, поехал к своим сестрам-монахиням в Новгород. Мы остались с С.П. на Вальной улице с Марией Яковлевной и Катей. Отдыхали после большой усталости”...

В дополнение хочется сказать о событии, потрясшем М.Ф., — это возвращение ее брата Дмитрия. Единственный брат, близкий ей по возрасту, немного старше ее. Она особенно любила его с самого детства. И как сама говорила в старости, “чувствовала за него какую-то ответственность, хотелось его опекать, охранять”. Он выделялся среди сверстников своей одаренностью, а в семье, по-видимому, чувствовал одиночество. Не было матери, не было женской руки. Его болезнь, его отъезд, его отчуждение были непередаваемо тяжелы. И вдруг возвращение — надежда, но совершенно напрасная. Тяжелая психическая болезнь держит его все в том же враждебном состоянии ко всем родным. Доходили сведения, что, будучи в Сибири, скитаясь без крова в полной нищете, он чи-

тал блестящие лекции по философии. В Московском университете он учился одновременно с Борисом Пастернаком⁵¹, который в своих воспоминаниях говорит о Дмитрие Самарине. М.Ф., уже в Боровске, прочитав эти строки Пастернака, вступила с ним в переписку, поправляя его неточности, ошибки. Это ее глубоко взволновало. Ни время, ни события не изгладили той боли, которая была связана с братом Дмитрием.

В письме к Поле М.Ф. пишет о большой тревоге — болезни Сергея Павловича зимой 1921–22 гг. Болезнь эта была началом развивавшегося туберкулеза, это было еще до кончины Софии Васильевны (5 января <18 января по н. ст.> 1923 г.).

Имея огромное желание и сознавая свою ответственность, М.Ф. готовила биографию С.П. уже в годы жизни в Боровске. Закончить эту работу ей не удалось, но от нее остались многочисленные варианты, наброски, краткие заметки, и я ими пользуюсь, чтобы проследить всю их совместную жизнь. Вот некоторые из них:

1923 год. “С утра до вечера день Сережи⁵². Утром и вечером молитва, обедня ранняя в храме Рождества или Пятницкой. От Праздника к Празднику Богослужение в скитах. Работает (над “Очерками”) урывками. Заканчивает “Введение” — таблицу. Заведующий библиотекой Троице-Сергиевой Лавры, ставшей филиалом Ленинской библиотеки. Из членов Комиссии он выбыл...

Последние четыре года в Сергиевом Посаде*. Начало периодических обострений туберкулезного процесса. Здоровье пошатнулось. Неустроенность житейская...

После закрытия Троице-Сергиевой Лавры как монастыря еще четыре года продолжается жизнь в скитах и пустынях...

Постепенное углубление в Образ Православного Богослужения — его поэзия Богословия. — Звуки, ритмы — могущественное действие...

1923. От Лазаревой Субботы и до Пасхи в Скиту...

* 1920–1924 гг.

В вагоне по воскресеньям поездки из дома вдвоем к поздней обедне в Зосимову пустынь. Духовная полнота“.

Так определяет М. Ф. эти дни.

“Июньский лес. Литургия в Зосимовой пустыни. После обедни чай у настоятеля о. Германа, старца-подвижника”...

В Москве встречи с Михаилом Александровичем Новоселовым, и через него — новые друзья: Чулковы Надежда Григорьевна⁵³ и Георгий Иванович⁵⁴. У Чулковых позднее — встреча с Вячеславом Ивановым⁵⁵, по-видимому, представлявшая интерес. Чулковы горячо потянулись к С.П. и М.Ф. Много позднее, в глубокой старости и уже после смерти мужа, Надежда Григорьевна пишет обрывочные, но яркие воспоминания о Сергее Павловиче. Привожу их здесь почти полностью:

“М.Ф. меня просила написать, но все боюсь — не смогу... Утро вечера мудренее. Давно мне хотелось написать воспоминания (о † С.П.)...

Вот, помню, пришла я к М.А.Новоселову (меня, кажется, послал к нему покойный Георгий Иванович). Пришла, вся в слезах, с моим неутешным горем. У нас умер сын наш — Володя. Почему-то М.А. поцеловал меня, и о чем-то мы заговорили. Кажется, о Церкви. О Ней. Она утешительница “всех скорбящих”. Он дал мне несколько книжечек: “Пособие к понятию о Богослужении”, учебную Псалтирь, учебный Часослов, учебный Октоих. М.А. просил меня прийти к нему через несколько дней на лекцию о святых Отцах. Читать будет С.П. Мансуров, его знакомый и друг. Слушать будут несколько наших друзей. Это будет первое чтение из намеченных в этом году.

В назначенный день прихожу слушать лекцию. Лектор — тихий, скромный человек. При первых словах вступления он изумил меня своим тоном рассказа — спокойным и уверенным. Говорил он о житии преподобного Антония Великого. Я никогда не читала о пустынноиках египетских. Лектор говорил: “Подобно ученому профессору, изучающему в уединении предмет своей науки, пустынноик изучает свою душу и достигает святости”. Все чу-

десное открылось мне в этой лекции. Неужели это правда? Неужели и мы можем так жить? Неужели и теперь могут быть чудеса?

Но лекции вдруг прекратились, С.П. заболел туберкулезом. Он и его жена жили тогда в Загорске, в доме их родственников. Я посылала ему при случае что-нибудь питательное и вкусное. Время было тяжелое, 20-е годы.

В это время я как новоначальная особенно усердно посещала храм, в котором служил прославленный в Москве старец, протоиерей Алексей Мечев. К нему многие прибегали за помощью, утешением и руководством. Эта церковь знала и любила С.П. Любил его и старец, и его сын, о. Сергей.

С.П. лежал больной, за ним ухаживала его жена. Во время болезни он давал уроки по истории Церкви, читал лекции о подвижничестве св. Отцов. К нему приезжали молодые священники и молодые церковные послушники. Сын старца о. Алексея тоже раз в неделю ездил к нему на лекции. С ним-то я и посылала больному маленькие посылочки сладостей и масла.

Месяца полтора или два спустя, я была обрадована, увидев входящего в нашу столовую дорогого мне С.П. Очень высокий, плохо одетый, с широкой улыбкой, не смущаясь своим плохим одеянием, в куртке и плохой обуви, он сказал: “Я пришел благодарить Вас за вкусные посылки”. Я была так взволнована его неожиданным появлением, что не могла говорить. Дух захватило. Я чувствовала только радость и необыкновенный мир на душе от его присутствия. Мне стало легко. Он внес с собою этот мир. И после этого каждое его появление и пребывание у нас сопровождалось всегда этим чувством. Он был в другой какой-то жизни, отрезанной от нашей всегдашней жизни, полной суеты.

Но он сам стал рассказывать мне о своей жизни в Загорске, о своей жене и родственниках, живущих в одной квартире с ним. Он стал заходить к нам в каждый приезд свой в Москву. Звал меня приехать к ним в Загорск и познакомиться с его женой. Кажется, я первая поехала знакомиться с М.Ф. и их родственниками, но и она стала приходить к нам. С.П. даже иногда ночевал у нас в столовой на маленьком диване. Но так как диван был мал, я удлиняла его, подставляя несколько стульев.

В Загорске я познакомилась с его женой и отцом С.П., и двумя племянниками М.Ф. — Алешей и Тоней⁵⁶, лет 9–11-ти. Была масленица. Все еще не совсем здоровый, С.П. не выходил из своей комнаты. Обстановка была скромная, только некоторые отдельные вещи напоминали прежнюю, богатую жизнь. В книжном шкафу стояли книги по истории Церкви и полное собрание творений св. Отцов, хорошо переплетенные тома. Мне сказала жена С.П., что это свадебный подарок ее отца — ее жениху. Предложено было на выбор это или золотые часы. Жених не прельстился часами и с увлечением читает книги по подвижничеству. Он пишет историю Церкви.

Я много слышала от них новых для меня понятий и правил из духовной жизни. Я с жадностью следила за их жизнью и все более удивлялась их спокойному отношению к тем вещам и случаям, от которых мы, миряне, приходим в отчаяние и уныние. Я часто слышала в их разговоре упоминание о чуде и наводила разговор на эту тему. “Неужели теперь возможны чудеса?” — “Да, — сказал С.П., — чудеса и теперь бывают, только мы их не замечаем. Вот на днях нам принесли продавать картофель. Нужен был безмен. У нас его не было, жена пошла за ним к соседке. Соседка дала, но просила не перегружать и больше пяти фунтов не класть. Стали вешать и нечаянно положили больше. Безмен сломался. Жена испугалась, бросилась на колени перед образом и стала молить Бога избавить нас от этого несчастья. Не прошло и двух часов, как к нам постучала наша знакомая портниха и предложила купить хороший безмен: нужно скорее продать и купить хлеба, в доме нет хлеба. Что это? Чудо или случай?”

Мой муж, Георгий Иванович Чулков, всегда был занят вопросами духовной жизни человека. Любил говорить об обязанностях человека-христианина, в наше время забытых. Он жадно пользовался всяким случаем побеседовать с С.П., черпая из его объяснений многое полезное для себя. У С.П. были большие знания по истории Церкви. Потом он, вспоминая об уже умершем С.П., говорил, что он обязан ему своим воспитанием церковным и понятиями о Церкви. С.П. любил Церковь, знал Ее и относился к Ней просто и непосредственно.

А как вел себя С.П. в храме! Мне говорили о нем знающие его и удивлялись. Он приходил рано, раньше многих. Шел прикладываться к иконам, как это делают монахи — от начала и до конца. Поклон и прикладывался. И уходил позднее других, выслушав все Богослужение. Слушая молитвы перед Причастием, он стоял на коленях, иногда прикинув лицом к полу. С.П. любил монастырское Богослужение с древним уставом и песнопениями. Он бывал в Саровском монастыре и жил в Оптиной пустыни у старцев о. Анатолия, о. Нектария⁵⁷ и других.

Кажется, в мое первое посещение С.П. в Загорске я застала жену его в кухне за печением мятных пряников в большом количестве. Она угостила меня ими и сказала, что продает их в магазине, по заказу. Она уложила их аккуратно в салазки и торжественно повезла в магазин. Одежда ее была сильно припудрена мукой. В кухне, на кровати прислуги, на подушке и одеяле, и на скамейке было много следов от теста и муки. Но все-таки это был заработок, заметный при их нужде.

Я часто стала ездить в Троице-Сергиеву Лавру, впервые посетила храм Святой Троицы, где покоятся мощи преподобного Сергия. Мне очень понравилось Богослужение*. Познакомилась с музеем Троице-Сергиевой Лавры. Читала сборник “Троице-Сергиева Лавра”⁵⁸, в котором участвовало несколько человек. Первая статья принадлежала священнику о. Павлу Флоренскому “Троице-Сергиева Лавра и Россия”, вторая статья — Юрию Александровичу Олсуфьеву “Иконопись”, затем статьи о. Михаила Шика “Колокола” и С.П.Мансурова “Библиотека”.

С.П. жил в доме Ю.А.Олсуфьева. И мне иногда приходилось слушать их разговоры, споры. Юрий Александрович Олсуфьев был родственником жены С.П. Помню также жившего в том же доме Владимира Алексеевича Комаровского, тоже близкого их родственника (двоюродного брата С.П.), и мне были так полезны их беседы, этих художников и глубоко верующих христиан в миру.

* Речь, очевидно, идет о Богослужении в Пятницком храме, где служили монахи, а также о службе в Гефсиманском скиту. Лавра в те годы была уже закрыта.

Однажды в трамвае я стояла, продвигаясь к выходу, и увидела впереди меня М.Ф. Мы поздоровались, и она сказала мне: “С.П. в тюрьме, я еду к нему на свидание...” Вскоре его освободили. Летом в этом году они жили в Аносине, при монастыре. С.П., все еще мало оправившийся от своей болезни, занимался работой по истории Церкви. В этом же монастыре гостил епископ Серафим⁵⁹. Он был дружен с С.П., и они много беседовали. Игуменья тоже благоволила ему и его жене. Я жила там в гостинице и тоже попала как гостя, но только в группе духовных детей о. Сергия Мечева, сына старца Алексея. С.П. и его жена обедали у игуменьи, а нам присылали пищу со стола игуменьи. В коридоре ходили монахини. И о. Досифей⁶⁰ из Зосимовой пустыни там жил.

Еще Аносино. Помню еще, я приехала на станцию, и мы идем пешком в село, где живут Мансуровы. Он больной, и М.Ф. везет ему продукты. Она и я их несем. Приехали. Она сразу взялась за приготовление ему трапезы. Вкусно и красиво приготовленное блюдо предлагается больному. Потом мы разговариваем. Я ночую у них*. Говорим об истории монастыря, его начале и начальнице, давно знакомой семье С.П. Он вообще знает много о монастырях. Две сестры его отца — начальницы монастыря в Риге, и они — его основательницы, и обе еще живы. Туда поехали молодые в свадебную поездку — С.П. и его жена. У нас вечером. Говорила о священстве... А он думал уже о посвящении...

Было отраднo видеть этих молодоженов**, так любящих друг друга, их желание передать другим их счастье. Каждый старался, чтобы новый знакомый заметил и оценил одаренность другого и важность и смысл их союза... Мне несколько раз приходилось слышать его вопрос: “Вы не знакомы с моей женой?” С какой радостью он говорил это, и в этом слышался голос счастливого, он говорил: “Да посмотрите же, как нам хорошо”.

На этом воспоминания обрываются... Муж Надежды Григорьевны — Георгий Иванович Чулков, в далеком прошлом — революционер, поэт-символист, одаренный, интересный писатель, пришедший к Богу, и по его письмам (к М.Ф. и жене

* В это время Мансуровы проводили лето вне монастыря.

** В 1924 году С.П. и М.Ф. Мансуровы были уже десять лет женаты.

Н.Г.) испытывавший влияние С.П. Лучше всего о нем говорит надпись на его могиле в Новодевичьем монастыре: *Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога!... В дому Отца Моего обители мнози суть...* (Ин. 14,1–2).

Летом 1923 года С.П. для отдыха и укрепления здоровья жил в Абрамцеве. Он был, конечно, больной, но мы как-то этого не понимали, насколько он болен. Он был молчалив, очень наблюдателен и, не будучи еще священником, говорил иногда, как власть имущий. Помню, как я, тогда 17 лет, настаивала на чем-то упрямо, не подчиняясь старшим. И помню его лицо и звук его голоса, а сказал он мне одно слово: “смирись!”, и вот, до сих пор помню! Из Абрамцева он поехал на похороны о. Алексея Мечева.

Тут меняется уклад жизни Мансуровых в Посаде, к ним на квартиру приезжает жить из Измалкова (где дальше оставаться было невозможно) семья Варвары Федоровны Комаровской⁶¹, сестры М.Ф., с детьми.

“Тишина из дома уходит”, — пишет М.Ф.

А обострение болезни С.П. осложняется. Высокая температура.

“Навещал о. Сергей Сидоров, соборовал, температура спадает...”

“Печать подвига в духовном образе”(С.П.).

От 1924 до 1926 гг. “бездомье”, скитания, — так записывает М.Ф.

Вблизи Москвы, на реке Истре, была женская обитель — Аносина пустынь, основанная в начале XIX века игуменьей Евгенией Озеровой⁶². Весной 1924 года Мансуровы впервые приезжают в этот монастырь. Игуменья Алипия и благочинная м. Антония, помогли им теплым, заботливым отноше-

ем. Лето 1924 г. Мансуровы провели вблизи этого монастыря. Лежа под деревом, писал С.П. главы своих “Очерков”. В здоровье его наступило улучшение, но диагноз был решительно установлен доктором Д.П. Соколовым⁶³ как туберкулезный процесс.

В монастырь приезжает много близких по духу и настроению людей. Некоторые из них живут летом в окрестностях Аносина. И возникают новые связи, дружба с такой семьей, как Григорьевы⁶⁴, где было много молодежи, которая тянется к Мансуровым*. Семья Любови Акимовны Титовой, близкого друга М.А. Новоселова, тоже тепло общается с С.П. и М.Ф. И другие...

В конце осени Мансуровы вернулись в Посад. Зимой, в январе 1925 года — снова арест. Бутырская тюрьма, “околоток” (тюремная больница) и — освобождение. Дальнейшая жизнь в Посаде становится невозможной, к тому же — в вредной, сырой квартире. Весной они снова в Аносине, где снимают комнату вблизи монастыря. От этого времени сохранилось письмо С.П. к отцу, в котором он пишет:

“...Мы собираемся жить в Аносине — с наездами в Посад. Здесь много дешевле обходится жизнь, и по всяким другим причинам это кажется разумней. Если бы ты захотел что-нибудь писать, то, думаю, не скучал бы здесь. Потом здесь удобно со службою церковною... Здоровье мое, слава Богу, хорошо. Температура не повышается. Занятия идут, пишу, читаю. Пишу, но медленно. Страдаю от своей медлительности. Сижу во II веке. Недавно кончил об Апостолах. Последнее, что написал — это “Поликарпа Смирнского”... Лето у нас прошло утешительно, и Манины нервы успокоились бы совсем, если бы не болезнь** Володи, которая нас очень расстроила. Мы его издали провожали...”

* Пути Господни неисповедимы. Через 50 лет, в 1976 году, одна из девочек Григорьевых, Люба — теперь уже Любовь Андреевна — пригласила к себе в Москву М.Ф. пожить зимой. М.Ф. приехала, и через несколько дней в этом исполненном любви доме завершился ее земной путь.

** Т. е. арест В.А. Комаровского в начале 1925 года и летом того же года — высылка в Ишим, Тобольской обл., на три года.

Епископ Серафим Звездинский очень любил Аносинскую обитель, часто в ней бывал, служил и гостил там. С.П. с ним сблизился, и это имело большое значение не только для него, но и в жизни М.Ф. Там же постоянно жил старец Зосимовской пустыни, о. Досифей.

Осенью 1925 года Мансуровы поехали в Новгород, к матушкам Мансуровым⁶⁵. Монахини, тети С.П., во время войны 1914 г. были перемещены из Риги в Новгород, в древний Мало-Кириллов монастырь. Для них приезд племянника был большой радостью.

Вернувшись, М.Ф. и С.П. предприняли в ноябре 1925 года новую, непосильную для них поездку в Саров и в Дивеево. Монастыри эти были близки к закрытию. Сверх ожидания в Сарове их необычайно тепло принимает казначей монастыря, отдает свой угол, отдает свою еду. Вскоре после этого он, молодой человек, скончался.

Эта поездка была очень трудной. Больной, измученный, вернулся оттуда С.П. Но добрые друзья, всегда готовые их поддержать, помогли ему прийти в себя, поправиться и отдохнуть в Москве.

В начале 1926 года Мансуровы снова в Аносином монастыре, где их встречают как родных и поселяют в “комнате у дороги” (как пишет М.Ф.). Великий пост, Пасха, весна — проходят там. Летом они перебираются в дом на пчельнике. Чистый лесной воздух, питание (свежие яйца, рыба) помогают. С.П. вновь пишет “Очерки”, дает уроки Закона Божия. Его навещают друзья и знакомые, среди которых М.Ф. упоминает о. Константина Ровинского с женой⁶⁶.

С.П. все более сближается с владыкой Серафимом и по его совету и благословиению приходит к большому решению — принять священство, о чем он давно думал, но не надеялся на свои силы. Все решилось в день Смоленской Божией Матери в алтаре, в Аносине. В тетради С.П. сохранился черновик его письма к отцу, в Новгород (где тот находился в ссылке). Он пишет о предстоящем посвящении и предлагаемом ему месте в Дубровском монастыре, куда М.Ф. уже ездила и где ей понравилось.

И вот, 4 и 5 ноября 1926 года — хиротония⁶⁷. Посвящен о. Сергей был преосвященным Иннокентием Бийским⁶⁸, спо-

движником митрополита Макария, жившим на покое в Люберцах. В диакона был посвящен в домовый церкви в покоях митрополита Макария и на другой день — во иерея, в храме с. Котельники, где настоятелем был о. Иоанн Нерадовский. Сослужил епископу друг о. Сергия, о. Александр Гомановский⁶⁹ со своим “хором” — Лида Фудель⁷⁰, Лида Гаврилова⁷¹, Наташа Полянская. И М.Ф. — с ним, со своим Сережей, и после хиротонии она первая подходит под благословение иерея Сергия...

Вторую литургию о. Сергей служил в Пушкине, куда к тому времени перебрались из Новгорода жить его тети — м. Сергия и м. Иоанна. Один раз только пришлось мне быть за литургией, которую служил о. Сергей в нижнем храме св. Саввы Освященного. Это когда-то был монастырь вблизи Новодевичьего монастыря. Теперь и следа нет от него. Настоятелем был о. Александр Гомановский, принявший позднее монашество с именем Даниил и после многих ссылок окончивший жизнь в 1941 г. в заключении.

Перед самым отъездом из Аносина о. Сергей служил там в храме и после литургии обратился к игуменьи, матушкам и сестрам со следующими прощальными словами (привожу их по его черновой записи):

“...Около трех лет прожил я около Ваших святынь, около Вашей обители. Мы нашли здесь приют в тяжелые для нас годы. Господь милостивый и Его Пречистая Матерь привели нас под Ваш кров, где мы приобрели как бы родной дом. Не говоря уже о многом и многом, что Господь даровал мне не без Вашей помощи, Он здесь привел меня к священству, и сему много помогла жизнь Ваша. И что лучшего мог я обрести, если только Господь даст мне понести священство не в осуждение. Теперь мое священство на всю жизнь будет связано с памятью о Вас, которые понесли мою тяготу.

Вы подали мне не одну чашу холодной воды, а одну ее Господь обещал не забыть. И помогли нам и духовно — молитвами, примером и трудами, и телесно — облегчая нам жизненные недостатки. Мне нечем воздать Вам, но Господь не забудет эти многие чаши милости Вашей.

А моя молитва, скудная и недостойная, поминать Вас у Престола Божия, если Господь не оставит меня, всегда будет за Вас.

Путь священства — путь трудный и крестный, и особенно в наше время. Если Вы помогли мне принять священство, то помогите мне своею молитвою понести его сколь возможно достойнее. И вместе с благодарностью примите и мою просьбу — вспоминать на молитве недостойного иерея Сергия и жену его Марию”.

О. Сергей был назначен в женскую обитель.

“Приезд странников в новую пристань под Введение, ко Всенощной, — пишет М.Ф., — дом за оградой, благожелательный прием”.

Первая зима проходит благополучно в смысле здоровья.

Привожу здесь выдержки из воспоминаний об о. Сергии Наталии Дмитриевны Шик (жены его друга, о. Михаила), относящиеся к первой зиме после его посвящения:

“...Иногда они с М.Ф. приезжали в Москву, и вскоре я впервые увидела его священником. Единственный раз в жизни я была на его служении — за всенощной и ранней литургией в церкви Саввы Освященного. Надо ли говорить, что он казался здесь на своем месте, как нигде и никогда в жизни. Служил он тихо и очень спокойно, не повышая голоса при возгласах, не вносил в священнодействия ничего от себя — ничего, кроме глубокого внимания к каждому слову и сосредоточенной осторожности в каждом движении. Казалось, что служит старый, очень старый священник.

За всенощной кроме меня было еще несколько знакомых С.П. Настоятель храма удержал нас всех после службы и оставил пить чай в маленькой комнате при церкви. За столом С.П. был оживлен, — в каком-то, даже не свойственном ему, немного приподнятом настроении и был похож не на старого священника, а на молодого новобрачного”.

Дубровский женский монастырь (в нем было всего 40 монахинь и сестер), расположенный в 12 км от города Вереи, стоял на высоком берегу реки Протвы и со всех сторон был окружен лесом*. Он был основан незадолго до 1917 года, был совсем новым. Домик священника, построенный вне ограды, с одной стороны

* В настоящее время на его месте — лесная поляна и лишь в густой траве можно найти остаток алтарного выступа храма.

примыкал к лесу, а с другой — выходил на большую луговую поляну, тропинка через которую вела к монастырским воротам. Помещение состояло из 4-х комнат: одной большой и трех поменьше, сеней, кухни и крытого крылечка. Под окнами — со стороны леса — кусты малины, с другой — небольшой огородик, очень радовавший Мансуровых, уставших от всех своих скитаний. Им как-то не верилось, что они под своим кровом. По хозяйству помогала приехавшая к ним старая их помощница, Ильинична. Вокруг была тишина, нарушаемая лишь криками грачей, живших в деревьях возле обрыва к реке, и монастырским звоном.

И о. Сергей, и М.Ф. были поглощены всем кругом богослужения в храме. О. Сергей подолгу готовился к службам. Были и трудности. Игуменья Олимпиада, уверенная в себе, и кажется, довольно властная, не могла в полной мере оценить о. Сергия, и отношения между ними, хотя внешне доброжелательные, не были близкими. Гораздо проще и теплее была прежняя настоятельница той же обители, матушка Макария, жившая там на покое в отдельном домике — тихая и смиренная матушка, она иногда навещала Мансуровых.

Среди монахинь и сестер обители о. Сергей скоро приобрел большую привязанность и доверие. Они постоянно прибегали к нему исповедоваться, делиться трудностями, искать совета. О. Сергей выслушивал их со всей, свойственной ему во всем, серьезностью, ни к чему не относился без внимания, умиротворял, уделяя этому часто время необходимого ему как больному отдыха. Эти беседы большей частью происходили на крылечке, а в более серьезных случаях — у о. Сергия в комнате. Очень скоро стали приходиться и крестьяне, разговорами с которыми о. Сергей очень дорожил — не только старался помочь, но и сам, общаясь с ними, как бы поучался, проникался их трудностями, их жизнью. Среди немногих сохранившихся его вещей осталась маленькая книжечка для поминовения “о здравии и спасении” местных жителей, где значатся не только имена, но и фамилии, и родственные отношения между собою поминаемых по семьям, и названия деревень, откуда люди приходили навещать о. Сергия, когда он уже не служил, а лежал больной в Верее.

Места эти были довольно глухими, в них сохранялись еще старые народные устои и быт, и в то же время — и темные стороны жизни: по деревням были колдуны, многие случаи “порчи”, наговоров и т. д., о чем было много рассказов. На все это надо было отзываться, давать советы, оказывать помощь. По воскресеньям и в праздничные дни церковь наполнялась крестьянами, одетыми еще по-старинному: девочки, даже маленькие, стояли в длинных, почти до полу, платьях, в фартуках, повязанные повзрослому платками. Как-то раз к о. Сергию подошла исповедоваться такая девочка. На его вопрос, что она знает о Боге, она показала на икону святителя Николая со словами: “Вот он — Бог!” О. Сергей долго с ней беседовал. Бывали и другие, подобные этому, случаи.

Остались от него черновые записи проповедей, по ним видно, как он готовился к ним — как к своему главному жизненному экзамену...

В то же время надо было не пренебрегать устоявшимися в тех местах обычаями жизни священника на приходе. Одним из таких обычаев была так называемая “петровщина”, когда летом, в конце Петровского поста, священник объезжает деревни на подводе, входя в дома с кратким молебном, а крестьяне по мере своих возможностей дают ему продукты от своего хозяйства. Зная о. Сергия даже только по этим записям, можно понять, как это ему было трудно. Узнав об этом обычае, он прежде всего отказался, но потом, поняв, что это неотвратимо, смиренно покорился и отправился к повозке, управляемой молоденькой сестрой, Катей Розановой. М.Ф. и гостившая у них ее племянница, Тоня, 11-ти лет, ждали его возвращения с большим волнением, а М.Ф. даже со страхом. Но вот он вернулся вечером, веселый и улыбающийся, в своем немного нескладном полотняном подряснике и летней шляпе-панаме; все было хорошо, и даже как-будто возникла более близкая, простая связь с людьми.

Из Москвы приходили тревожные известия, летом 1927 г. был большой расстрел, вызванный убийством Войкова⁷². Среди погибших были знакомые, общее настроение было угнетенное...

А здесь — спокойная, лесная тишина, лето во всем расцвете и строгая монастырская жизнь. Монахини — по большей части ме-

стные или более дальние крестьянки — косили, убирали сено, работали на огородах; в пекарне, необыкновенно чистой, выпекались просфоры и хлеб — там была главной матушка Евсевия (много лет спустя, в глубокой старости, прислуживавшая в верейском храме, уже после войны). Был в монастыре маленький скит в лесу, где жили две сестры, работавшие на пасеке. Хотя у входа в монастырь висела дощечка с надписью “с/х артель”, никто не думал тогда, насколько близок его конец. О. Сергей еще успевал в свободное время писать свою работу по истории Церкви, лежа под соснами у обрыва над рекой.

Мансуровы познакомились с учительницей школы соседнего села и заходили к ней, бывал у них и служивший недалеко батюшка, о. Петр⁷³. Алеша⁷⁴ вспоминает свой приезд в монастырь в середине лета вместе со священником московской церкви “Соломенная Сторожка”⁷⁵ о. Алексеем и А.В. Шенроком⁷⁶, работавшим в то время в университетской библиотеке. Добравшись от ст. Дорохово до Вереи на ямщике, они последние 12 км шли пешком, по руслу Протвы. Пройдя Вышгород, где им сказали, как идти в монастырь, они перешли реку вброд и шли лесной дорогой, когда уже стемнело. И вдруг в лесу, совсем рядом раздался благовест, и, выйдя на поляну, они увидели домик с одним освещенным окошком и в нем — о. Сергия, собиравшегося идти в церковь.

Уже приближалась осень, когда о. Сергей получил конверт от благочинного. Прочитав содержавшееся в нем письмо, он долго сидел в молчании. Это было распоряжение о поминонии на богослужении митрополита Сергия как Местоблюстителя Патриаршего Престола и властей. О. Сергей не считал это возможным без Соборного решения Церкви в то время, когда назначенный покойным Патриархом Тихоном его Местоблюститель, митрополит Петр, был в живых и находился в ссылке. И до конца своего служения, прерванного через несколько месяцев с его болезнью, он продолжал служить по-прежнему, без изменений. Жизнь его оборвалась еще до того, как разногласия в этом Церковном вопросе приняли наиболее напряженный характер.

В начале 1928 года он простудился, и это было началом его предсмертной болезни.

Весной Мансуровы были вынуждены ехать в Москву, к врачам. Доктора — М.П. Кончаловский и А.Д. Воскресенский⁷⁷ (не только врач, но и друг, так же, как и жена его, Лидия Александровна) подтвердили тяжелое состояние больного. Мансуровы в конце мая уехали в Верею, где сняли часть дома на 1-й Советской улице. Так прошло лето, осень и зима 1928 г. и начало 1929 г.

Монастырь был закрыт в 1928 г.

2-го марта <15 марта по н. ст.> 1929 г. о. Сергей скончался⁷⁸. Всего он был священником (включая болезнь) 2 года 4 месяца, служил в храме 1 год 4 месяца.

Здесь я привожу записи самой М.Ф. о его последних днях и кончине.

Описание последних двух дней жизни о. Сергия Мансурова, написанное его женой через 4 года после его кончины, в 1933 г.

1 марта 1933 г. Завтра день кончины С., — прошло четыре года.

1 марта утром, перед его соборованием, приобщились Св. Тайн он и я вместе, в последний раз. Совместный земной путь был закончен, мы находились в преддверии нового, иного союза. Приобщал о. С.М.⁷⁹, — знал, понимал, что происходит. Накануне вечером, 28-го, я ходила в дом покойного батюшки о. Алексея Мечева и исповедовалась у о. С. за всю жизнь. Вернулась, С. был крайне слаб, изнемогал от жара — 39,3. С большим трудом перестелила под ним постель. Была одышка, но в эту ночь она еще не лишила его сна. К утру температура сильно упала, был сильный пот и слабость. Цвет лица был розовый, отдыхал от жара, но был очень слаб. Заметна была забота перед приходом о. Сергия, как бы все выдержать, чтобы сил хватило. Утром, проснувшись, сказал мне, изнемогающей: “М., я надеюсь на милость Божию”. Хотелось ему, чтобы поскорей начали, не хотел медлить, силы свои рассчитывал. Постель была чисто убрана. Подушки, все в чистых наволочках, высоко лежали. Он полу-

сидел, прислонившись к подушкам. На нем была вязаная кофта из деревенской шерсти, в которой он все время болел. Сверху эпитрахиль батюшки о. Алексея (Зосимовой пустыни) и поручи. Лицо умытое, волосы зачесаны, от пота они прилипали у висков. Благообразно готовился он к таинству. Дыхание было учащенное, но не слишком. Выражение очень серьезное, кроткое, слегка страдальческое, немного озабоченное. Видимо, был озабочен, как бы выдержать длинную службу.

Большая, светлая бревенчатая комната также была вся убранная, все лампадки горели, пол застлан половиком — *горница устланная*. На дворе таяло, дул сильный теплый ветер. В таинстве соборования участвовало пять священнослужителей⁸⁰, шестым был сам помазуемый, разрешаемый от уз и трудов земных. Кроме священников, в комнате была м. Мария⁸¹, Анна Васильевна⁸² и я.

Началась служба. У всех в руках зажглись свечи, и С. держал горящую свечу. По мере того как совершалось таинство, на лице С. печатлелось и усиливалось невиданное еще мною у него выражение, — это не было тем выражением покоя и безмолвия, которое почilo на нем вскоре после соборования. Было что-то вроде улыбки, но не присущая ему всегда тихая, благожелательная улыбка, которой он улыбался еще за три минуты до смерти. Состояние его духа в это время осталось для меня непостижимым, и найти слов, выражающих его, я не могу. Он был как бы весь переполнен, объят чем-то, что с силой, помимо его воли, рвалось наружу и озаряло лицо его какой-то невиданной радостью, странно сочетавшейся с выражением страдания. Он не похож был на себя в это время... Хватило, хватило и сил на все, — все выдержал до конца... Он весь как бы истаивал — в комнате стало жарко, капал воск, св. елей сливался с каплями пота, волосы мокрые прилипли к голове.

Кончилось таинство. Слабым, изменившимся голосом, но очень твердо произнес он, по чину, заключительные слова елеосвящения: “Простите мя, отцы святые...” — все до конца произнес с величайшей любовью к св. Церкви и чину, и послужившим ему отцам — друзьям его и собратьям.

Поздравили, рад, что выдержал, рад отдохнуть. Принесли чашку кофе, выпил, подкрепился. С закрытыми глазами продол-

жал полусидеть на подушках, все в нем было — покой. Движения рук, тихонько отгибавших простыню, поправлявших одеяло, во всем — тишина и долготерпение. Непривычно холодной была голова, жар все еще не начинался. Двое батюшек, о. С. и о. Ал.⁸³ — друзья его, удалились в соседнюю комнату. О.Б.⁸⁴ уезжал и потому пришел проститься. С. благодарил его, улыбаясь, был ласков, благодарил о. Б. за то, что он хранит его книги. Я поставила большое кресло в ногах и села отдохнуть, с душой потрясенной, недоумевающей, уповающей. Он продолжал отдыхать, глаза были закрыты, но он не дремал — это был покой и бдение одновременно. С какой-то робостью, вглядываясь в дорогие черты, увидела я в эти минуты тонкую, еле уловимую печать величественного покоя-безмолвия. “Да молчит всякая плоть...” — “Как продолжать жить на земле с таким лицом?” — это мелькнуло у меня в сознании. Тут я сказала: “Я боялась, что тебя разволнует такое пение громкое, очень было много служащих”. Он: “А я это воспринял как торжество”.

Наступал день, странный день, не такой, как все. Круг и течение болезни было, видимо, закончено, болезнь уже сделала свое дело — таинством соборования была наложена печать. Организм прекратил свою трудную борьбу — температура так и не повысилась, почти прекратилась и работа кишек. Наступило какое-то затишье — он был на грани. Слабость была большая. Кроме выражения покоя было еще как бы что-то недоуменное, не утром, а позднее. Думал, может быть, — “умру или жить буду?” Падению температуры он, видимо, дивился и как-то ужасался, но все это безмолвно. Какой-то вопрос был в глазах.

Приехал брат его, Боря⁸⁵. Поговорил чуть-чуть, трудно было, старался улыбаться, берег силы, был серьезен. Б. потом говорил, что заметил на лице его печать чего-то непостижимого. Подошел вечер. Начала усиливаться одышка, до сих пор бывшая только при движениях. Вечером о. С., гуляя, подошел к нашему домику. У нас размазано было одно окно в соседней комнате. Окно было открыто. Мы с А.В. стояли у окна. Подошел о. Сергей, спросил: “Ну, как?” Лицо его было печально и полно участия. Ему уже было ясно, что С. осталось прожить еще какие-то часы, а не дни. Ушел о. Сергей. М. Мария устроилась лечь на русской печке — в тоске и унынии. Наступила страдная ночь.

Мы с Анной Васильевной поочередно, а то и вместе, бодрствовали. Если спать ложились, то не от желания спать, а от овладевавшей глубокой тоски. С. дышал очень часто и томился от одышки. Все средства, какие были у нас, мы употребили — камфора, кофеин, веер, мокрая тряпка на сердце, дигиталис и другие лекарства. Облегчения не было заметно. Иногда, сидя прислонившись к подушке, он все же слегка задремывал — очень ему хотелось поспать — одышка все мешала. Часа в 4 утра А.В. сделала укол кофеина. К утру он немного успокоился и забылся. И я около него — тем особенным сном, когда сердце точно падает куда-то. Было уже светло, когда мы оба проснулись. Проснувшись, ощутила в сердце своем присутствие жизни.

Наступило 2 марта, пятница Сырной седмицы. Я: “Тебе, кажется, стало полегче? Ты немного задремал”. Он: “Да... и так это было удивительно, что я даже не знаю, как рассказать”. Я насторожилась. Он: “Ночью мне было очень трудно дышать... целая буря... и вдруг... не то великомученик Георгий... кто-то... с копьем...” — и замолчал. Я: “Может быть, Архангел Михаил?” — “Нет”. — “Может быть, великомученик Пантелеимон?” — “Нет”. — “Может быть, мученик Трифон? Или Иоанн Воин? Может быть, великомученик Георгий, ты его сам назвал?” — “Нет... кто-то поближе к нам...” — “Кто же поближе?” — “Не знаю”. — “А какой он был?” — “С копьем... и вот... он... копьем коснулся моего сердца... и притом, самого слабого места... и вдруг... такое облегчение... такая теплота разлилась... так что, когда А.В. пришла делать укол, у меня уже до этого наступило облегчение”. Я сняла образок св.мч. Иоанна Воина с копьем и показала ему: “Похоже на это?” — “Да... немного”. От этого рассказа стало легче на душе, какое-то благонадежие осенило и его, и меня: до сих пор мы были одни, а тут помощь из другого мира...

Продолжаю 2 марта. В это утро цвет лица его уже не был розовым, под глазами были темные круги, голос сильно изменился, и часто было трудно понимать. Часов около 12-ти пришли о. Сергей и о. Александр — они ночевали не у нас. Они поздоровались с С., а потом сели тихонечко в соседней комнате. Я просила у С. позволения рассказать им о бывшем явлении. Он позволил. Когда я рассказывала им в соседней комнате, дверь к С. бы-

ла открыта, он слышал, как я рассказывала, и сделал какую-то поправку, теперь не помню, что. Рассказала. Они так и не узнали в явившемся Грозного Ангела, “Встречного”, “Посланника”, “Вестника”, “Разрешителя от уз”, думали, что кто-нибудь из мучеников*, но не зная имени, отслужили тихонько молебен общий св. мученикам.

Около часа дня опять стала мучить одышка. Решили попробовать банки по ранее данному совету доктора. Пришла фельдшерица-соседка и поставила банки у левой ключицы, повыше сердца. Он надеялся, что помогут, благодарил ее, улыбался ей. В обычное время я принесла ему обед: уху, рыбную котлету вареную, что-то сладкое. Он съел уху и половину котлеты, а другую отдал, говоря: “А это ты съешь”. О. Сергей ушел, а о. Александр остался. Надежды на облегчение от банок уже не было, одышка опять усилилась. Он сидел прямо, то прислонившись к подушкам, то слегка отделяясь от них, чуть нагибаясь вперед, дышал ртом. Цвет лица был бледный, чуть землянистый, губы по углам запеклись, тени под глазами углубились. Температура, как и накануне, не повысилась, лоб был холодный и влажный. В тоске смертельной переходила я из комнаты в комнату, механически делая какие-то дела. А.В. то приготавлилась к уколу, то убиралась после него. Он сам каждый раз, видимо, ждал помощи от укола. Почти не говорил. Один раз, проходя, я пристально взглянула на него, — он опустил глаза, как бы избегая моих, в углах рта что-то передернулось. В другой раз, наоборот, он сделал усилие и улыбнулся мне особенной улыбкой, которой только мне улыбался наедине, когда хотел сбить с меня уныние. Но во мне все замерло, оцепенело. Так проходил час за часом. Спасибо дорогому батюшке о. Ал., что он не оставил нас в эти часы глубокой тоски, не бросил, разделил их с нами.

* Через пять недель после кончины С. мною было рассказано о видении еп. Серафиму Звездинскому, которому сразу дано было уразуметь его смысл, с полной внутренней убедительностью для других. Назначение Ангела Смерти — разрешать душу от союза с телом, всегда при помощи острого орудия. Приход его может быть очень страшным, может быть и благостным, как видно из канона.

Наступили сумерки. Лампу у С. не зажигали, горела одна лампадка. То укол, то лекарство, то приложишь святую на сердце, то подойдешь в уголок помолиться, то веером помахашь — все бес- сильно... Часов в 5–6 вечера, я, как обычно, приготовила напиток из сбитых желтков и какао на миндальном молоке и принесла. Он взял и как-то быстро, сразу все проглотил, не как обычно — точно отделался. Эти часы страданий и последних усилий слабеющего сердца не были похожи на агонию. Не было ни малейшего метания из стороны в сторону, было только, и то не часто, движение от подушки вперед, и все это в величайшей тишине. Никаких звуков вроде хрипения тоже не было.

Стемнело совсем... О. Александр сидел близко от него на диване молча. Когда меня не было в комнате, вдруг он обращается к о. Александру и говорит: “О. Ал.! Скажите мне по иерейской совети, что это — смерть?” О. Ал.: “Да, Ваше положение, конечно, очень серьезное. Вам следовало бы чаще причащаться”. Он: “Вот, я завтра и причащусь”. О. Ал.: “Не лучше ли сегодня?” Об этом разговоре я узнала на другой день. Не помню, перед этим или после А.В. решила сделать еще укол. Он ей: “Так делайте уж скорей”. После разговора с о. Ал. он подзывает к себе А.В., а мне машет рукой, чтобы я отошла. Что-то шепнул ей. А.В. быстро вышла, быстро надела шляпу и пальто и ушла. Я поняла, что он послал за о. Сергием. Я подхожу и наклоняюсь к нему близко. Он, еле внятно, с волнением: “Я хочу... причаститься... я послал А.В. за о. Сергием”. Я, слегка взяв его за голову, сказала ему на ухо всего только два слова. Наступили последние полчаса ожидания о. Сергия. О. Ал. неотступно, неподвижно, как столп, сидел на диване, бодрствовал с ним. Для меня осталось тайной состояние духа С. в эти последние полчаса, когда он, впервые может быть, после слов о. Александра “не лучше ли сегодня?” лицом к лицу встал к смерти. Он подозвал меня: “Дай эпитрахиль...” Я еле разобрала это слово. Я дала и надела, дала и поручи, кажется, о. Ал. помог надеть. С.: “Дай рот выполоскать”, — больше знаками, чем словами. Я дала, он сам сделал все. Я вышла в соседнюю комнату, в кухню. Этот час я уже видела во сне не так долго, и так же я в кухню вышла. Но там, во сне, у меня было на душе торжественно и радостно, точно учил меня этот сон, какой надо быть в это время, но тут я забыла.

В эти минуты я около него не была, не смотрела на него, не было сил, оставила его... Вот хлопнула калитка, дверь сеней распахнулась быстро, о. Сергей вихрем, стремительно прошел к иконам. Я осветила комнату восковой свечечкой. С.: “Только нельзя ли посокращенней?” О. Сергей с волнением ответил: “Да, да”. А.В. не вошла. Нас было пятеро. Он, двое батюшек, м. Мария и я. О. Сергей трепетно, быстро действовал. О. Ал. встал с дивана и помогал. Свечку держала м. Мария — слабый огонек восковой свечи освещал всех нас. При свете ее, в присутствии св. Даров и о. Сергия, я решилась взглянуть на него... и ничего страшного не увидела, он был благообразен и светел, рад, что дождался. Приобщился, запил, дали в руки крест деревянный, и он слабеющим языком произнес: “Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром...” — все, до конца. Опять, как после соборования, в этих заключительных словах послышалась мне во всей интонации его нежная любовь к св. Церкви. Затаив дыхание, в трепетном внимании, стояли все четверо свидетелей этих последних мгновений, исполненных величественной завершенности. Отдал крест, сняли епитрахиль и поручи... О. Сергей Мечев весь просветлел, радостно поздравил, и о. Ал., и м. Мария, и я поцеловала лежавшую на одеяле руку. Всем он слегка кивал головой и улыбался своей улыбкой, приветливо; мне же еще тихонько сказал “спасибо” и с улыбкой поглядел в глаза, робко. “Спасибо”, что поздравила, или “спасибо” за всю жизнь — так и не поняла.

Стало легче: он приобщился и улыбается, и все здесь, вместе. О. Сергей отошел к образам и стал убирать св. Дары. С.: “М., подойди ко мне, вытащи из-под меня клеенку, она мне очень мешает”. Я начала тащить, одна не могла, позвала м. Марию на помощь. “Нельзя ли меня повыше посадить?” О. Александр наклонился к нему и сказал: “Возьмите меня за шею,” — обнял его и посадил выше, в это время м. Мария сзади поднимала подушки. М. Мария спросила: “Теперь хорошо?” — “Хорошо... очень...” Голова склонилась на правое плечо, рот слегка приоткрылся, и дыхание прекратилось... руки тихо покоились вдоль колен. Я быстро за руку подтащила о. Сергия, стоявшего в углу, спиной к нам, к кровати. Он встал на колени, правую руку положил ему на голову, а левой взялся за пульс: “Еще бьется...” Я стояла рядом на коленях, припав к ногам. М. Мария поддер-

живала его за плечи. О. Александр начал читать отходную, но тут же бросил... поздно было.

Так и затихли все.

Через полчаса я сидела с А.В. в соседней комнате, на ее кровати. Там, за перегородкой, несколько человек двигались в полутьме. Трое священнослужителей (пришел и о. Петр, местный священник) совершали свое служение четвертому — уже бездыханному. Был уже глубокий вечер. Одевали и, одевая, пели ирмосы: “Волною морскою”, “Тебе на водах” и все до конца...

О. Сергей отошел в другой мир в навечерье Сырной субботы... В этот день св. Церковь совершает память всех “в постничестве просиявших мужей и жен”, всех преподобных, а также великих Учителей и Святителей. Утренний канон этого дня — это прекрасная нить, сплетенная из дивных имен. Труд жизни о. Сергия, его “Таблица” к Истории Церкви — это тоже ряд имен святых. Любовь к святым освещала всю его жизнь.

Преподобнии и Богоноснии Отцы, примите возлюбившего Вас и послужившего Вам раба Божьего, усопшего иерея Сергия в обители Ваши и испросите душе его оставление грехов, мир и велию милость. Аминь”.

Отпевали о. Сергия в Верее, были все те же его друзья: о. Сергей Мечев, о. Александр Гомановский, о. Михаил Шик и настоятель верейского храма о. Петр. Пели приехавшие из Москвы, в основном из Мечевского братства.

Положили о. Сергия на верейском кладбище, за городом, недалеко от леса. На могиле поставили большой деревянный крест, как принято в этих краях. А в 1976 г. М.Ф. положили тут же, рядом с о. Сергием, только с меньшим, таким же крестом. Мир и покой царят в этом лесном уголке.

<В текст Е.А. Чернышевой-Самариной добавлена часть проповеди о. Михаила Шика, произнесенной им на 40-й день памяти о. Сергия⁸⁶>:

“...Мне было дано счастье знать покойного о. Сергия более половины его, увы, недолгой жизни. Я вместе с ним учился, мы долго жили вблизи друг от друга у стен обители при. Сергия, почти вместе удостоились вступить в ряды слу-

жителей Церкви. Наши жизни протекали рядом, попутно и близко, и с каждым годом мы теснее сближались с ним в дружбе. Но о. Сергей был мне не только любимым другом, — почти с начала нашего сближения он был моим наставником, которого я, чем далее, тем более ценил и чтил. Земным возрастом о. Сергей был юнее меня, но я всегда ощущал, что по духовному опыту и ведению он был старше, возрастнее меня. Не скрою, что эта разница духовных возрастов все увеличивалась. О. Сергей опережал меня в духовном прeusпянии и потому все более становился для меня и многих признанным наставником. Мне дорого засвидетельствовать сегодня здесь тем, кто, как и я, знал и любил усопшего, сколь многим я ему обязан.

О. Сергей был глубокий и тонкий знаток истории Церкви, обладал обширными знаниями неисчерпаемой сокровищницы житий Святых, был широко, углубленно и вдумчиво начитан в писаниях Святых Отцов и Учителей Церкви. Ему были присущи редкий вкус к этой области духовного знания и усердие к его приобретению. Каждому собеседнику, в ком он видел малейшие признаки духовной жажды, он с неутомимой ревностью старался привить желание припасть устами непосредственно к этому живоносному источнику Христовой Истины, истекающему из Церкви. Его беседа всегда была напоена усвоенным им из церковной сокровищницы святотеческим духом и потому так поучительна. Но еще поучительнее был весь строй его внутренней и внешней жизни.

Когда сорок дней тому назад я ехал ночью из Москвы в Верею к месту последнего земного упокоения о. Сергия, чтобы отдать ему христианский долг погребения, я старался осознать все, чем я обязан покойному. При этом я искал уяснить себе, в чем было духовное средоточие его жизни, которая излучала свет Христов на тех, кто с ним сближался. И вот что всплыло тогда в моем сознании.

О. Сергей любил Бога и все Божие.

Эта любовь была основной движущей силой его духа, подлинной сердцевиной его жизни. О нем можно сказать теми же словами, какими Церковь ублажает великих святых Русской Церкви, преподобных Сергия и Серафима, которых наиболее преданно и задушевно чтит о. Сергей при жизни: “От юности Христа возлюбил еси...”

С юных лет затеплилась в сердце о. Сергия любовь к Богу и Божьему и ровным, немеркнувшим светом горела в нем всю его жизнь, изливаясь на нас теплыми лучами Христова утешения и назидания. Однако, не только о. Сергей много возлюбил Бога. Оглядываясь на его жизнь, безбоязненно можно сказать, что и Бог много возлюбил в нем своего верного слугу, наделив его незаурядными духовными дарованиями.

Среди них одно было чрезвычайным.

Наше время исключительно в жизни Церкви тем, что теперь в испытаниях, страданиях и искушениях нам опытно раскрывается углубленное православное понимание девятого члена Символа веры “во едину, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь”. Церковные расколы, раздоры и шатания, которыми Русская Церковь болеет уже семь лет и которые не устают возникать до

самых последних дней, точно испытуют нашу верность этому камню православного исповедания. О. Сергей был как бы предназначен Господом для этого времени. Ему еще задолго до начала явных шатаний русского церковного сознания в этом вопросе, почти с юных лет открылось ясное понимание православной истины о Церкви. Оно было дано ему, решусь сказать, как бы без труда, без нарочитого усилия с его стороны, точно в непосредственном усмотрении, как откровенное знание.

Это был подлинный Божий дар.

О. Сергей умел видеть Церковь в ее конкретном раскрытии в исторической жизни человеческого рода. История Церкви была для него развертыванием богочеловеческого процесса, осуществлением Царства Божия в душах богоносных человек — святых Божиих — которые восприяли от Спасителя и Его апостолов и преемственно передавали от поколения к поколению таким же богодухновенным избранникам опытное ведение сокровенных тайн Царства Божия.

Раскрытие и сообщение ближним этой православной истины стало сознательно избранным делом жизни о. Сергия. Он много и с Божией помощью успешно трудился над обширным изложением своих размышлений и исследований в этой области. Задумана была полная история Церкви от Апостолов до прп. Серафима и о. Иоанна Кронштадтского, изображенная агиографически. Однако, Господь не судил ему завершить этот труд. О. Сергей не успел при жизни придать своему замыслу предполагаемый вид многотомного сочинения. Но, точно в предвидении краткости данного ему срока, он предварительно начертил основное содержание своего труда в сжатом и законченном, тщательно обдуманном очерке, значение которого будет, несомненно, по достоинству оценено православным сознанием. Можно иметь уверенность, что этот завещанный нам плод жизненного труда о. Сергия не окажется без практического воздействия на строй мыслей и душевное устройство тех христиан, которые дадут себе труд его узнать. Как делало при жизни о. Сергия его живое слово, так по его кончине этот его очерк будет прививать читателю желание приобщиться святотеческому наследию, хранимому нашему Церковью, и, в то же время, будет каждому надежным путеводителем среди его неисчерпаемого богатства.

Не скудны были и иные духовные дарования о. Сергия: молитвенность, дар утешения скорбных душ, привлечение ко Христу маловерных и неверующих, способность неотразимо сообщать другим тишину мира Христова, невозмутимо царствовавшего в его собственной душе, и, вероятно, иные многие <дарования>, которые остались мне, а, может быть, и другим, неизвестными. О. Сергей не скрывал своих дарований, всегда был готов послужить ими ближнему. Многие тянулись к нему за духовной помощью. Но он не выдвигал своих дарований напоказ и обнаруживал их только тогда, когда видел серьезный запрос и душевную нужду. Поэтому он, который имел все данные, чтобы быть блестящим и с внешней стороны, был в глазах многих ничем не выдающимся заурядным человеком: мимо него легко было пройти, не заметив, с носителем какого духа имеешь дело. Этому причиной была безграничная скромность о. Сергия во всех его проявлениях, — скромность, покрывавшая все его дарования, — скромность, в которой было нечто уже от юродства о Христе.

Эта скромность, впрочем, не была навлечена на себя о. Сергием совне. Она теснейше сплелась с самим существом его духовного естества. Она окрасила даже глубинное ядро его духовной жизни — его любовь к Богу. Про о. Сергия как-то несоответственно было бы сказать, что он пламенел любовью к Богу. Пламенность не отвечала его природе. Если дозволительно обратиться к уподоблению, когда ум недостаточно пронизателен, а слово слишком немощно, чтобы непосредственно назвать самую подлинность вещи, я скажу, что духовная природа о. Сергия сродни не огненному, а водному естеству; тому естеству, которое образует вещественную основу таинства, сообщающего нам благодатное возрождение к новой жизни банею пакибытия, — тому естеству, которое по тайнозрению св. Василия Великого (в “Шестодневе”) есть, по преимуществу, стихия — носительница Жизни, “живая вода” народного эпоса.

Из обоих святых, которые были всего ближе о. Сергию, преподобных Серафима и Сергия, он по своей духовной природе был сроднее тому преподобному, имя которого благоговейно носил. Если пламенность духа прп. Серафима воспевается в тропаре: “От юности Христа возлюбил еси, блаженне, и Тому Единому работати пламенне вожделев...”, то кондак прп. Сергию говорит об этом святом: “Христовою любовию уязвився, преподобне, и Тому невозвратным желанием последовав...” Вот такое небурное, но неуклонное и невозвратное, как невозвратно течение водного потока, стремление вослед Христу прошло через всю жизнь о. Сергия. Источники этой богоносной реки христианского желания — *имже образом желает елень на источники водныя* (Пс. 41) — зачинаются в самые еще юные лета усопшего, и она не иссякла до последнего вздоха, с которым он отошел к Богу. О. Сергий мог бы сказать про себя словами св. Игнатия Богоносца: “Есть во мне вода, текущая и вопиющая во мне идти ко Отцу...”

Со 2-го марта 1929 года Мария Федоровна — одна. Ей тридцать пять лет. Нет того, с кем она жила одной душой, одной мыслью. Она проводит первое время в Верее, никогда не уезжая из дома, где все остается так, как было при о. Сергии. С ней первое время жила, помогая ей, монахиня только что закрытого Дубровского монастыря, м. Мария Соколова. К ней приезжают близкие ей люди, все они тянутся к могиле о. Сергия — он так всем был нужен. Ее издали старается поддержать владыка Серафим Звездинский. Это он пишет ей тогда: “Мир от могилки о. Сергия чувствую на расстоянии”. Это письмо вместе со многими другими, полученными в то время от близких и друзей, М.Ф. бережно хранила до конца своей жизни. На лето в Верее приезжает семья о. Сергия Мечева в свой домик. Он и поныне стоит вблизи церкви Ильи Пророка. В нем в 1923 году скончался о. Алексей.

Позже, через ряд лет и пережитых испытаний, М.Ф. как-то в письме говорит: “Конечно, нелегко и непросто найти себя в новом положении”. 1930 год она провела еще в том же просторном доме, который они сперва снимали, а потом жила в Верее, меняя комнаты, тесные и убогие. Тишина маленького города, оторванного от Москвы сложностью сообщения, помогала, но жить ей там было нечем. Приезжая в Москву, она ищет работу, по большей части это чертежи или технические рисунки для издательств. Ей было трудно приспособиться к требованиям таких заказов, да и выполнять их наездами, живя у друзей. Эти приезды давали ей возможность бывать в тех храмах, которые они посещали вместе с о. Сергием.

Из старшего поколения семьи Самариных в Москве оставались тогда две тети, жившие в нижнем этаже бывшего своего дома на Поварской. В их единственной комнате, заставленной старыми вещами, жила с ними прежняя гувернантка Марии Федоровны, m-lle Lefèvre — полный инвалид, еле передвигавшаяся на костылях (она умерла в 1932 г.). Ее и старшую свою сестру, Софию Дмитриевну, обслуживала тетя Анна Дмитриевна — человек удивительный, единственный в своем роде, посвятившая себя всецело другим. Она целыми днями бегала по урокам, доставала какие-то деньги, продавая старые вещи для помощи всем близким. А дома — подолгу стояла, наклонившись над шипящим примусом, кормя и опекая всех, к ней приходящих. Все это она делала с поразительной скромностью, спокойно и без лишних слов.

Эти годы (начало 30-х гг.) — время особенной дружбы М.Ф. с Н.Г. и Г.И. Чулковыми. По приведенным выше воспоминаниям Надежды Григорьевны видно, какое значение имел для нее о. Сергей. Н.Г. была человеком деятельно добрым, глубоким, отзывчивым. Жили Чулковы тогда почти рядом с Зубовской площадью, в маленьком одноэтажном домике, выходившем тремя окнами на Смоленский бульвар. Занимали они две невысокие комнаты, заставленные книжными полками, скромно, но красиво убранные. Н.Г. любила и умела принимать гостей. Ее муж, Георгий Иванович, писавший в те годы книги о Достоевском и Тютчеве, был очень живым, восприимчивым человеком. Встреча с Мансуровыми стала для них, людей совсем другого мира, своего рода откровением. Глубоко почитая о. Сергия, они с

особенным чувством принимали М.Ф., и ей было всегда хорошо в их доме.

Обстановка тех лет была трудной, в особенности для нее, не умевшей приспособиться к быту того времени и так во многом незащищенной, но Бог посылал ей помощь через людей — их всех назвать здесь нет возможности, но она их никогда не забывала.

Это время памятно новыми волнами арестов, очередями в тюрьмах людей, пытавшихся узнать в окошечках о судьбе своих близких, что-то им передать... Судьба многих не миновала и М.Ф. В 1933 году осенью, в один из ее приездов в Москву, ее арестовали у Анны Васильевны Романовой, и после недолгого пребывания в тюрьме она получила три года ссылки в Среднюю Азию⁸⁷.

Никто не переживал так Манин отъезд, как тетя Аня (А.Д. Самарина). Маня, такая беспомощная, слабая, как она поедет, куда? Тетя Аня нашла ей спутницу — добрейшую женщину, почти монахиню, Елизавету Ивановну Булавкину, согласившуюся проводить ее до места. На Казанском вокзале мы с тетей Аней провожали Маню с Е.И. и со многими вещами. Назначена она была в Узбекистан (г. Бухара), а оттуда в Бек-Буди (Карши). Несмотря на все трудности, М.Ф. ярко воспринимала новые впечатления. Они начались еще из окна вагона: силуэты верблюдов, проходящих в пустыне, яркие восточные типы, женщины в покрывалах — вызывали у нее в мыслях картины Библейского Востока...

Бек-Буди, крошечный городок, окруженный пустыней. Глинобитные кибитки, закрытые дворики... И большое количество нахлынувших туда людей, сосланных, вынужденных искать себе пристанище и работу. Среди них оказались духовные люди. Был священник, единомысленный, и монах-диакон из Ярославля, о. Филарет, в прошлом келейник митрополита Агафангела^{*88}. Мария Федоровна стала гораздо больше принимать

* М.Ф. передавала его рассказ о тяжелых страданиях митрополита Агафангела, когда его вызывали в Москву к начальнику церковного отдела ГПУ Тучкову. Однажды келейник предложил ему посоветоваться о создавшемся положении с блаженной Х., что и было сделано через о. Филарета. Ответ был: “не ехать”. Вскоре митрополит Агафангел умер.

участия в судьбе всех окружающих. Вот как пишет о ней в своих воспоминаниях одна из многих высланных в Бек-Буди, София Сергеевна С., дочь священника из Самарской губ. Их было две сестры⁸⁹, приехавших немного позднее М.Ф. Описывается день их приезда, когда они искали пристанища:

“...Из калитки выходила высокая, стройная дама лет сорока, с изящно вылепленным, чуть коротковатым носиком на приятном, чисто русском лице. К ней шло это слово “дама”, несмотря на ее простой, даже бедный костюм. При первых же словах новопривывших на ее лице появилось холодное, величавое выражение... “Никто отсюда не уехал, свободных помещений нет”. Но вот магическое слово* произнесено, задано еще несколько вопросов для уточнения личности сестер, и суровое лицо теплеет, на нем появляется милая улыбка. “Пойдемте пока ко мне, отдохнете, закусите, а потом что-нибудь придумаем”, — говорит она... Мария Федоровна, прекрасно воспитанная москвичка, встретила гостей почти так же, как встречали в Евангельские времена в Палестине. Прежде всего, она согрела на “мангале”** воды, чтобы девушки могли помыть не только лицо и руки, но и ноги”. Покормив гостей и уложив их отдохнуть, М.Ф. куда-то ушла. Потом приходили к ней разные люди, знакомились, расспрашивали... и помогли сестрам устроиться.

Условия работы в учреждениях (их не насчитывалось и десятка) благодаря жаркому климату были особенные. Рабочий день начинался очень рано, потом, в самое жаркое время, был длительный перерыв, во время которого все расходились по домам... А как только жара спадала, работа продолжалась до вечера. В это самое время, единственный раз в жизни, М.Ф. поступила в учреждение (кажется, в водное хозяйство), где делала чертежи. Но, кажется, это продлилось недолго. Зарабатывала она также вышивками, когда на них были заказы.

Жизнь в этом восточном городке была в те времена очень беспокойной, по ночам было опасно выходить на улицу. Бас-

* Девушки объяснили, что они — высланные.

** Мангал — четырехугольное углубление в земляном полу кибитки, куда насыпают горячие угли и закрывают решеткой.

мачество в ту пору не было изжито, и говорили о том, что басмачи, которые в это время выродились в шайки простых грабителей, не любят русских. Иногда ночью слышались звуки выстрелов, крики. На окраинах выли шакалы. У высланных, непривычных к местным условиям, было чувство полной незащищенности. Спасало их то, что они держались одной большой семьей и во всем друг другу помогали.

У меня сохранились письма от Мани из Бек-Буди. В это время решался вопрос моего замужества. Эти письма ко мне удивительно содержательные, с очень ясной мыслью, и в то же время полные любви ко мне и крайней деликатности, боязни чем-либо меня задеть. Так прошло три года. Кажется, весной 1937 года она вернулась в Москву. Встречали ее тетя Аня, В.А. Комаровский и я с маленьким сыном на руках. Но поезд опаздывал на много часов, и мне невозможно было ждать.

Вернувшись в Москву, она водворилась опять в Верее, где за ней сохраняли ее комнату. Ю.А.Олсуфьев все три года вносил за нее плату.

1937 год унес многих. В это время, кажется, был изъят владыка Серафим (Звездинский), живший недалеко от Москвы. Ушли почти все близкие и друзья: о. Сергей Мечев, о. Михаил Шик, которые больше не вернулись (о. Александр Гомановский потом вернулся, чтобы скитаться до 1941 года), Ю.А. Олсуфьев, В.А. Комаровский, муж сестры Варвары Федоровны, очень близкий М.Ф. (он был к тому же двоюродным братом о. Сергия). Семья Комаровских переселилась в Верею. Варвара Федоровна была тяжело больна, постепенно лишаясь движения, а двое из четверых детей были еще небольшими. Перед самой войной они перебрались в Дмитров, где Варвара Федоровна и скончалась 11 января 1942 г.

Если углубляться в рассказы о времени войны, то это займет много страниц. М.Ф. часто вспоминала этот период. Она жила в Верее за городом, недалеко от кладбища, в дачном местечке Раточка, где она еще до войны взялась сторожить дачу. Дом был очень новый, чистый, у М.Ф. был там свой уголок с иконами и несколькими старыми вещами. Значение чистоты и порядка было у нее не только внешним, оно имело для нее внутреннее значение. На по-

вом месте ей было хорошо. Но началась война, хозяева уехали, бросив на попечение М.Ф. дачу и козу. В это тревожное время в Верее оказались близкие М.Ф. по духу люди, среди которых выделялся о. Серафим, иеромонах и духовник Данилова монастыря⁹⁰. Война двигалась все ближе, и вскоре Верея была занята немцами без боя. Началась очень беспокойная жизнь. М.Ф., легко говорившая по-немецки, могла объясниться с немцами, особенно с бывшим с ними пастором. Ей предлагали уйти на Запад, от чего она категорически отказалась.

Наконец, был страшный, решающий день, когда всем русским жителям предложили покинуть свои дома: немцы собирались сжечь город, но успели сделать это только частично и быстро отступили. Эти страшные сутки М.Ф. провела на кладбище, около могилы о. Сергия. Дача, в которой она жила, уцелела, но все вещи в ней, в том числе и личные вещи М.Ф., были приведены в безобразнейший вид, кроме икон. Письма, фотографии, книги были разбросаны по всему большому участку, и ей пришлось долго лазить по сугробам, собирая то, что осталось. Она вернулась под свой кров, но жизнь становилась все труднее.

Вот как она сама описывает это время в письме к брату о. Сергия — Борису Павловичу Мансурову, отправленном по полевой почте сразу после освобождения Верее, в начале февраля 1942 г.:

“Вы, вероятно, знаете из газет, что наш край и городок были в руках немцев в течение трех месяцев. Пришлось пережить два раза в начале и в конце большие опасности от снарядов, бомб и т. д. Уехать от всего этого я, конечно, не могла без денег. Городок наш при отступлении немцев был ими подожжен и сгорел приблизительно наполовину, может быть, сгорел бы и весь, если бы не пришли русские в самую ночь пожара. Дача, которую я сторожу, уцелела благодаря своей отдаленности от города; но, к сожалению, за три дня до своего отступления немцы выселили меня из нее и занимали ее в течение этих трех последних дней. Когда же, после их ухода, я вернулась домой, то нашла все вещи мои, Варины и хозяев в полном хаосе, все было раскидано, лучшее взято, мебель изрублена на дрова. Многие все же уцелело из того, что им не нужно и что мне дорого. Теперь пришлось пустить в

дом семью погорельцев. Кругом сожжены почти все деревни. Самое трудное сейчас с едой. При немцах мы хлеба не видели совсем, в начале у меня кое-что оставалось, теперь ровно ничего, ни картошки, ни ржи... пожалуй, не скоро жизнь наладится. После грабежа немцев и выменять из тряпок нечего...”

Далее она пишет:

“Вообще все эти годы я не просила сама помощи, а только принимала с благодарностью, когда она являлась, но сейчас положение исключительное, сейчас мы остались здесь в положении утопающих и поэтому решаю об этом сообщить близким... Коза моя, слава Богу, уцелела, но молоко должно быть через 2 месяца, а сейчас одна капля...”

Вскоре после того, как она написала это, приехали хозяйева дачи и увезли с собой и козу. Началось тяжкое время, которое и вспоминать потом было нелегко. Мучительный голод, борьба с холодом, необходимость добывать дрова в лесу и таскать их на себе по глубокому снегу. Это было совершенно ей не по силам, но она делала это и, вероятно, в это время окончательно подорвала свой позвоночник. Вестей от близких еще долго не было. Она получила их только весной, когда к ней из Москвы приходил мой брат, почти от Москвы пешком. Она вспоминала, как обрадовалась ему, как они вместе пели службу, а из Вереи ходили пешком в Малоярославец. Тогда М.Ф. узнала о тех, к кому она обращалась в письме. Сестры ее, В.Ф. Комаровской, уже не было в живых и С.В. Олсуфьева доживала последние дни в лагере.

Всего, пережитого М.Ф. за годы войны, рассказать не могу, т. к. мы были разъединены расстоянием и поглощены трудностями того времени. Были у нее и тогда близкие ей люди, общение с которыми облегчало ей жизнь: монахиня Маша, старушки Смирновы⁹¹, дочери протоиерея, служившего когда-то в верейском соборе и другие.

После окончания войны мы все с разных сторон потянулись к Москве, и как чудо были эти встречи с близкими. Не верилось в эту возможность. Сколько было пережито, скольких потеряли и сколько встреч было дано, казалось, совершенно невероятных! Мы встретились с Маней в первый раз в Москве, в доме Васнецовых, — дом, где всем оказывали приют, там мы

были все на перепутье. Маня приехала из Вереи. Тетя Аня (А.Д. Самарина) была парализована в 1944 году, жила она в это время под Москвой у близких друзей, ее надо было взять оттуда. Надо было решить этот вопрос: кто возьмет тетю Аню? Я пошла на работу в музей Поленово, и тетю Аню мы устроили вблизи от меня, в Тарусе. Ей, бедной, было неплохо. Материально мы помогали, главным образом мой брат, а я опекала ее и заботилась о ее быте.

Для всех нас эта встреча с Маней была значительна: стало ясно, как много она пережила в одиночестве в эти годы. Сломилось ее здоровье, пострадала от работы спина. Врачи, которым ей удалось показаться в Туле, у Наталии Александровны Верховцевой, нашли у нее активный туберкулезный процесс позвоночника и убеждали носить корсет. Но Маня от него решительно отказалась и постепенно стала сгибаться. И даже дома ходила только с палочкой.

В Верее она давно уже рассталась с хозяевами дома, в котором ее застала война, но продолжала жить в поселке Раточка, сторожа другие дачи. У нее появились там новые знакомые — семья лесничего Николая Ивановича, поселившегося в этих местах уже после войны. С ним и с молодой женой его, Зиной, М.Ф. вскоре очень подружилась и стала у них в доме своим человеком, крестила их девочку Лену. Ей снова стали немного помогать друзья из Москвы.

В эти послевоенные годы М.Ф. предприняла поездку в пределы Ярославские, где в глухой деревне жила блаженная Ксения⁹², пользовавшаяся большим авторитетом среди верующих людей, даже архиереев, еще в 20-е годы. Попасть к ней было крайне трудно, но все же М.Ф. это сделала, осилила. Она всегда верила, придавала большое значение блаженным. По ее рассказу ей долго пришлось прождать, спрятавшись, так как за домом, где жила блаженная, следили. Когда ее, наконец, провели к ней, она увидела сидящую на лавке слепую женщину в платочке. М.Ф. задала ей какой-то вопрос, на что та ей сказала, довольно строго: “Ты думаешь только чаек пить. Посидеть еще на елке тебе надо и полы помыть”.

Осенью 1947 г. М.Ф. решила поехать к своей племяннице Тоне Комаровской, находившейся в ссылке, в г. Уржуме Киров-

ской области. Она считала, что этот период и был “посидишь на елке”, так как дом, где она жила там, находился на улице Елкина. (Она сама так говорила).

Путешествие туда было сложным: проезд железной дорогой был только до Кирова, а остальные 200 км пришлось добираться на попутной машине. В Уржуме М.Ф. провела зиму 1947–1948 гг. С салазками уходила она в лес добывать дрова — рубила небольшие елочки и, распилив их на несколько частей, покрывала мешком и везла домой. В холод и мороз согревалась на русской печке. Жила она на кухне, где почти ежедневно мыла сама пол. Физический труд она за эти годы полюбила и радовалась, когда у нее что-то хорошо получалось. С ней были все нужные ей богослужебные книги и икона преп. Серафима, с которой она никогда не расставалась. По вечерам, надев очки, подолгу сидела, читая, при свете тусклой электрической лампочки.

Хозяйка дома, вдова лет сорока, работала воспитательницей в детском саду. Она очень хорошо относилась к М.Ф., подолгу с ней разговаривала, делилась своими трудностями. Сама она была дочерью священника. Тоня работала в больнице*. Городок был глухой, 200 км от железной дороги. М.Ф. он не нравился. “Это уже не Россия, а Азия”, — говорила она. Во всем она чувствовала там суровость — и в климате, и в людях. Но и здесь нашлись неожиданно друзья — две пожилые монахини, давно высланные из Казани и жившие в Уржуме в своем домике. М.Ф. к ним пошла и скоро с ними сблизилась. В ее интересе к людям всегда проявлялась какая-то молодость души. Вместе с тем она всегда думала о конце жизни. Встреча Пасхи вместе с ней была особенно светлой. С наступлением весны, всегда в этих местах быстрой, М.Ф. стала говорить об отъезде. И тут на первом месте была мысль о том, что она боялась умереть в чужом месте.

И как только открылась навигация на р. Вятке, она вернулась в Москву и в Верею, в тот же дачный поселок, вблизи от могилы о. Сергия. 1948–1949 гг. она прожила там, на даче Ведерниковых, сторожа ее. Приезжая в Москву, брала работы по черчению и рисованию. Круг самых близких друзей за эти

* Приезд М.Ф., ее присутствие было для Тони чудом...

годы опять расширился. И именно друзей, в то время как родных оставалось все меньше.

От работ М.Ф. того времени осталось несколько очень тонких акварелей: тогда она думала заработать, рисуя городские пейзажи в духе старинных гравюр. Один такой рисунок у нее приобрел А.А. Сидоров⁹³ для своей коллекции. Заработок был ничтожный по сравнению с затраченным трудом, но она делала это с увлечением. К сожалению, постоянно заниматься такого рода работами она не могла, у нее наступал довольно быстро спад, разочарование и большая усталость.

Приблизительно около 1950 г. обстоятельства заставили ее устроиться жить ближе к Москве, на даче доктора В.В. Величко на станции Турист Савеловской ж.д. Величко и его сестры были прекрасные люди, очень верующие. Казалось, что Мане должно было там быть хорошо. Но хозяева не могли до конца понять ее, а жизнь в этом месте обязывала ее не только охранять дом и поддерживать в нем порядок, но еще нести трудный уход за полусумасшедшей родственницей хозяев. Эта больная, в полном склерозе, поносила ее самыми невероятными словами и совсем не ценила ее ухода. М.Ф. с юмором изображала свою мучительницу. Это была школа терпения.

Но вот однажды М.Ф. вызвали в отделение милиции, взяли у нее паспорт и потребовали, чтобы она в самый короткий срок выехала за пределы Московской области.

Куда ехать? Как можно ближе к Верее, где могила о. Сергия — Боровск, Калужской области. Никого там нет. Какие-то рекомендации получены, но все это нереально. Началось бездомное скитание по этому городку. Нашлись там знакомые монахини⁹⁴ из Аносина и из Зосимовой пустыни, только сами они были в крайней нужде и помочь не могли.

Вот, наконец, на Высоком*, вблизи старой деревянной действующей церкви над обрывом у Протвы, где был древний монастырь, по преданию еще с XII в., и преподобный Пафнутий⁹⁵ там ходил и уже оттуда ушел в свое уединение, переросшее потом в известную его обитель, — нашлась старушка

* Село, слившееся с г. Боровском.

хозяйка, пустившая М.Ф. в свою избу. Опять новое, нелегкое испытание: хозяйка строгая, с суровым характером и требованиями, исполнять которые было почти невозможно. Есть такое определение “ходить по одной половине”, т. е. нельзя было варить почти ничего, никаких вещей своих не располагать и т. д.

Часто М.Ф. уходила с утра в храм, потом к старой церкви на кладбище, на берег Протвы. Все это было возможно летом, а в непогоду, в холод?

Тут через сколько-то времени случилась встреча с Дунечкой⁹⁶. Это был человек не от мира сего. Старообрядка, которых в Боровске было еще много, коренная жительница Высокого, вдова бездетная. Дуне принадлежала половина дома прямо против церкви. Она жила одна, с козами и гусями, выпускала гулять свою живность. Был у нее огород и даже сад, но все это не притягивало ее. Она была бессребреница. Ходила по домам: и родным, и друзьям помогать в работе, и не за плату, а так, “Христа ради”. Дом был ветхий, все в нем было неприбранным, так же и вокруг. В праздники Дуня чисто одевалась, приобретала очень благообразный вид, просто красивый, и ходила в старообрядческую молельню. Лицо у нее было чудесное, с правильными чертами. Возраст ее трудно было определить.

Встречались Маня и Дуня на берегу Протвы. Дуня со своими козами, Маня, стараясь меньше быть на глазах у хозяйки. Дуня поняла положение Мани, пожалела ее и звала приходиться к себе “на печку”. С этого началось их общение. В Дуниной неприбранной избе Маня почувствовала себя не лишней, не угнетенной, и скоро перешла туда жить. Между Маней и Дуней возникли удивительные отношения, они поняли и полюбили друг друга. Ни клопы, ни грязь, ни все бытовые трудности не мешали М.Ф. в этом доме. Скоро отношения стали такими, что нельзя было понять, кто из них хозяйка дома. Дуня как-то невольно подчинилась Мане и жила под ее началом. Она очень любила всех, приезжавших к Мане, и встречала всех необыкновенно приветливо.

Всю переднюю часть избы она уступила Мане, а сама жила в кухоньке, у входной двери, чем возмущались некоторые из Дуниной родни, считая, что Дуню выгнали, притесняют. Она же

отказывалась устроиться по-другому. Спереди в одном углу, справа, были Манины иконы, а в левом — старообрядческие иконы Дуни. Перед теми и другими — горящие лампадки. Под окнами — ветхий, дубовый обеденный стол, покрытый старой клеенкой. Над столом — потускневшее зеркало в резной деревянной рамке. В правой стороне, у стены — кровать М.Ф., на которой болел и скончался о. Сергей. Она упиралась в лежанку, примыкавшую к русской печке, но с отдельной топкой. На маленьких окошках — темно-синие занавески, которые только приоткрывались, так что в комнате, особенно в последние годы жизни М.Ф., всегда был полумрак, для ее глаз так было лучше. Были в комнате и цветы, довольно невзрачные, неухоженные. И полевые букеты, часто завядшие. Цветы, особенно полевые, Маня очень любила, и долго они всегда стояли, и выкидывать их, как мусор, она не позволяла. Летом окна были постоянно открыты, а зимой — форточка, на что Дуня ворчала и не понимала, как можно, натопив дом, выпускать из него тепло. М.Ф. удалось победить клопов и внести свой порядок.

Денег М.Ф. не платила за квартиру, но покупала дрова, платила какие-то налоги, за свет. А потом силами близких Мане людей был сделан ремонт, очень солидный, и Дуня умилялась и радовалась: “Какая чудо-то у нас”, — говорила она.

Дуня была человеком какого-то иного времени и мира, человеком большой цельности и чистоты, но отнюдь не было в ней закоренелости староверов. Она радовалась, что в доме у нее молятся. Каждого из посещавших их дом она воспринимала с необычайной приветливостью и с большой наблюдательностью и давала меткие, а иногда забавные характеристики. Про приезды постоянно заботившегося о М.Ф. Игоря Николаевича Бирукова⁹⁷, которого она очень любила, она говорила: “Он все сыплет, сыплет, а Манечке и слова сказать не приходится”. О разговорах с Лидией Евлампиевной Случевской⁹⁸: “Говорили, говорили, всю вселенную подняли”, о моих разговорах: “Воркуют, как голубки...” Как-то Маня, постоянно думавшая о смерти, спросила Дуню: “Как ты думаешь, Дунечка, что Нюша (соседка, очень бедная, одинокая) — боится смерти?” На что Дуня удивленно сказала: “Чего же ей бояться, у нее столько миткалю запасено!”

Но бывали у Мани и Дуни трудные минуты, когда не все было ясное небо, а хмурилось, затягивалось тучами. Больше всего причиной тут было физическое утомление: у Мани часто от непосильного общения с людьми, приезжавшими к ней, у Дуни, например, от предпраздничной уборки дома. Тогда Мане становилось не по себе, ей начинало казаться, что Дуня ею тяготится, ею и всеми приезжающими. И это ее очень мучило. Но все это разряжалось, и они не ложились спать, не попросив друг у друга прощения.

В мой приезд летом 1971 г., провожая меня до автобуса, Дуня плакала, говоря, что “Манечка” скоро умрет и как она без нее будет жить. Это был последний год жизни самой Дуни...

С первых лет жизни в Боровске в жизни М.Ф. большую роль стали играть новые и очень близкие друзья. Сближение с Евгенией Николаевной Бируковой⁹⁹ относится к тому времени, когда между ними возникла переписка. Евгения Николаевна была тогда в лагере, письма передавались через ее брата — Игоря Николаевича, ставшего близким другом М.Ф. Приезжая в Москву, она останавливалась у Любови Ивановны Рыбаковой¹⁰⁰, сестры Георгия Ивановича. Любовь Ивановна была очень экспансивным, горячим человеком и относилась к М.Ф. с каким-то увлечением, писала ей чудесные письма.

Одно лето, уже по возвращении из лагеря, Евгения Николаевна провела в Боровске вместе с Анной Васильевной Романовой. К ним туда приезжала Лидия Евлампиевна Случевская. Все эти люди, сами очень содержательные, тянулись к Марии Федоровне. Появился еще новый друг, второй Игорь — Игорь Борисович Померанцев¹⁰¹, который с чисто женским вниманием заботился о М.Ф. Каждый из этих людей по-своему очень дорожил духовной близостью с М.Ф. и находил у нее утешение и поддержку. Я еще имела радость слышать от нее: “У нас с тобой не только кровное родство, но и духовное, — при этом она продолжала, — не так часто кровное родство соединяется с родством духовным”.

У Л.И. Рыбаковой был родственник по мужу — молодой художник Юра Дунаев¹⁰², впоследствии искусствовед. Человек необычный — с одной стороны, очень одаренный, с другой — больной.

Он вырос в семье, далекой от веры; с родителями, очень его любившими, у него не было настоящей близости. М.Ф. познакомилась с ним тогда, когда он был в жизни неустроенным — и внутренне, и внешне. У него было состояние, которое она называла “отказом от жизни”. М.Ф. почувствовала к нему большую жалость, может быть, чем-то он напоминал ей брата ее, Дмитрия. Она пригласила его приехать к ней, познакомила его с Дуней, ввела его в свою жизнь, от которой он был совсем далек. Много с ним говорила, молилась вместе с ним, приобщила его к богословию. И вскоре поняла, что он очень одарен и восприимчив в этой области. Постепенно она к нему привязалась, и он вошел в ее жизнь.

В эти годы в ней чувствовалась большая жалость к людям. Ведь в русском языке это синонимы — любовь и жалость. Она говорила: “Душа человеческая — это большая тайна”, — и относилась к ней очень бережно. Не будучи в прошлом мягкой по натуре, а сложной и строгой, она к концу жизни преодолела в себе эти преграды, отделявшие ее от людей. Я уже говорила в начале о трудных свойствах Самаринской семьи — и вот, в старости, она их явно преодолела, как бы запечатлела в себе внутренний образ о. Сергия. Это было очень заметно в Боровске, где она была окружена простыми людьми. И далеко не безразлична была ко всем, старалась помочь, просто поговорить, поделиться чем-нибудь с больным, убогим Васей и его матерью, с очень одинокой соседкой Ньюшей и многими, многими другими. Больше всего меня поразило ее отношение к двум пьяным из Дуниных родных. Однажды я, войдя в комнату, застала одного из них лежащим на кровати М.Ф., а другого — беседующим с нею. Никакого возмущения по поводу их вторжения у М.Ф. не было. Мирно и с жалостью она обошлась с теми, кого мне хотелось выпроводить, а ведь в молодые годы она была совсем другой!

Животные вокруг нее — собаки, кошки, всех она жалела. Одна бездомная собака ютилась у них в доме под крыльцом и принесла щенят. Маня ценила соседку Шуру¹⁰³ и других женщин, жалевших собаку и кормивших ее. Она просила меня научить ее, как это надо делать, и с трудом исполняла иногда эту обязанность. Когда же потом одна соседка убила эту несчастную собаку, когда та истоптала ее огород, Маня страшно негодовала

и перестала брать у этой женщины молоко, хотя это было и удобно, только спустя некоторое время она ее простила.

День свой она начинала очень рано с краткой молитвы. После нее выпивала чашку очень крепкого чая и начинала читать утреннее правило, произнося молитвы очень медленно и проникновенно. Евангелие она читала по главам. После этого садилась в кресло или на лежанку и затихала с четками в руках, а в более поздние годы ложилась отдохнуть. Сама по болезни своей оторванная от храма и не имея возможности там бывать, она никогда не порывала тесной связи с кругом церковного богослужения. У нее были все нужные богослужебные книги, лежавшие открытыми у нее на столе. Своими образами и постоянно, днем и ночью, горящими перед ними лампадами она дорожила, как подобием храма. Иногда, читая службу, она какую-то часть ее начинала петь слабым голосом, но очень верно, с большим знанием напева. Особенно благоговейно встречала она праздники и сама в эти дни вся светлела. Говорила, как для нее важно и дорого, когда в праздник к ней приходил кто-то прямо из храма, от богослужения.

В последние годы жизни у нее был особенный интерес к переходу людей в иную жизнь, к кончине человека. У меня был целый ряд близких людей, скончавшихся в эти годы (от 50-х до 70-х гг.). Если Мани не было около, я писала подробно о кончине и похоронах, а если приезжала, то еще и еще рассказывала. Она задавала вопросы и очень ценила внимательное отношение к моменту перехода в иной мир души человека, особенно, глубоко верующего и жившего по вере. Как она слушала, с каким вниманием! Она молилась за новопреставленного, почему-то называя его так не до 40-го дня, а до года. В этом была какая-то особая теплота к усопшему. Есть у меня ее письма, отклики на кончины.

В первые годы жизни в Боровске у М.Ф. еще были силы и большое желание совершать поездки, и она ездила в Глинскую пустынь и в Печоры. Ездила, когда могла, в Лавру. Познакомилась с о. Тихоном Пелихом¹⁰⁴, и эти встречи очень ее поддерживали и много давали. Позднее, когда ей все стало трудно, она не пускалась в эти поездки одна, а с кем-нибудь, и жила не-

сколько дней под кровом Лаврской гостиницы, куда ей помогал устроиться бывший ученик о. Сергия, владыка Сергей Голубцов. Встречи с ним всегда ее очень радовали.

В середине 1960-х гг. М.Ф. получила большое утешение в лице только что назначенного в с. Рощу молодого священника, о. Трофима¹⁰⁵. Присутствие его в Боровске было для нее большой поддержкой и радостью. Через него привязалась она и к его семье и получала большое тепло от общения с ней, очень любила его детей. Роща, село с красивой церковью, его видно от Дуниного дома. Дорога к нему идет большим лугом до речки, которую летом переходят вброд. В этом селе у М.Ф. были еще друзья, монахини Ариша и Маша — обе прислуживали в храме. Прежняя хозяйка завещала им свой дом, старинную бревенчатую избу с огородом, совсем рядом с монастырем. Когда у М.Ф. были силы, она навещала их, а потом посылала им с оказией записки и гостиницы.

Когда у нее были еще силы, она занималась рисованием. Она была одарена в этой области, и ее занимала давно мысль написать образ преподобного Серафима. К сожалению, она мало знала технику иконописи, и ее работы настолько потемнели, что в них с трудом можно что-то увидеть. О том, как она была этим захвачена и воодушевлена, говорят ее письма того времени. Она собирала все прижизненные изображения преп. Серафима, сделала много набросков. Была у нее еще одна заказная работа по иконописи — реставрация иконы “Всех скорбящих Радосте” для рошинской церкви.

К этим же годам (началу 60-х гг.) относится рецензия М.Ф. на работу о. Николая Голубцова¹⁰⁶, посвященную разбору содержания и идеи иконы “Св. Троица” Андрея Рублева и “Запись мыслей по вопросу о церковном искусстве наших дней”. Еще ранее ею были написаны “Воспоминания” о родителях, бабушке и няне (1957 г.).

Последняя ее работа, над которой она много трудилась — “Краткая биография о. Сергия” для помещения ее в “Богословских трудах” с издаваемой его работой “Очерки по истории Церкви”, так и осталась неоконченной. Ей очень хотелось, но не удалось добиться желаемого. При ее строгости к содержанию и к стилю она по многу раз перерабатывала каждую фра-

зу, заменяя отдельные слова, перестраивая всю фразу. Поздней осенью, вероятно 1974 года, я была у нее и была свидетельницей этого невероятного труда. М.Ф. легла с вечера и просила меня не обращать внимания на ее поведение (я спала на Дунечкиной кровати в кухне). С вечера был плохой накал электричества, и поэтому с ее зрением работать было невозможно. М.Ф. встала, вероятно, после двенадцати, устроила возможно яркое освещение двумя лампами, стала работать. Думаю, что, изнемогая от усталости, она к утру легла отдыхать. Встав совсем, она делилась написанным небольшим абзацем: было несколько вариантов с небольшими отклонениями, и все она считала неудовлетворительными. Как я говорила, очень ценна написанная ею “Канва жизни о. Сергия”. В ней даны вехи, и они все безусловно верны. Ошибки или, тем более, фальши она не могла допустить. Память ее была удивительная. Очень она любила вспоминать давнее прошлое, любила делать это со мной, привлекая меня, напоминая мне, и часто вспоминая кого-нибудь из родных и близких.

Как-то один раз, рассказывая о днях молодости, она упомянула о поэзии, о стихах французского поэта Verlain'a и, сказав: “Это стихотворение мы с Сережей очень любили”, продекларировала мне его на прекрасном французском языке. Любила иногда вспоминать классическую музыку и даже как-то, приехав из Боровска в конце 50-х гг., с Евгенией Николаевной Бируковой была на концерте в Московской Консерватории и получила удовольствие и от музыки, и оттого, что попала опять в тот зал, где бывала в юности.

Она была внимательна к тому, как люди одеты, обращала на это внимание и критиковала или хвалила то, что ей нравилось. Говорила: “Это тебе идет лучше другого”. Я уже говорила о том, что она любила все старое, поношенное. Когда ей дарили новую материю, она шила себе часто из нее платье наизнанку, избегая резкости узора. Угодить на нее одеждой, материалом, фасоном, было крайне трудно.

Эта взыскательность была от ее природы художника. Однажды кто-то подарил Дуне грубоватое красное покрывало на кровать. Увидев его, М.Ф. потребовала немедленно его убрать,

чем, конечно, Дуню огорчила... И после Дуниной кончины сама об этом жалела и раскаивалась. То же самое происходило и с предлагаемыми ей клеенками для стола. Она их отвергала, говоря, что они не идут к общему характеру ее комнаты. Бедность обстановки ей нравилась, при этом она очень дорожила порядком и чистотой. В последние годы она очень привязалась к Дуниному дому, говорила, что любит его “как живое существо”. Не позволяла подрубать разросшиеся ветки большой липы под окном, косить сорные травы и огромные лопухи на дворике...

К Рождеству М.Ф. обычно уезжала надолго погостить к Евгении Николаевне и оставалась в Москве до начала Великого поста. Зимой 1971 года она уехала туда позднее обычного, уже после Праздника, с беспокойством о Дуне, которая жаловалась на здоровье, боли в желудке. Она считала, что съела что-то холодное на одних поминках. Вскоре после отъезда М.Ф. из Боровска пришли известия об ухудшении состоянии Дуни. М.Ф. очень приняла к сердцу ее болезнь и в один день собралась и уехала домой. Она по-настоящему любила Дунечку и сердцем почувствовала, что дни ее сочтены. Дуня уже не вставала, у нее был рак пищевода. Все мы, по очереди, сменялись около Дуни, старались чем-то облегчить ее страдания. Ей становилось все хуже и хуже. М.Ф. молилась, сидя в полутьме на своей лежанке. Помню хорошо удивительную картину: Дуня сидит в кровати, и Маня у ее ног, тоже сидит, и Дуня слабым, но спокойным мерным голосом говорит: “Манечка, я умру. Ты живи в доме, дом будет твой, живи и молись в своем уголке”. Я слушала и думала: “Как хорошо, но нереально. Что будет дальше — неизвестно!” Маня переживала уход Дуни, как потерю самого близкого, дорогого человека. Это понять могли только мы, близкие Мане люди. Понимая, что происходит, она сказала ей: “Дунечка, радуйся!”, на что Дуня ответила ей: “Я радуюсь...” Приходили Дунины родные, соседки, все они вели себя по-разному, некоторые по-настоящему сочувствовали М.Ф. Скончалась Дуня очень скоро, совсем тихо, не говоря ничего больше. Провожали ее старообрядцы — женщины, исполняя все, что положено. Отпевали на Рогожском кладбище, это сделал Игорь Николаевич.

Похоронили против ее дома, на кладбище у старой деревянной церкви, около родителей. Были поминки, на которые собрались почти все жители Высокого, включая нищих.

М.Ф. говорила, что это самое сильное горе для нее, после кончины о. Сергия. Через некоторое время дом стал Маниным. Так надо было для ее спокойствия, и так сказала Дуня... А Дуня так боялась, еще прошлым летом, что Манечка умрет, и она останется одна.

И вот наступила последняя страница жизни М.Ф. Она одна в Дунином доме. За стенкой, во второй половине дома жила невестка Дуни — одинокая, немолодая, добрая женщина, Шура. Ей можно было постучать в стенку, если было плохо, и она приходила, если была дома, но часто ее и не бывало. Мане было 79 лет. Она была больна сердцем, почти слепа и очень плохо слышала, говорить с ней было крайне трудно. Дом запирался только на ночь. Приехав и добравшись до Высокого, можно было отворить двери на крыльцо и в дом. Маня или спала, или, чаще, сидела в своем складном креслице в ногах кровати и вблизи от лежанки, тепло от которой играло решающую роль в доме. Можно было подойти вплотную или побыть в доме довольно долго, когда она, наконец, замечала приехавшего и всегда проявляла радость и ласку. Лицо ее, очень бледное, с почти невидящими глазами, освещалось чудесной улыбкой. Так было последний год или два...

В такой обстановке, внешне не защищенная, провела М.Ф. зиму 1975–76 гг., не уезжая из Боровска. Она все оттягивала свою обычную поездку — хотя все близкие усиленно уговаривали ее ехать в Москву. Зима была суровой. Топить русскую печку ей было не по силам, и дом обогревался одной лежанкой, на которой она спала и много лежала днем.

Уезжать ей не хотелось. И раньше она говорила, что на Высоком ей легче, несмотря на все трудности тамошней жизни. Ссылалась и на тяжесть возвращения домой ранней весной после Москвы, когда приходилось как бы возобновлять прерванную жизнь. Чувствуя, что силы ее быстро убывают, она боялась всякой перемены. И более, чем когда-либо, ей нужно было уединение. При этом необходима была постоянная помощь, и это было невозможно устроить при всем желании самых предан-

ных ей людей. В это время о М.Ф. очень заботилась ее друг — Лидия Ильинична Полтева¹⁰⁷, жившая постоянно в Боровске. Она приходила на Высокое с другого конца города, преодолевая большой и трудный путь, и помогала во всем. Растапливала лежанку, что-то готовила, кипятила чай. Ухаживала за М.Ф., когда у нее начинались пугавшие и мучившие ее приступы сердечной аритмии. И, когда это было нужно, оставалась ночевать. Дом не выдерживал холодов — вода в комнате замерзала. О. Трофим сам сделал для М.Ф. нечто вроде деревянного помоста для лежания, т. к. лежанка от постоянной топки чрезмерно накалялась. Соседи приносили воду и дрова. Привозили ей из Москвы регулярно всю необходимую еду, часто в приготовленном уже виде. В храм она уже не смогла попасть ни на Рождество, ни на Пасху. Наконец, морозы спали. Но тут уже не было смысла уезжать перед постом, который она всегда проводила дома. Обычно просила даже на первой неделе не навещать ее.

Наступление весны всегда ее радовало. Она следила за ее приметами, ждала прилета грачей. Пасха в том году была 25 апреля. Снег уже сошел, но дни стояли пасмурные. В Великую субботу приехала Тоня, привезла все для встречи Праздника, немного прибралась и вечером ушла в собор, к заутрени. Когда вернулась, то нашла приготовленный для нее праздничный стол и рядом — раскрытую на Пасхальной службе книгу — Цветную Триодь. И М.Ф. крепко спящей.

Этой весной ей, кажется, не удалось съездить в Верею. Когда наступило тепло, она часто дремала на старом матрасе, стоявшем на крыльчке. К этому последнему году относятся фотографии М.Ф., сделанные знакомым молодым человеком. Она никогда не позволяла себя снимать, а тут вдруг охотно согласилась, и вышла очень хорошо, рядом с домиком — среди трав, которые она так любила. На Троицын день она просила принести ей крупных ландышей, когда-то она сама за ними ходила в бор.

Это последнее лето при встречах с близкими она постоянно возвращалась к мысли, как ее похоронить, вникая во все подробности. Видя, что им было трудно это слушать, она замолкала, а потом снова возобновляла этот разговор. Был у нее приготовлен список всех, кому нужно было сообщить об ее кончине, и

записаны распоряжения о книгах и иконах. Очень она, особенно в это время, стремилась быть в мире со всеми и волновалась раз-молвкой с соседкой, которая окончилась примирением. Арит-мия ее очень мучила.

К осени она стала очень плохо себя чувствовать и уже часто не могла утром подняться. В октябре приехали к ней Алеша и Надя¹⁰⁸, стали за ней ухаживать. Она была очень благодарна и говорила, что ей было с ними хорошо. Ночевать они уходили в гостиницу. При-мерно недели за 2 до своей кончины она написала Игорю Николае-вичу и Тоне коротенькие письма, говоря о том, что дни и часы ее со-чтены. Надя уехала домой, а Алеша оставался.

В начале ноября, после долгих уговоров она согласилась ехать в Москву, куда ее настойчиво и давно звала к себе Любовь Андреевна Соловцова. Перед отъездом — приобщилась. Алеша собирал ее и перевез на легковой машине. Поездки эти она все-гда любила, но в этот раз ей особенно трудно было оторваться от своего домика.

В Москве она была принята Любовью Андреевной с исключи-тельным теплом и любовью. Она попала в большую и тихую, отдель-ную квартиру и была окружена заботой и вниманием. Об уходе Лю-бови Андреевны сказала: “Только, может быть, она может меня выхо-дить”. И все же непрерывно вспоминала об оставленном ею домике. Когда я пришла к ней, она сказала мне: “Ну вот, я уехала из своего уголка, как мне не хотелось! А впрочем, — прибавила она, — *Не има-мы бо zde пребывающего града, но грядущаго взыскуем* (Евр. 13, 14)”. Она была очень слаба и тут же задремала.

Еще раньше она в разговорах о смерти часто говорила, что хотела бы умереть во сне. Так и случилось, по-видимому. Рано ут-ром на следующий день Любовь Андреевна, подойдя к М.Ф., на-шла ее только что скончавшейся. Это было 16 ноября, в седьмом часу утра. Первыми приехали жившие близко ее племянницы. Они ее обмыли и одели, все у нее было с собой в особом узелке, приготовленном по ее желанию. Тут постепенно лицо у нее сдела-лось спокойным и молодым, и она вытянулась — сделалась совсем прямой. Мало-помалу вокруг собралось много близких, и в тот же день, к вечеру, были отслужены две панихиды: первую служил о. Валериан¹⁰⁹, а вторую — о. Анатолий¹¹⁰.

Приехал Алеша, очень взволнованный и винивший себя в том, что он увез ее из Боровска. Я долго его убеждала и убедила, что все получилось к лучшему, несомненно. Что она приехала ко всем, в родную для нее Москву, чтобы всем можно было с нею проститься. В этом сказался Промысл Божий о ней. По желанию М.Ф. были извещены все близкие к ней люди.

18-го ноября вечером ее перевезли в храм Ильи Обыденного, где настоятель о. Николай¹¹¹ отслужил по ней панихиду. Отпевание было на следующий день, 19-го. Еще раньше, готовясь к своему концу, М.Ф. просила совершить полное отпевание и обязательно прочесть 17-ую кафизму, что и было сделано. Приехал Владыка Сергей Голубцов, который стоял впереди, у левого клироса. Одновременно с М.Ф. отпевали духовного сына о. Алексея Мечева — Бориса Александровича Васильева¹¹², которого она хорошо и давно знала. Отпевание этих двух умерших было одновременным и звучало созвучно. И люди, собравшиеся вокруг, молились за обоих. Служило пять священников, прекрасно пел хор, сам собой собравшийся из близких людей. Было очень торжественно и светло, о чем многие говорили. Передаю слова одной из присутствующих: “Такое отпевание можно назвать торжеством Православия”.

Среди молящихся было много людей, приехавших из Боровска: родные Дуни, Шура, Лидия Ильинична и другие. Очень многие поехали проводить М.Ф. в Верею вместе с о. Трофимом, который служил перед самым погребением панихиду. День был белоснежный, только что выпал первый снег. И на кладбище было особенно красиво — среди берез и старинных белых крестов, когда все стояли с зажженными свечами. Положили ее рядом с о. Сергием. Все случилось так, как должно было быть. У них — одна большая могила и два близко стоящих креста.

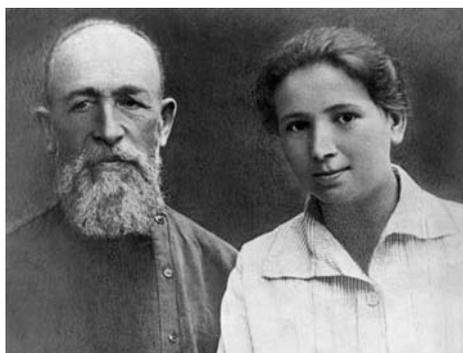
Чтобы полнее передать облик М.Ф., надо бы сказать еще многое. Она принадлежала к числу тех русских людей, которые сквозь все испытания, выпавшие на долю их поколения, пронесли до конца своих дней — веру, чистоту, внутреннюю свободу... Своим тихим присутствием они согревали и очищали нашу жизнь. И они не прошли незамеченными.

В уединении, в скучной, почти нищенской обстановке, в немощи и болезни, М.Ф. обладала такой полнотой духа, которая поражала всех, кто с ней соприкасался. Ясное христианское сознание и высокое духовное просвещение и культура, воспринятые ею от прошлых поколений ее семьи, были претворены в жизнь в новых исторических условиях — в ее совместном пути с о. Сергием, в жизни после его кончины. Обладая большим духовным опытом и глубокими знаниями, она всегда горячо отзывалась на все богословские и церковные вопросы, с которыми к ней обращались, всецело на нее полагаясь. Отвечала на них твердо и ясно, с большой собранностью и сосредоточенностью мысли. Она была истинной свидетельницей прошлого, значение которого воспринимала по-своему, духовно. В ней как бы жила вся пережитая ею значительная эпоха и близкие ей люди. В своих кратких воспоминаниях она запечатлела их образы.

Люди уходили от нее обогащенными и согретыми ее пониманием и сочувствием. При всем этом в ней не было и тени навязчивости. Она многое давала всем своим обликом. Для некоторых из знавших М.Ф., встреча с ней была целой эпохой жизни, открывавшей им иной мир. Привожу выдержку из одного письма, полученного ею уже в конце жизни:

“...Знал я Вас и С.П. с 1918 г., и вот — без всяких книг, знание Вас и его вместе было именно с тех пор для меня тоже эпохой... Я много раз встречал вас обоих, идущих по московским улицам... Я не подходил и не здоровался (наверное, вы бы и не заметили), но я глядел и, несмотря на свою вечную темноту, читал жадно, точно открывающуюся для меня книгу о какой-то недостижимой для меня и в то же время возжеленной жизни — света и правды. Простите, что так откровенно пишу, но я думаю, что, может быть, прожив жизнь без достаточной оценки, иногда и нужно знать, что прожита жизнь даром, и что кому-то и когда-то была подана милостыня. Это было, наверное, начало 20-х годов, и с тех пор, по всем бесконечным дорогам жизни, я где-то внутри нес в себе и это “видение” — двух, идущих к Богу. “Не нам, не нам, но имени Его воздадим славу”¹¹³. Но спасибо и вам обоим. Вот как можно влиять на людей, не написав им ни строчки, и даже не разговаривая с ними!”¹¹⁴

Может быть, кто-то из знавших и любивших М.Ф. еще дополнит эти воспоминания. На этом их надо закончить. Передать словами главное в человеке всегда очень трудно, что-то стоит между чувством и словом, особенно, когда речь идет о человеке близком. Пожалуй, лучше всего это сделала одна монахиня, сказавшая после кончины М.Ф. об о. Сергии и о ней всего два слова: “Подвижники Истины!”



Александр Дмитриевич
Самарин
с дочерью Елизаветой
в ссылке.
Якутия. 1927 г.

Е.А. Чернышева-Самарина

Александр Дмитриевич Самарин



*Блажени яже избрал и приял еси,
Господи... память их в род и род.*

Из чина панихиды (по псалму 64)

“Память сердца” понуждает меня писать о тех, чьи дорогие образы для меня не тени прошлого, ушедшие далеко в “небытие” и подернутые пеленой всех наслоений жизни, — это живые, яркие, дорогие, всегда близкие образы людей, которые с годами открываются по иному, во всей своей полноте. Пройдя жизненный путь, начинаешь понимать и видеть многое, что в молодости недоступно, видишь другими глазами. Вероятно, мне был дан в жизни редкий дар. Этот дар я воспринимаю как драгоценное наследство, которое ничто и никто отнять у меня не может. Это ушедшие в иной мир люди, самые близкие и дорогие. Они окружены для меня светом Божией правды, чистоты, цельности. Их образ ничем не омрачен, их авторитет был всегда для меня мерилom в любое время моей жизни. Такими вижу их и сейчас, и хотелось бы хоть сколько-нибудь запечатлеть эти дорогие образы на бумаге, чтобы знали их мои дети и внуки.

Семья Самариных¹

Отец мой — Александр Дмитриевич Самарин. Вот передо мной его лицо, его фотографии с детства и до последних лет его жизненного подвига.

Семья моего отца была исключительной по своим твердым убеждениям и моральным устоям. Это была старая московская дворянская семья, принадлежавшая к высшему дворянскому кругу и жившая в традициях этого круга, но, помимо и выше традиций дворянских, в семье Самариных незбылемо хранились устои Православия. На этих основах семья Самариных строила свои убеждения, твердые и в то же время отличавшиеся большой внутренней свободой взглядов, это ставило их в несколько обособленное положение в их круге. Самарины никогда не принадлежали к каким-либо партиям и группировкам и тем более были далеки от всяких интриг. Самарины всегда имели мужество держаться своих убеждений и, если это было нужно, высказывать свои взгляды при любых обстоятельствах. Эта непреклонность и прямота внушала уважение к ним даже среди людей совершенно других убеждений. Такими были лучшие представители семьи в старшем поколении — Юрий Федорович и Дмитрий Федорович (мой дед), а позднее старший брат моего отца — Федор Дмитриевич и мой отец — Александр Дмитриевич. Дед мой Дмитрий Федорович был младшим братом славянофила Юрия Федоровича, современника Лермонтова и Гоголя, друга Аксаковых и единомышленника Хомякова. С Лермонтовым Юрия Федоровича связывала юная дружба и увлечение талантом Лермонтова, с Гоголем — глубокая внутренняя связь, прекрасно выраженная в сохранившемся письме Юрия Федоровича к Гоголю.

Глубокая интеллектуальная культура переходила из поколения в поколение. Некоторые в семье были наделены особым даром в области философии, соединяя этот дар с глубоким интересом и серьезными познаниями богословия; такие люди, как Юрий Федорович, а позднее Федор Дмитриевич, несли свои силы на пользу русской церковной мысли — Православия.

Семье Самариных был также свойствен дар филологичности. Какое-то особенно тонкое понимание и восприятие “слова” во всей его многогранности. Этот дар проявлялся очень разное, но ярко: у одних — в любви к слову вообще, к языку поэзии, у других — в особой любви и понимании церковной поэтики и тво-

рений. Чуткость восприятия “слова” и дар речи чисто русской был общим в семье.

Вот как вкратце можно охарактеризовать семью Самариных в XIX веке.

Дед мой Дмитрий Федорович был младшим сыном в многочисленной семье (1831–1901). Сам впоследствии был строгим и разумным отцом, вел семью, занимался большой работой по изданию трудов своего старшего брата Юрия Федоровича, был долго гласным Московского земства².

Мать моего отца, Варвара Петровна (1832–1905), происходила из семьи Ермоловых. Ее дядей и опекуном после ранней смерти родителей был Алексей Петрович Ермолов, герой войны 1812 года и покоритель Кавказа. О нем Лермонтов говорит в стихотворении “Спор”: “...их ведет, грозя очами, генерал седой...”

Я не помню бабушку Самарину, но по всем рассказам о ней, по удивительному ее поступку, связанному с женитьбой моего отца, ее образ рисуется мне очень ярко. Это была настоящая русская женщина, в молодости привлекательной наружности, религиозная и с той подлинной внутренней простотой, которая была характерна для лучших представителей аристократии. Такая настоящая простота ставила рядом и сближала простую неграмотную русскую женщину с бабушкой Варварой Петровной, стоявшей по своему положению в высшем дворянском обществе. Бабушка была воспитана, как полагалось в те времена, под влиянием западной культуры, но внутренне она сохранила свою русскую сущность, по-русски говорила очень просто, любила русскую речь с народными выражениями и поговорками. Бабушка от семьи Ермоловых внесла в семью Самариных эту простоту, которая была чужда несколько суровой атмосфере самаринской семьи.

Слуги в доме у бабушки были “своими” людьми, жили подолгу в доме, часто всю жизнь. Это были определенные личности, с которыми были определенные личные отношения, а няня Аксинья Михайловна, вырастившая с бабушкой ее семерых детей, была другом, искренне уважаемым и люби-

мым. Она умерла в семье Самариных, окруженная заботой своих питомцев.

В старости бабушка Варвара Петровна, потеряв мужа, за которым она шла всю жизнь, не потеряла спокойной уверенности и мудро решала, казалось, неразрешимые семейные вопросы.

Рождение, детство, гимназия, университет

Мой отец родился 30 января 1868 г. в Москве, в Леонтьевском переулке (теперь ул. Станиславского), в том доме, где теперь музей Станиславского. Этот дом и сейчас сохранил целиком свой облик. Помню рассказы старшей сестры моего отца Софьи Дмитриевны о крестинах его в этом доме, происходивших в зале с колоннами. Немного позднее семья Самариных переехала на Поварскую, дом 38 (ул. Воровского), в дом, купленный моим дедом. Этот дом стоял до 1965 г., в нем протекала жизнь всей семьи Самариных с 1870-х годов до 1935 года, когда последней — с маленькими сумочками или узелками в руках — вышла из него, чтобы уехать в Можайск, моя тетя Анна Дмитриевна Самарина, младшая сестра моего отца.

Я помню еще этот дом во всем его великолепии (хотя, может быть, это слово не вполне соответствует), вернее — во всей его полноте. Он объединял дружную семью братьев и сестер, и мы, дети, бывали там с отцом по воскресеньям. Там, в этом большом доме, была свадьба моих родителей и там же через 5 лет скончалась моя мать.

Я помню, как устраивались там великолепные настоящие балы для моих двоюродных сестер. Нас, правда, уводили домой перед началом бала. А сколько было приготовлений, которые были так интересны; сколько доставалось красивой старой посуды, хранившейся в кладовой! В этом доме я была также на двух прекрасных свадьбах моих двоюродных сестер, Вари и Мани Самариных. Теперь на месте этого дома строится огромное здание Института Гнесиных, нет больше

и церкви святых Бориса и Глеба³, так тесно связанной с нашей семьей.

У моего отца было четыре брата и две сестры, он был из средних. Жизнь в семье в детские годы моего отца шла размеренным порядком под руководством родителей и воспитателей, без особой роскоши. В ранние годы всем детям давалось твердое знание французского и немецкого языка, а дочерям — еще и английского. На лето всей дружной семьей уезжали за Волгу, в большое имение Васильевское, расположенное на левом, степном, берегу Волги, ниже Сызрани. Плыли на пароходе от Нижнего Новгорода, и для детей не было большей радости, чем эти путешествия, а Волга, ее ширь и красота ее разливов, всю жизнь приводили моего отца в трепет. Он и мою мать, и нас с раннего возраста знакомил с Волгой, любил возить в Васильевское и научил любоваться Волгой и любить ее.

Из семерых детей двое отличались большой музыкальностью — дядя мой Петр Дмитриевич и мой отец. Музыкальный слух у обоих был изумительный, но почему-то музыкального образования они не получили, и оба позднее играли на рояле или любимом инструменте — фисгармонии, по слуху, имитируя слышанное или импровизируя. Как любила я, маленькой девочкой, слушать эти непонятные для меня мелодичные звуки импровизации отца...

Оба мальчика с раннего детства полюбили церковное пение, а с ним вместе и церковную службу. Они дома пели вдвоем и “служили” всенощные, а позднее в приходской церкви святых Бориса и Глеба пели ранние обедни на клиросе. Будучи студентом, отец мой руководил студенческим церковным хором Московского университета и пел с этим хором в Ново-Екатерининской больнице у Петровских ворот. Дядя Петр Дмитриевич был впоследствии одним из редких знатоков русского церковного и народного пения и членом совета при знаменитом Синодальном хоре. Пение этого хора в Московском Успенском соборе в Кремле было поставлено на такую высоту, что тот, кто имел счастье его слышать, никогда этого не забудет.

Отец мой в молодости любил оперу, приходил в восторг от голоса Неждановой, Шаляпина, но хоровое пение его особенно волновало. Он с увлечением рассказывал нам о концертах соединенных хоров, происходивших в Московском манеже и исполнявших духовные песнопения, или о духовных концертах в Большом зале Консерватории, это была его стихия. Помню, как мы с ним в Костроме, в последний год его жизни, слушали в передаче убогого радиоприемника тех лет “Царскую невесту” с участием Неждановой, и его это радовало. Любимой оперой отца был “Князь Игорь” Бородин.

Учился мой отец в классической 5-й гимназии, которая находилась на углу Поварской и Молчановки. Так же, как и все его братья, он кончил 5-ю гимназию с золотой медалью. Все их имена были записаны золотыми буквами на мраморной доске, о чем с гордостью сообщил мне мой брат, поступая тоже в эту гимназию. До пятого класса мальчики в семье Самариных учились дома, сдавая весной экзамены, а с пятого класса начинали ходить в гимназию.

Был ли мой отец особенно способен к наукам? Думаю, что да, и, конечно, больше к гуманитарным, но, вероятно, он был еще и очень трудолюбив и, как всегда, добросовестен. Чувство долга, внутренняя дисциплинированность были, по-видимому, его отличительной чертой с детства. В одном из писем моей бабушки Варвары Петровны Самариной к моей матери, в то время невесте моего отца, есть такая фраза: “Саша (мой отец. — Е.Ч.) за всю свою жизнь меня ничем не огорчил”. Видимо, с детства в нем была врожденная “ясность” души и ума, и эта ясность вела его по прямому, открытому пути, без отклонений и блужданий по сложным тропам сомнений и поисков. Моему отцу была также присуща простота, унаследованная им от матери, — простота ермоловская.

После окончания гимназии все братья Самарины шли в Московский университет на историко-филологический факультет. Отец мой говорил, что у него в то время было определенное желание пойти на медицинский факультет, но это было не в традициях семьи, мать ему это высказала, и он не решился пойти против воли родителей. Позднее младший из братьев,

Юрий Дмитриевич, оказался более решительным и поступил по своему влечению на естественный факультет.

В студенческие годы молодые люди попадали в круг больших светских знакомств и развлечений. Моего отца мало привлекала атмосфера светского высшего общества — балы, любительские спектакли, что было тогда очень принято. Дядя мой Сергей Дмитриевич, очень живой и общительный, обладавший большим юмором, говорил: “Саша, если и ехал на бал, то старался пройти в залу, не снимая галоши, чтобы поскорее незаметно выскользнуть оттуда, а если видел издали на улице каких-нибудь светских знакомых, сворачивал в подворотню, чтобы не здороваться”. Мой отец, который тоже любил юмор, не злой, а мягкий и безобидный, и чаще всего обращенный на самого себя, весело смеялся этим воспоминаниям о его юности. А сколько позднее пришлось ему представлять на всяких торжествах, приемах, собраниях, балах, и как он просто держался! Трудно было подумать, что это было так чуждо его существу.

Военная служба, начало общественной работы, выявление личности отца

После окончания университета (1891 г.) отец отбывал воинскую повинность как вольноопределяющийся гренадерской артиллерийской бригады, а с 1892 года по 1899-й был земским начальником⁴ в Бронницах Московской губернии и затем до 1907 года богогородским уездным предводителем дворянства⁵. До него в Богородске это место занимали старшие его братья, сначала Федор Дмитриевич, а потом Сергей Дмитриевич. Я мало знаю об этих годах жизни моего отца, это было задолго до моего появления на свет, но знаю, что с этих лет у отца до конца жизни сохранились крепкие дружеские связи с несколькими семьями. Связи того времени перешли по наследству и к нам, его детям, — настолько они были искренни и сердечны. Видимо, отца моего очень любили друзья. Он был прост и весел в общении, а если было нужно, мог оказать сильную моральную поддержку.

Знаю этому примеры с семьей Кашперовых, где он помогал воспитывать трех мальчиков, лишившихся отца, а их мать, милая Александра Петровна Кашперова, с которой мы сохраняли большую дружбу до самой ее смерти в 1941 г., рассказывая нам о нашем отце, называла его не иначе, как “несравненный”. Были еще семьи: Писаревых, мать и дочь — Вера Александровна и Наташа, Араповы, мать и девочка Катя, очень живая и одаренная; отец помог им в самые трудные, безысходные минуты. С семьей Кологривовых, отец которых был сослуживцем нашего отца в Богородске, судьба столкнула моего брата в 1940-х годах в Средней Азии. Отношения родителей в прошлом веке оказались ключом, открывшим вновь дружбу в новом поколении. Была в Богородске чудесная патриархальная, очень многочисленная купеческая семья Куприяновых, жившая в доме напротив нашего дома. Мать семьи — Надежда Онисимовна, умная, спокойная, вырастившая многих достойных людей, дожила до глубокой старости. Дети ее, обращаясь к ней, называли ее “Ваша мудрость”. Отец, в память прошлого, брал меня в гости в эту семью уже в Москве. Там было всегда просто, бодро, с милым юмором. В те далекие годы отец был еще очень молод и беззаботен и, вспоминая это время, рассказывал всегда какие-нибудь забавные эпизоды.

В этот период своей жизни, полностью отдаваясь работе, отец стал выдвигаться как общественный деятель. Он как бы созрел внутренне для того, чтобы отдавать Родине и людям все силы и энергию своего существа. Твердые убеждения и чувство долга были всегда основой его поступков.

Тут определяется и выявляется его талант общения с людьми самых разных слоев общества, разных интересов и возрастов. Этот талант развивался в нем с годами, и я всегда поражалась тому, как умел он живо общаться не только с людьми своего круга и уровня развития, но и с людьми простыми, неграмотными и особенно с детьми, которые всегда очень скоро к нему привыкали и обращались с ним как со своим и близким. Это было так в его молодости и до самого конца жизни.

В эти же годы раскрывается его одаренность филологическая, о которой я упоминала раньше как о семейном свойстве Самариных. У моего отца она проявлялась двояко: он имел дар слова, он умел прекрасно говорить, облечь мысль в словесную форму, ясную, отчетливую и притом изложенную подлинно русским языком. Голос у него был приятный, баритональный. Знаю, что его речи в собраниях производили всегда сильное впечатление. И я помню его значительно позднее, произносящим приветствие Царю в колонном зале Московского Дворянского Собрания (Дом союзов) в 1913 году. Я, маленькая девочка, на хорах слушала, и гордилась, и любовалась им. Но еще несравнимо трепетнее слушала я и воспринимала в 1920 году “последнее слово” отца на суде, в том же Дворянском Собрании (в малом Октябрьском зале), когда весь переполненный зал замер, преклоняясь перед силой убежденности и мужества, выраженных в этом “слове”.

Это была одна сторона его словесного дара, а другая сопутствовала ему во всю его жизнь — это была исключительная любовь, тонкое понимание, я бы сказала, проникновение в глубины церковного слова, церковной поэтики, самого богослужения. Вот как говорит Ельчанинов⁶: “Богослужение — высшая поэзия, совершенная, “неизреченная” музыка, преобразующая душу красота”. Эти слова целиком созвучны моему отцу. В этой области вступала в силу и его музыкальная одаренность, и, соединяясь в одно целое, дивные слова и напевы приводили моего отца в восторг и глубокое умиление. Это была его стихия, его отрада во все времена. Его баритон и сейчас звучит в моих ушах; особенно помню его читающим антифоны Великого Четверга или молитвы перед причащением. Он не только сам пел, руководил хором и слушал, но и сам создавал церковную музыку.

От вершин Синодального хора, от строгих напевов монастырских хоров, от исполнения Неждановой “Ave Maria” и до абрамцевского маленького скромного хора, или исполнявшихся в тюрьме, написанных им самим нескольких песнопений, — все это было его жизнью, это его согревало, живило, это было для него “слово жизни”.

Знакомство с моей матерью. Женитьба, семья. Смерть матери

С трепетом приступаю я к той необычайно светлой и короткой эпохе жизни моего отца, когда он узнал и полюбил мою мать. Это было в конце 1890-х годов в Москве.

Моя мать, Вера Саввишна Мамонтова⁷, была дочерью известного в Москве человека — Саввы Ивановича Мамонтова⁸. О моем деде Савве Ивановиче, о его кипучей деятельности в области искусства, театра и железнодорожного строительства, о жене Саввы Ивановича — моей бабушке Елизавете Григорьевне, в честь и память которой в нашей семье, уже в трех поколениях, не переводятся Елизаветы, — я не буду говорить сейчас, так как много уже и в печати сказано, и будет сказано о семье Мамонтовых.

Буду говорить о своей матери. Я ее не помню... Это странно и больно. Ее яркий, прекрасный образ исполнен красоты внешней и обаяния внутреннего, но я это знаю по рассказам, по портретам, по фотографиям. Ее нельзя было не любить — с детства ее и любили, и любовались ею все, начиная с родителей, но это ее не испортило. Она просто и открыто смотрела на окружающий ее мир и людей и как будто с радостью была готова поделиться теми дарами, которые были даны ей.

Серов⁹ писал ее портрет в возрасте 12 лет, портрет этот принес ему первую славу. “Девочка с персиками” — так впоследствии назвали это чудесное произведение искусства — веселая, непосредственная, умненькая и такая по-настоящему русская девочка. С годами она стала стройной, красивой и такой же осталась — непосредственной и обаятельной девушкой... Она была четвертой в семье, до нее было три брата, а после нее была сестра Александра Саввишна, которая впоследствии, выполняя волю моей матери, заменила нам ее и воспитала нас, сирот, отдав нам всю свою жизнь.

В середине 90-х годов впервые встретились мои родители.

Ничего общего не было у семьи Самариных с Мамонтовыми. Совершенно различное общественное положение и круг

знакомств, что тогда играло большую роль. Разные взгляды, убеждения, интересы и уклад жизни. Правда, в эти годы уже было возможно общение купеческих семей с дворянским кругом. Но семья Самариных, и особенно глава семьи Дмитрий Федорович Самарин, были исключительно старозаветны. И все-таки случилось так, что моя мать на почве общих интересов к лекциям по литературе и истории, которые посещались многими девушками, а еще больше на почве общественной работы с детьми в городских школах, приютах и детских колониях, познакомилась и близко сошлась с сестрой моего отца Софьей Дмитриевной. Моя мать всюду вносила живость и энергию, свойственные ей. Она стала бывать в доме у Самариных и своим обаянием покорила сердца не только сестер, но и брата Александра Дмитриевича.

Бабушка моя, Елизавета Григорьевна Мамонтова¹⁰, также принимала серьезное участие в общественной работе по школам, бывала на собраниях в доме Самариных и, как всегда, пользовалась общим уважением и симпатией. Но вот оба мои деда — Дмитрий Федорович Самарин и Савва Иванович Мамонтов — были настолько чужды, далеки, просто несовместимы. Они были, каждый по-своему, людьми очень типичными для своего времени и среды.

Дмитрий Федорович — строгий в своих принципах, несколько суровый, представитель дворянства, размеренно и сознательно ведущий свою общественную работу и возглавлявший свою большую дружную семью.

Савва Иванович Мамонтов — яркий представитель блестящего взлета русского купечества второй половины XIX века, одаренный, увлекающийся и безудержный в своей красивой деятельности на пользу русского искусства, и не менее энергичный и умный руководитель работ по железнодорожному строительству. Его деятельность по освоению русского Севера, мало кому понятная в те времена, открывала новые горизонты перед русскими людьми.

К концу 90-х годов широкий размах железнодорожной деятельности и некоторая неосмотрительность привели Савву Ивановича к катастрофе. Он был арестован в 1899 году, судим и

оправдан судом присяжных. Все его имущество было конфисковано. Савва Иванович не потерял доброго имени и уважения, но бурная деятельность его и в промышленности, и в искусстве прекратилась.

С точки зрения главы семьи Самариных, деда Дмитрия Федоровича, не могло быть и речи о браке моих родителей. Это было неприемлемо, и на этом ставилась точка. Таково было решение отца, а для покорного сына, который полюбил такую чудесную девушку так, как он был способен любить, ничего не оставалось делать, как только ждать, терпеть и возложить упование на Бога. Тут проявилась его великая вера в Бога, которая во всю его многострадальную жизнь давала ему силы надеяться, терпеть и с благодарением принимать все от руки Божией.

Несколько лет тянулось это томительное состояние двух любящих друг друга душ. Было время, когда все казалось безнадежным, и даже переписываться они не считали возможным, и вот в это время отец мой пишет изумительные по глубине и цельности письма к моей бабушке Елизавете Григорьевне Мамонтовой, объясняя ей всю трудность своего безысходного положения, высказывая ей всю любовь к ее дочери, прося ее понять его, не судить сурово и своим материнским чутьем и любовью помочь в неразрешимом вопросе. И бабушка Елизавета Григорьевна, мудрая, удивительная женщина, — все понимала, все прощала и помогала ждать и терпеть, потому что сама была образцом терпения.

В доме Самариных случилось тяжелое событие. Мой отец еще раз решился поговорить с дедом о своей неизменной любви и желании жениться. Разговор был сдержанный, ни к чему решающему не привел, хотя Дмитрий Федорович сказал сыну, что подумает и обсудит свое мнение с членами семьи. После этого разговора с Дмитрием Федоровичем, уже до того прихварывавшим, случился удар, и в тот же день, 2 декабря 1901 года, он скончался. Отец мой, искренне любивший своего отца, был поражен, и даже его молодой, здоровый организм стал ослабевать. И вот тут (через год после смерти мужа) прекрасно проявила себя моя бабушка Варвара Петровна Самарина. Она все взяла на себя и именем по-

койного отца и своим благословила своего терпеливого сына на брак с любимой девушкой. Она и сама видела все достоинства моей матери, и вся семья дружных братьев и сестер Самариных с радостью приняла это решение.

Родители мои встретились женихами в Риме в конце 1902 года. Отец мой приехал к Мамонтовым, жившим эту зиму в Риме, чтобы окончательно решить вопрос женитьбы. Каким счастьем полны письма моей матери, написанные в эти дни в Москву, к отцу, Савве Ивановичу Мамонтову, и к матери жениха!

Древний Рим, который она так знала и любила с детства и который теперь она открывала жениху... Сердечная радость матери после томительной неопределенности; радость младшей сестры Шуры¹¹, всегда бывшей в тени, но от этого не меньше восхищавшейся полной обаяния старшей сестрой; и, наконец, еще радость — участие отца, Саввы Ивановича, хоть и далеко находившегося в это время, в Москве, но, видимо, горячо откликнувшегося на радость любимой “Верушки”. Все это один общий аккорд большого, полного счастья. Все письма этих дней и сейчас хранятся у меня.

26 января 1903 года в Москве, на Поварской, в церкви Бориса и Глеба (это был приход Самариных), была свадьба моих родителей. Моя мать была с любовью принята всей семьей Самариных. Все предвещало прекрасную, счастливую жизнь. После свадебного путешествия в Италию и на остров Корфу молодые поселились в своем доме в городе Богородске. Моя мать стала сразу принимать деятельное участие в работе отца и устраивала “свой” дом, свое хозяйство. С самого дня свадьбы не было ни одного дня, чтобы она не писала своей матери, Елизавете Григорьевне, хотя бы несколько строк. Эти письма, такие горячие, полные заботы о матери, тоже хранятся у меня. В них отражается ежедневная жизнь и появление на свет новых членов семьи — детей.

Первым был мой брат Юрий, затем я и третьим брат Сергей — и вдруг обрывается жизнь. 27 декабря 1907 года, через пять лет после свадьбы, моя мать умерла, проболев три дня воспалением легких; тогда не было тех средств, которые сейчас побеждают эту болезнь. Свершилось это в Москве, в доме Самариных на Поварской. Всей семьей мы ехали на

Рождественские праздники в Абрамцево¹² к бабушке. Проездом остановились в Москве. Как вихрь налетела болезнь и смерть. Я не помню этого страшного горя, мне было 2 года с небольшим. Что испытывал мой отец в это время, трудно выразить и представить. Он замкнулся в себе и до последних лет своей жизни сохранил любовь и верность моей матери. Ее похоронили в любимом Абрамцево, около церкви. Приезжая туда, отец всегда ходил с нами, детьми, к ней на могилку, но говорил с нами о ней очень мало. Только в последние годы жизни иногда открывалась эта страница его жизни — счастливая, солнечная, радостная. Вера в неисповедимые и часто непонятные людям судьбы Божии была тверда в его сердце и еще больше утвердилась в несении страшного горя. Мы, дети, остались на попечении бабушки Елизаветы Григорьевны и тети Александры Саввишны. Но бедная бабушка не вынесла разлуки с дочерью, несмотря на мужество, с которым она приняла ее смерть. В тот же год, через 10 месяцев, она скончалась; было ей 61 год. С тех пор все материнские обязанности, заботы, а с ними и удивительную, по-настоящему материнскую любовь к нам, детям, приняла на себя наша тетя Александра Саввишна. Это время я уже начинаю помнить. Мне 3 года. Мы в Москве, в новом для нас доме, все интересно, уютно. Отсутствие матери я не воспринимала! Смерть бабушки помню отрывочно и чисто по-детски.

Переезд в Москву. Избрание Губернским предводителем дворянства. Широкое поле деятельности. Общение с нами, детьми

В 1908 году, вскоре после смерти моей матери, мой отец был избран московским губернским предводителем дворянства, поэтому мы переселились в Москву. Знаю, что дом в Богородске был продан, и разорено было уютное и недолговечное гнездо; знаю, что отец сам не мог этого сделать, это было выше его сил. Он погрузился с головой в новую большую работу, спасаясь ею от своего горя. Я не могу вполне ясно обрисовать, в чем была суть его дела. Я

была мала и только немного могла воспринять из того, что слышала и видела. Знаю, что иногда решались серьезные вопросы, обсуждались единомысленными братьями Самаринскими, готовились выступления отца, обращения к Царю от Москвы — сердца России. Это было серьезно, но непонятно мне. А вот что было ясно моему детскому восприятию — это необычайная занятость отца прямой заботой о людях, об устройстве судьбы отдельных семей, детей, стариков, о создании каких-то приютов, богаделен, обеспечении их средствами; о “попечительстве”¹³ его в учебных заведениях в Москве, причем он действительно был попечителем. Он входил в жизнь и интересы этих школ и детей, он с ними умел общаться и радовался, когда мог их порадовать чем-либо. Думаю, что в эти годы, неся в сердце своем горе, может быть, в память умершей матери моей, он многим облегчил жизнь, помог, утешил, поддержал. Он привлекал к этой работе других людей, заставлял, убеждал их давать средства и своим примером учил, как надо трудиться на пользу людям. В эти годы с большой любовью и увлечением отец строил храм в селе Аверкиеве Богородского уезда*. Это была его инициатива и, видимо, тоже в память моей матери. Храм был в стиле XVII века — светлый, большой, радостный, очень удачный по архитектуре. Он был освящен в 1915 году.

Отец был занят с утра до вечера, а иногда и до глубокого вечера. Мы, дети, видели его обычно утром, в 9 часов, когда он пил два стакана почему-то остывшего чая и читал газеты. Мы приходили здороваться с отцом. За обедом он бывал не всегда, а вечером, если был дома, садился за пианино или за фисгармонию, которую любил, и наигрывал что-нибудь по слуху, часто импровизируя. Он любил проверить наши музыкальные способности, заставляя повторять взятую ноту. Его радовал в этом мой старший брат, который обладал прекрасным музыкальным слухом. Он учил нас молиться на ночь и любил прийти в детскую, когда мы лежали в кроватях. В воскресенье отец ходил с нами к поздней обедне в церковь святителя Спиридония или Большого Вознесения на Никитской, где, по преданиям, венчался Пушкин, а потом мы шли завтракать в самаринский дом

* Архитектор Башкиров.

на Поварскую. Все это — раннее детство. В январе 1913 года новый удар поразил нашу семью. После двух дней болезни (от перитонита) скончался мой маленький брат Сереженька, общий любимец, чудесный мальчик; ему не было шести лет.

Что давал нам отец в эти детские наши годы? Казалось, он оторван от нас, всегда занят своими делами, а между тем общение с ним, которым мы не были избалованы, было для нас значительным. Он любил брать нас в Кремль, и больше всего я помню великолепную службу в Рождественский сочельник с Синодальным хором и протодиаконном Розовым¹⁴ в Успенском соборе. Стоя рядом с отцом, мы, дети, как бы через него проникались глубиной и красотой слова, и пение уже тогда захватывало меня. В Кремль ходили еще весной, после Пасхи, по субботам вечером, и бывали не только в Успенском, но и в других соборах и Чудовом монастыре. Тут в весенний, прозрачный вечер проникались красотой древнего Кремля, и так интересно было все узнать о маленькой, самой древней церкви Спаса-на-Бору, о колокольне Ивана Великого, о могилах в Архангельском соборе или Вознесенском монастыре. С отцом для нас были особенно связаны два самые большие праздника в году — Рождество и Пасха. В Рождественский сочельник, после вечерни в Кремле, он брал нас в магазины, чтобы купить подарки; самое существенное — это подарок для нашей “тетеньки” и “по секрету” от нее, до следующего дня. Отец всем в доме дарил подарки и нас привлекал к этому. Он принимал участие в елке, играл для нас на рояле, радовался нашей радости. На Страстную неделю и Пасху мы бывали в Абрамцеве, где все дни бывала прекрасная служба в церкви, в которой все по мере сил принимали участие.

Отец был свободен несколько дней, был с нами, руководил хором, пел, читал; я и теперь слышу его голос, и он передал нам совершенно особенную любовь и понимание этих великих дней. Маленькая Абрамцевская церковь, окруженная нетронутым парком с высокими елями, и просыпающаяся к жизни природа так много могли дать чудных, поэтических впечатлений. А первая в жизни Пасхальная заутреня (в 7 лет), крестный ход со свечами вокруг церкви, прямо у дорогих могил матери, бабушки и

брatца, и ликующие слова “Христос Воскресе”, и звон, и темные ели, и полная света от восковых свечей церковь, и множество народа! Это, действительно, была радость Воскресения Христова! Хор ведет отец, такой праздничный, радостный, и дед Савва Иванович глубокой своей октавой подкрепляет пение.

В эти годы я много и тяжело болела. Я была окружена заботой, мне было хорошо и уютно, но я ждала позднего, почти ночью, прихода отца. Он садился ко мне на кровать, рассказывал о своих дневных событиях, и от него шло какое-то спокойствие и тепло, и я засыпала.

Война 1914 года. Красный Крест. Назначение обер-прокурором Синода и увольнение

В июле 1914 года началась первая мировая война, и мой отец, помимо своей обычной работы, стал главноуполномоченным Российского Красного Креста¹⁵. Это была огромная административная работа для фронта и тыла. Бесконечное количество лазаретов по всей России, санитарных отрядов и поездов, эвакуация раненых и иногда даже просто населения, — все это было подведомственно Красному Кресту и Земскому союзу, и со всех концов нити тянулись к центру — Москве. Вокруг отца объединилась группа новых для него помощников, ставших настоящими друзьями. Все они в эти грозные дни не щадили сил, не жалели времени, а отец мой обладал незаурядным административным талантом. Семья Самариных отдала свой большой дом на Поварской под главное управление Красного Креста, переселившись в комнаты нижнего этажа.

С самого начала войны в нашем доме на Спиридоновке чувствовалось напряжение. Отца мы видели еще меньше, он возвращался домой поздно, и дома еще подолгу горел свет у него в кабинете, и он работал за письменным столом, по телефону решая всегда срочные вопросы о лазаретах, раненых, эвакуации.

В то же время, в 1915 году, назревал один из самых трудных периодов его жизни. Отец ездил в Петроград с непосредственным

обращением к Царю от лица всего русского дворянства, не только московского. В это время росла страшная эпопея Распутина. Влияние этой темной демонической личности все глубже укоренялось в высшем обществе Петрограда, при царском дворе, и, наконец, Распутин получил решающий голос в делах государственных. Все об этом знали, все и всюду об этом говорили, и некоторые честные люди, преданные родине, уже не считали возможным молчать. Одним из таких людей был мой отец. Он был избран огромным количеством людей — через губернские организации дворянства, чтобы сказать открыто всю правду в глаза Царю. И он это сделал. Его обращение обсуждалось и подготавливалось братьями Самаринскими, всегда единомысленными в трудные минуты. Каждый из них вносил свою лепту. Старший из братьев — Федор Дмитриевич был мудрейшим в совете; два других брата — Петр и Сергей Дмитриевичи, глубоко переживая и волнуясь, обсуждали предстоящее обращение; может быть, лучше других облакал мысль в словесную форму Петр Дмитриевич. Из всех пяти братьев он был наиболее одаренным в области слова и тонкой музыкальностью. Не только гимназию, но и университет один он из братьев окончил с золотой медалью. Петр Дмитриевич много трудился над изданием работ дяди, Юрия Федоровича, а в жизни он был тишайшим и скромнейшим человеком, большой отзывчивости и доброты и слабого здоровья. Всегда молчаливый, он иногда оживлялся, ценил юмор и по-детски радовался радостям детей и молодого поколения.

И вот в Царском Селе, в кабинете Царя, отец был принят один. Царь выслушал его внимательно и, по словам отца, был как будто несколько удивлен тем огромным значением, которое народ придавал в то время гнусному влиянию Распутина. Это горячее обращение многих и многих русских людей, так смело и открыто высказанное перед Царем, ничего не дало и не изменило в действиях правительства.

Отец мой говорил, что Николай II был очень приятным, даже обаятельным в общении человеком, как частное лицо. Прекрасно передал образ Николая II Серов в поясном портрете в военной серой тужурке. Этот удивительный портрет, к сожалению

нию, уничтожен, но в монографии И. Грабаря сохранилась хорошая репродукция с него. Отец видел Царя в окружении его семьи, детей, за семейным завтраком, куда был приглашен в 1915 году после доклада. <...>*

Как ни странно, но вскоре после такого обращения, летом 1915 года, отец был вызван в ставку главнокомандующего всей Русской армией, это был тогда дядя Царя, великий князь Николай Николаевич. Отцу было предложено занять место обер-прокурора Святейшего Синода, то есть войти в состав Кабинета министров, так как это был, по существу, министр по делам Церкви. Несомненно, это было влияние великого князя Николая Николаевича, который был убежденным и открытым противником Распутина и очень уважал моего отца и его позицию.

Отец опять имел долгий и до предела откровенный разговор с Царем наедине, в его вагоне-кабинете в Ставке. Он повторил все, что незадолго перед тем высказал в Царском Селе о преступном влиянии Распутина в политике, о недопустимости его приближения к царской семье; <...> он говорил о своей неподготовленности к работе в должности обер-прокурора, о том, что его место в Москве — сердце России, где он не чиновник, а представитель общественного сознания. Некоторые черновые записи этих минут сохранились у меня. После всего высказанного Царь сказал: “А я все-таки Вас прошу принять назначение”.

Нам отец потом рассказывал, что чувствовал он в эти минуты и что говорил. Царь молча слушал, видимо, был взволнован, так мало приходилось ему слышать правду от подданных. Отец вернулся из этой поездки подавленный и измученный, но отказаться от возлагаемого на него бремени не смог. Вот что записал об этих днях мой дядя Федор Дмитриевич: “При выходе из вагона (в Москве) Саша показался мне чрезвычайно удрученным. Таким я его никогда не видал. Он все повторял, что вся его деятельность кончена, и не видел никакого исхода из трудного положения, в которое был поставлен. Когда все мы собрались к нему в дом, он сказал даже: “Все точно ко мне на похороны пришли”.

* Текст печатается с небольшими сокращениями. Полный текст опубликован в журнале “Московский вестник”. М., 1990. №№ 2, 3. — *Ред.*

У меня сохранилось много записок, писем, набросков мыслей и проектов обращений, в которых хорошо отражен весь этот труднейший период жизни моего отца. Он был назначен на должность обер-прокурора 5 июля 1915 года, в Сергиев день, и уволен с этой должности 25 сентября 1915 года, тоже в день преподобного Сергия. Москва трогательно провожала отца, напутствуя его и жалея об его уходе с такой большой и нужной работы. Неполных три месяца нес он это бремя, открыто и честно высказывая свои взгляды. Он боролся с Распутиным в той области, которая была ему подведомственна. Помощником себе отец пригласил Петра Владимировича Истомина¹⁶. Это был человек кристальной честности и таких же взглядов и твердых убеждений, как мой отец¹⁷.

В первые же дни пребывания в Петрограде Распутин пробовал подойти к отцу, завязать с ним сношения. Об одном эпизоде этих дней с восторгом рассказывал слуга моего отца Александр Тихонович, который сопровождал его в Петроград. В гостиницу “Европейская”, где жил мой отец, приехал к нему епископ Варнава¹⁸ в сопровождении Распутина, с которым он был в тесном контакте. Отец просил принять епископа и при его входе, относясь к нему крайне отрицательно, но отдавая должное уважение его сану, встал и подошел здороваться и принять благословение; когда же за епископом Варнавой выступила фигура Распутина с просфорой в руках, отец выпрямился, заложил руки за спину и сказал: “А вас я не знаю и вам руки не подам”. “С тем и уехали гости”, — говорил Александр Тихонович <...>. Распутин скоро одержал верх, отстранив от командования армией в крайне трудное время великого князя Николая Николаевича, пользовавшегося популярностью и имевшего авторитет в армии, и из Кабинета министров один за другим были отстранены “неподходящие” люди. <...>

Отец мой вернулся в Москву, домой, опять вступил в свою работу в Красном Кресте, на помощь людям в тяжелые дни войны. Помню, как к нам в дом приезжал городской голова Михаил Васильевич Челноков, чтобы вручить отцу красивую, в русском стиле, грамоту (грамота эта хранится у меня) и икону, демонст-

ративно приветствуя от лица родного города Москвы возвращение ее верного сына.

Участие в Церковном Соборе. Избрание Московского митрополита. Болезнь

Конец 1915-го, 1916-й и начало 1917 года прошли все в той же напряженной работе, связанной с войной, ее неудачами и теми невероятными трудностями, которые нарастали в эти годы. Революцию 1917 года отец предвидел. Самарины и в эти годы были близки к идеологии старых славянофилов: они ясно понимали и с печалью видели всю безнадежность деятельности правительства в труднейших условиях царствования последнего из царей — Николая II. Страшная история Распутина с его окружением темными силами еще ускорила ход событий. При Временном правительстве прекратилась, как мне кажется, деятельность отца в Красном Кресте.

В 1917 году отец перешел к другой работе, которая его привлекала и которой он был готов с радостью служить. Это была подготовительная работа к Церковному Поместному Собору Русской Православной Церкви. Собора, или съезда, многочисленных представителей Православной Русской Церкви не было в России со времени царя Алексея Михайловича, или с XVII века. Синод был учрежден Петром I и приравнен к министерствам, или коллегиям Петровского времени. После Октябрьской революции Церковь была отделена от государства, и Синод, управлявший Церковью, перестал существовать. Теперь Церковь должна была избрать главу — Патриарха. Это должен был сделать Собор.

Летом 1917 года в жизни отца моего случилось неожиданное и взволновавшее его самого и всех близких событие. В это время в Москве не было митрополита; старец митрополит Макарий был уволен на покой Синодом Временного правительства. Теперь, при новых условиях, без Синода, надлежало избирать митрополита. Решено было предсоборным совещанием назначить выборы Московского митрополита, предварительно

проведя подготовительную работу по определению кандидатов. Как это делалось, я не знаю и не помню, но только вдруг оказалось, что из двух намеченных кандидатов один — архиепископ Тихон Ярославский¹⁹, а второй — не архиерей и даже не священник, а мирянин Александр Самарин. Выбирала Москва и Московская епархия. Оказалось, что популярность моего отца очень велика среди православных людей. Выборы происходили в храме Христа Спасителя. Мы были на хорах, слушали и смотрели. Я не до конца могла осознать происходившее, все это было как-то неожиданно... Помню, что моя тетка и крестная мать Анна Дмитриевна Самарина чуть ли не со слезами просила некоторых достойных людей, сторонников моего отца — Михаила Александровича Новоселова²⁰ и о. Иосифа Фуделя²¹ — не голосовать за него. Господь избавил отца от этого подвига. Всего на несколько голосов (а мне говорили, что на один голос) больше получил архиепископ Тихон, позднее, в том же 1917 году, избранный патриархом всея Руси.

Отец видимым образом не выявлял своего волнения, я этого не помню. Думаю, что он всего себя предал в руки Божии. Здесь привожу страничку из воспоминаний С. Н. Дурылина²² об отце Иосифе Фуделе:

“Помню его (отца Иосифа) на одном частном небольшом собрании перед выборами Московского митрополита. Собрались несколько весьма известных и влиятельных в церковно-общественном мире деятелей. Обсуждали вопрос: на ком же нужно остановиться как на желаемом кандидате на Московскую кафедру...

Отец Иосиф один из первых прямо и решительно выдвинул кандидатуру Самарина, столь неожиданную для многих... Самарин в его глазах, при несомненной своей (даже и для противников его) строгой, ясной и твердой церковности, ввел бы в русскую иерархию ту спокойную энергию, то ясное сознание задач церковной современности, ту чуждую всякой политики ревность к церковному делу, которые так редки в русской иерархии и так необходимы в Русской Церкви. В Самарине можно было не бояться проявления застарелых недостатков русского духовенства как сословия, его сословных, исторически объяснимых слабо-

стей. Строгая церковность и благоговение перед Церковью заставили бы его (Самарина) забыть сословность и того круга, из которого он сам вышел... Это был бы, по мнению о. Иосифа, епископ, лишенный недостатков и слабостей той среды, из которой обычно поставлялись русские епископы. Одно это, даже если бы не было ничего другого, было бы большим счастьем для русской иерархии.

Это сознавали и некоторые из противников кандидатуры Самарина. Помню отзыв одного видного и ученого московского протоиерея: “Самарин был бы для Церкви хорош, а для духовенства тяжел”. Отец Иосиф всегда думал о Церкви, а не о духовенстве...

Но отцу Иосифу так и не пришлось голосовать за Самарина. Собираясь на выборы, на собрание, где должны были записками наметить кандидатов, он забыл в второпях и волнении свой удостоверительный билет дома, и его не допустили к урне. Если бы он положил свою записку, Самарин получил бы при этой предварительной баллотировке на 1 голос больше архиепископа Тихона. Кто знает, какое бы это произвело впечатление на окончательных выборах: большинство (предварительное) было бы у Самарина, а большинство людей любят следовать какому угодно, но большинству. Без записки отца Иосифа они оба получили равное число голосов²³”.

Об Александре Дмитриевиче Самарине см. еще: Н. Бердяев. “Судьба России”. изд-е Москва, 1918 г., глава “Темное вино” (несколько положительных характеристик. — Е. Ч.).

Осенью 1917 года отец перенес тяжелую болезнь и был близок к смерти. В июле в Петрограде сделался у него сильный приступ аппендицита и грозил перитонит. Его привезли в Москву, он долго лежал, после чего ему сделали операцию, и он поправился.

В это время открылся Церковный Собор Православной Церкви, членом которого был мой отец.

После Октябрьской революции отец возглавлял в Москве Совет объединенных приходов города²⁴. Церквей и приходов было тогда очень много. В это время остро стоял вопрос проведения

в жизнь Декрета “Об отделении Церкви от Государства”. Помню, что по этому поводу отец и еще два представителя Собора были в Кремле, который был уже в это время закрыт и стал центром Советского правительства. Представители Церкви должны были говорить с Владимиром Ильичем Лениным, но почему-то их принял комиссар юстиции Курский.

В эту зиму 1917/18 годов начались в нашем доме, как и во многих других домах, обыски — приходили ночью анархисты-моряки, вооруженные и страшные своей неорганизованностью, а весной уже отец стал подвергаться персональным преследованиям.

Первый арест. 1918-й, 1919 год

Летом 1918 года не один раз приходили к нам в дом на Спиридоновку из ВЧК с ордерами на арест отца, но его не бывало дома, и он оставался на свободе. Во второй половине лета, вняв просьбам близких, отец согласился уехать из Москвы, скрываться, а впоследствии, может быть, и перейти границу. Отцу все это очень претило, и трудно себе представить, как это удалось его уговорить на такой шаг. Уехав из Москвы, отец некоторое время был в Оптиной пустыни, куда он попал впервые. В трудные дни для него знакомство с этим удивительным уголком, с этой сокровищницей русской духовной культуры, не могло не поддержать внутренние силы отца. Он посещал все службы, увлекся монастырским пением и изучил его. Был у старцев отца Анатолия и отца Нектария. Затем побывал в других маленьких монастырях калужских, которых тогда было так много.

Раньше отец знал только Троицкую Лавру и близко от нее расположенную, уединенную Зосимову пустынь, где посещал и очень чтил старца отца Алексея и настоятеля, игумена отца Германа²⁵, к которому обращался как к духовнику. Нас он также иногда брал с собой в Зосимову пустынь, которую я прекрасно помню с детских лет. Теперь Оптина пустынь была как бы подготовкой и укреплением перед грядущими испытаниями.

25 сентября 1918 года (в Сергиев день) отец был арестован в первый раз на вокзале в Брянске при проверке документов. Брянск в то время был близок к границе Украины. Личность отца была установлена. Он считал, что минуты его сочтены, и, написав записку нам с московским адресом, бросил ее в окно каморки при вокзале, куда его заключили. Эту записку какая-то добрая душа отправила почтой в Москву; в нескольких словах отец прощался с нами. Все близкие взрослые бросились разыскивать следы отца — дядя Сергей Дмитриевич (брат отца), тети Анна Дмитриевна и Александра Саввишна, слуга и друг семьи Никифор Евдокимович. Это было невероятно трудно, почти невозможно в те дни. Для проезда в поезде, да еще вблизи границы, требовались пропуска, разрешения, командировки, а о другом транспорте в то время и речи не было. Тетя Аня нашла отца в Орловской тюрьме-изоляторе (особо строгая тюрьма). Видимо, в Брянске не решились без санкции Москвы расстрелять отца. В ноябре он был привезен в Москву на Лубянку, в ВЧК.

Мы приезжали из Абрамцева, ходили с передачами, но, главным образом, этот труд несла на себе тетя Аня. Это было время голода и холода в домах, отсутствия городского транспорта. Надо было выстаивать иногда целый день в приемных ВЧК, чтобы передать что-то незначительное, а главное — через это узнать, что отец жив, если передачу приняли. Каждый день можно было ждать конца, и сколько матери, жены, сестры, дочери уходили, узнав, что уже больше некому им нести передачу.

Почему-то один раз в ноябре мне дали свидание с отцом. Это было неожиданно и необъяснимо, и так как я была еще совсем девочкой, со мной, в самые недра ВЧК в Варсонофьевском переулке на Лубянке, пустили тетю Александру Саввишну. Это страшное и неизгладимое впечатление осталось у меня на всю жизнь. Нас провели через ряд дворов, среди высоких бывших квартирных домов. Там, в глубине двора, в огромном помещении бывшего книжного склада, все стеллажи и пол были заполнены людьми. Как в переполненном вокзале, стоял гул голов. И вот оттуда, из этого шумевшего роя, вызвали в дежурное помещение отца. Он был крайне взволнован и испуган, увидев

нас. Он очень изменился за те полгода, что я его не видела, и я была поражена его обликом. Впервые видела я его в таком возбужденном состоянии. Он не мог не сказать нам, что каждую ночь из огромного скопища народа, находящегося с ним вместе в этом бывшем книжном складе, берут на расстрел, и назвал несколько известных нам людей. Расстреливают тут же, на дворе, по которому мы только что шли. Свидание длилось несколько минут. Никто не мешал нам. Конвоиры, молодые солдаты, болтали и смеялись рядом. Мы вышли потрясенные и пешком шли по темной Москве на Поварскую к Самариным. Помню, что всю дорогу у меня текли слезы.

Тут же, после этого свидания, отца перевели в Бутырскую тюрьму. Это считалось облегчением и некоторым успокоением. Вели большую группу арестованных пешком по мостовой, под конвоем, по темным улицам, и, пользуясь задержкой в тесных переулках, отец успел попросить проходивших мимо по тротуару людей сообщить родным на Поварскую о его переводе с Лубянки.

Не успели мы поделиться своими впечатлениями от свидания в ВЧК, как один за другим стали приходить добрые люди с доброй вестью о переводе отца. А ведь в те времена телефоны бездействовали, так же как и транспорт, и надо было пешком пройти не близкое расстояние, чтобы исполнить просьбу заключенного. Помню, что отец со свойственным ему юмором любил вспоминать, как в этот вечер он слышал на улице вопрос маленькой девочки, обращенный к матери: “Мама, а кого это ведут?” — и интеллигентная женщина, мать, ответила: “Это преступники — те, которые убили или ограбили кого-нибудь”.

Так прошла зима, холодная, голодная, темная и суровая, а весна принесла нам неожиданную радость на Пасху. По личному распоряжению Дзержинского по телефону в Великую субботу был освобожден из тюрьмы отец. За него просил доктор Сергей Сергеевич Кедров, работавший с отцом в дни войны в Красном Кресте. Кедров умирал в эти дни от тяжелой болезни и обратился к своему брату, видному большевику, соратнику Ленина (позднее Кедров погиб в сталинскую эпоху). Сергей Сергеевич Кедров просил исполнить его предсмертную просьбу — спа-

сти моего отца. Это и было причиной его освобождения. Этому предшествовали удивительные для стен Бутырской тюрьмы дни Страстной недели. Я привожу здесь письмо отца к нам, написанное в это время:

“Бутырская тюрьма. Великий четверг 4(17)²⁶. 10 вечера: Сегодня целый день прошел в хлопотах. Вчера вдруг решение начальства переменялось, и у нас в одиночном корпусе разрешена Пасхальная служба в 12 час. ночи. Все очень обрадовались, и всякий по своей части стал готовиться — пением, чтением, приготовлением хоругвей, устройством стола для службы, икон и т.п. От Вас все получено, и все глубоко благодарят за хлопоты и все доставленное: теперь все пригодится. Сегодня в 5 часов у нас была всенощная, шла ровно 2 часа (чтение 12 Евангелий. — Е.Ч.); служил архиепископ Никандр²⁷, Н.П.Д. (Николай Добронравов)²⁸, Сергей Иванович Фрязинов²⁹ и еще два священника. Пели недурно, я читал антифоны и стихиры. Во время службы начальник тюрьмы пришел и просил непременно после нашей службы еще идти на общие коридоры; конечно, мы не отказали. Удивительная перемена! То не позволяли, мы же предлагали начать с трех с половиной часов по разным коридорам. Во время же всенощной вызвали священника С. И. Фрязинова, к самому концу он вернулся сияющий, оказалось, что его, Н. П. Добронравова и преосвященного Никандра освободили. Это произвело большое впечатление в связи с только что окончившейся службой. Все подходили, обнимали их, и они, и многие плакали — ведь первые двое 9 месяцев просидели! Меня торопили в это время идти на вторую всенощную, и к грусти для нас выбыл лучший наш певец — тенор Сергей Иванович Фрязинов, да и Николай П. Добронравов отлично служит...

Архиепископ Никандр, получив ордер на освобождение, сказал, что он не хочет разлучаться со своей тюремной паствой в эти дни, и просил разрешить ему остаться до 12 ч. дня первого дня Праздника. Это ему разрешили в виде необычайного исключения, и он теперь уже не арестованный, а гость в тюрьме! Это, говорят, очень многих поразило, и ему за это воздается должная по-

хвала... В Пасху в 12 ч. ночи у нас служба, и мы все надеемся приобщиться, а с 7 утра до 11 ч. все священники из общих камер и наши, и мы, певчие, с ними пойдем опять по общим коридорам, там будет Пасхальная утренняя и причащение желающих. Два священника будут обходить с Чашей, и будет общая исповедь. Вероятно, придется каждой партии обслужить 3 места...”

Отец, так же, как преосвященный Никандр, не ушел из тюрьмы в Великую субботу, он не мог оставить свой импровизированный хор в Пасхальную ночь. Общий подъем был велик. Пасхальный крестный ход шел по всем коридорам Бутырской тюрьмы, это было исключительное торжество Воскресения Христова в условиях тюрьмы. Вероятно, больше это не могло повториться.

Мы, дети, были в Абрамцеве, и к нам добраться до Пасхальной ночи было невозможно, и отец не ушел от тех, с кем мог разделить радость Светлого Праздника.

Наша радость об его освобождении была неопишима, и это было в первый день Пасхи.

Лето прошло в работе по музею³⁰, в которой отец принимал деятельное участие.

Второй арест. 1919 год

В это время шли разговоры о том, что Совет объединенных приходов Москвы, а мой отец был его председателем, будет привлечен к ответственности за антиправительственную направленность и организацию людей, оказавших сопротивление при введении в жизнь декрета об отделении Церкви от Государства. В связи с декретом вскрывались мощи, закрывались монастыри, изымалось некоторое церковное имущество. Возмущения народные и стычки действительно были. Особенно сильно дело разгорелось в Звенигороде, около монастыря преподобного Саввы Сторожевского. Совет объединенных приходов Москвы не имел никакого отношения к Звенигороду и не мог инспирировать этого инцидента. Отец мой всегда считал своим долгом

исполнять требования закона и учить других “неподчинению” власти он не мог. Идеология отца до конца оставалась незабываемой. При этом интересно отметить, что в нем не было узости или косности взглядов, и интерес его к мировым проблемам и событиям не покидал его до самой смерти. Он живо все воспринимал, и помню, что в годы начала коллективизации он развивал мысль о том, что по идее общинное сельское хозяйство есть лучшая форма владения землей. Может быть, это были отголоски славянофильской идеи общинного землепользования в России.

15 и 16 августа — дни праздника в Абрамцеве. 15-го отец был вызван повесткой в Москву, в Прокуратуру, и домой он не вернулся. Арестовано было много людей церковного круга, большинство из них были совсем незнакомы моему отцу и не имели к нему никакого отношения. Только некоторые москвичи — священники отец Сергей Успенский (старший)³¹, отец Николай³², Г. А. Рачинский³³, Н. Д. Кузнецов (юрист)³⁴ — были действительно членами Совета объединенных приходов. Центральными фигурами дела стали мой отец — председатель совета — и его заместитель присяжный поверенный Н. Д. Кузнецов. Дело велось как будто по нормам юридической законности. Прокурором, или государственным обвинителем, был Крыленко³⁵. Были приглашены защитники. Председателем суда был Смирнов, как говорили, бывший пекарь. Слушалось дело при открытых дверях в Октябрьском (малом) зале бывшего Дворянского Собрания — Дома союзов, где еще недавно мой отец был хозяином. Арестованных приводили пешком под конвоем из Таганской тюрьмы. Мне кажется, не меньше недели тянулся процесс. Мы ходили туда ежедневно. Долго шли допросы всех обвиняемых и свидетелей, среди последних помню циничное выступление Демьяна Бедного, который никаким “свидетелем”, несомненно, быть не мог.

У меня есть запись этого процесса, сделанная близким другом семьи Самариных, ныне умершей Анастасией Константиновной Акинтьевской. Приведу выдержки из нее: “Кроме Александра Дмитриевича по тому же делу были привлечены еще какие-то духовные и светские лица, очевидно,

для создания “организации”. Процедура допроса свидетелей и обвиняемых в моей памяти не сохранилась. Помню только, что защитниками ставились вопросы, имеющие целью разбить связь дела Александра Дмитриевича с другими “событиями”. Крыленко, нарушая основные правила слушания дела, своими издевательскими замечаниями с места и вопросами без разрешения председателя суда старался сбить защитников и сорвать то благоприятное впечатление, которое складывалось в пользу Александра Дмитриевича от допроса свидетелей и других обвиняемых.

Наконец, выступил с обвинительной речью Крыленко. Смысл его речи был цинически откровенен. Он сказал, что, конечно, не внешние обстоятельства дела инкриминируются Александру Дмитриевичу, все это не имеет существенного значения. Суть в том, что в то время, как мы — советская власть и пролетариат боремся за уничтожение здесь на земле всяческих предрасудков, сковывающих свободу человека, в том числе и веру в “так называемого бога”, он, Самарин, смеет противостоять революционному движению народных масс и своей деятельностью и личным примером противодействует ему. И напрасно защитники пытались здесь обрисовать безукоризненно “рыцарский” облик Самарина, тем хуже для него, он не “quantité négligeable” (незначительная величина. — Е.Ч.), как прочие обвиняемые по этому делу. Тем-то он и социально опаснее их. А потому приговор может быть только один — высшая мера наказания. Выступления защитников я не помню, возможно, они были бледны, а возможно, внимание сдало в этот момент. Но вот подсудимым дано было “последнее слово”. Александр Дмитриевич говорил после всех. Он сказал очень кратко. Звук его голоса — твердый, мужественный, отчетливый — сохранился в моей памяти. Вот содержание его речи:

“Государственный обвинитель совершенно верно и справедливо сказал, что вменяемые мне в вину нарушения закона, по существу, только повод для привлечения меня к суду как тяжчайшего преступника. Из всего сказанного им следует, что процесс, который здесь разбирался, является не моим личным процессом, не процессом Александра Самарина, а процессом “за Бо-

га” и “против Бога”. И я, пользуясь предоставленным мне словом, открыто заявляю: “Я — за Бога”, и какой бы приговор, вы, граждане народные судьи, мне ни вынесли, я приму этот приговор как приговор свыше, как ниспосланную мне возможность делом подтвердить то, что составляет смысл и содержание всей моей жизни. И об одном лишь буду молиться, чтобы Господь послал силы всем близким мне по духу людям бодро и твердо встретить то, что мне по Божьей воле предстоит. И в их твердости и бодрости я почерпну столь необходимое мне мужество и спокойствие в последние часы моего испытания”.

Эти слова произвели огромное впечатление на слушавших (зал был переполнен), многие плакали. Было очень поздно. Суд удалился для вынесения приговора. Прошло часа 2–3, но никто не уходил. Все напряженно ждали. Говорили, что стараются затянуть оглашение приговора, чтобы в зале осталось как можно меньше народа. Но это не удалось. Наконец часу в третьем утра появился суд.

Здесь я хорошо помню Вас, Лиза, как Вы уткнулись лицом в колени Александры Саввишны и закрыли пальцами уши. После долгого перечисления всех пунктов обвинения последовал приговор: Самарина Александра Дмитриевича — к высшей мере наказания, расстрелу (в зале раздался как бы общий вздох всех присутствующих)... была сделана длительная пауза, потом: “...но ввиду победоносного завершения борьбы с интервентами, суд находит возможным заменить эту меру заключением его в тюрьму впредь до окончательной победы мирового пролетариата над мировым империализмом”.

После окончания всей длинной процедуры чтения приговора нам разрешили подойти к арестованным. Мы кинулись к отцу, и многие с нами стремились подойти, приветствовать, выразить радость, глубокое уважение. Почему-то особенно помню сияющие глаза студента Сергея Алексеевича Мечева³⁶.

Этот памятный день был 2 января, день памяти преподобного Серафима, которого так особенно чтит мой отец.

И еще утром, когда мы все в страхе ожидания шли в Дом союзов, помню моего брата, юного и горячего, бегущего с газе-

той в руках и с радостной вестью о том, что в связи с разгромом интервенции правительство решило отменить смертную казнь. Все же до окончания суда уверенности быть не могло, хоть и появилась надежда.

Имея особую веру и любовь к преподобному Серафиму, отец всегда обращался к нему с молитвой и не раз получал от преподобного утешение и помощь. Отец мой не был из числа тех людей, которые любят говорить о снах и придавать им значение. Но вот сон, о котором он сам говорил с радостью и большой теплотой, как бы о виденном и воспринятом реально. Видел он моего младшего, умершего в 5-летнем возрасте братца Сережу, мальчика, которого особенно все любили за его удивительно отзывчивое сердце и какую-то тонкость душевную... Сережа в этом сне бежал по зеленой лужайке, на солнце, по траве и цветам, и догонял удивительно красивых бабочек, а преподобный Серафим ласково улыбался, глядя на мальчика, как бы охраняя его, и называл: “Сереженька, Сереженька!” Тут же, около, в этом светлом сне была и моя мать в белом платье и радостная. Этот сон был как бы ответом на предшествовавшие размышления отца о словах молитвы “Со святыми упокой”.

Второе общение и помощь от преподобного Серафима моему отцу были также в заключении, в одиночной камере внутренней тюрьмы в 1925 году. В это время он был крайне измучен одиночным заключением и допросами, и сердце стало приходить в упадок, давая тяжелые сердцебиения. В таком состоянии он лежал на койке. Это был день святой великомученицы Варвары, день Ангела его покойной матери. Отец увидел, как согбенный старичок шел от запертой двери, подошел к нему, и он ощутил присутствие преподобного Серафима, который положил ему на сердце кончик своей мантии, и сердцебиение прекратилось, наступил покой.

У моего отца была иконка преподобного Серафима, сопутствовавшая ему во всех арестах и изгнании; и если ее отбирали, то потом опять возвращали ему. Изображение было написано на частице доски гроба, в котором преподобный Серафим лежал до открытия его мощей. Это была небольшая, но очень толстая простая дощечка. Икона принадлежала двоюродной сестре моего отца Ма-

рии Николаевне Ермоловой. Доска была распилена по ее желанию на две равные части, и на второй было также написано изображение преподобного Серафима, которое Мария Николаевна оставила себе, а первоначальную иконку отдала моему отцу, зная его особую любовь к преподобному Серафиму. В день своей смерти отец благословил этой иконой меня.

Многие молитвы из службы преподобному Серафиму отец положил на ноты и любил этим пением почтить преподобного Серафима в день его памяти.

В 1925 году, незадолго до последнего ареста, мой отец совершил впервые путешествие в Саров к мощам преподобного Серафима на праздник 19 июля. Меня он взял с собой, и это одно из самых светлых и прекрасных воспоминаний моей юности. Лето, солнце, жара, бескрайние тамбовские поля, и мы идем пешком от Арзамаса до Сарова 60 верст, оставив все попечения и заботы. Дивеево с его прозрачной чистотой, внутренней и внешней, пленило меня, там мы провели два дня; дальняя дорога через саровский лес, величавый, прохладный, а за ним небольшая речка Сатис, и за ней неожиданно встает перед путниками белый монастырь. Вечером долгая торжественная всенощная, а наутро праздничный звон, несметные толпы народа, множество приехавших издалека, и местные женщины в своей красивой мордовской одежде и ярких разноцветных платках; незабываемое саровское монашеское пение в соборе и после обедни всех объединивший крестный ход с мощами преподобного, которые обносят вокруг собора. Под ноги духовенства, как белые птицы, летят холсты, бросаемые крестьянами. И все это под покровом преподобного Серафима, ради него. И отец мой, такой легкий, полный радости, что он попал к преподобному Серафиму.

После пережитых дней суда началось для отца долгое и однообразное время сидения в Таганской тюрьме.

Хочется еще добавить, что очень многие, кто не был в зале суда, глубоко восприняли весь процесс, стойкость отца, и особенно его последнее слово, как нечто очень значительное для всех православных людей. Знаю, что горячо переживал эти дни отец Алексей Мечев. В последний день суда к нему пришел Сергей Павлович Мансуров³⁷, они вместе молились за моего отца, и

отец Алексей открыл Псалтирь — перед ним были слова 117 псалма: *Не умру, но жив буду, и повею дела Господня*, и отец Алексей утешил Сергея Павловича и окрылил надеждой на благополучный исход.

В Таганской тюрьме отец пробыл два с половиной года. Срок его тюремного заключения “до окончательной победы мирового пролетариата над мировым империализмом” был заменен сначала 25 годами, затем 5 годами и наконец сокращен до половины срока, т. е. двух с половиной лет.

В начале его сидения в Таганке тюрьму как-то посетили члены Коминтерна, их привели в одиночный коридор, где в камерах было по два человека. С моим отцом помещался Владимир Федорович Джунковский³⁸, с которым они всегда раньше были в хороших отношениях, а сидение в тюрьме очень их сблизило. Заключение сами приводили в порядок свои камеры, белили стены и затем устраивались по возможности “уютно”, даже повесили фотографии. Члены Коминтерна, иностранные женщины, стали задавать вопросы заключенным, говорили по-французски. Моего отца спросили, какой у него приговор и срок, и тут произошел забавный диалог: на ответ отца о приговоре и сроке посетительница, член Коминтерна, с недоумением спросила заключенного: “*et quand est ce que cela sera, Monsieur?*” (а когда это будет, месье? — Е. Ч.).

В тюрьме все должны были работать, и отцу предложили быть воспитателем несовершеннолетних преступников — “безпризорных”, которыми был переполнен верхний этаж тюрьмы. Он просил избавить его от этой обязанности, заявив, что воспитывать детей без веры в Бога он считает невозможным. Причина была признана достойной внимания, и вместо безпризорных отцу и Владимиру Федоровичу Джунковскому поручено было ухаживать за кроликами. Они хорошо исполняли свою работу, и кролиководство на участке вблизи Москвы-реки процветало. В том же коридоре по соседству с отцом помещались архиереи: митрополит Кирилл³⁹, преосвященные Феодор⁴⁰ и Гурий⁴¹ (с которым позднее отец попал в ссылку в Якутск), отец Георгий⁴²,

бывший потом известным духовником в Даниловском монастыре, к этому времени уже долго сидевший в Таганке под смертным приговором, и многие священники. В своей камере архиереи совершали все церковные службы, и отец принимал в этом посильное участие пением и чтением. Заключенные могли общаться, ходить друг к другу. Были там и многие знакомые отца. Каждое воскресенье давались свидания. Мы приезжали из Абрамцева. Ходили, кроме нас, и многие близкие. Свидания бывали в благоприятных условиях — в конторе, где можно было сидеть подолгу вместе, но бывали времена, когда начинались строгости и свидания давались в тюремных условиях, через загородки в коридоре и даже через решетки.

В Таганке, зимой, отец серьезно болел воспалением легких. Друзья окружили его заботой и постарались не отпустить его в тюремную больницу, где в те времена голода и холода были тяжелые условия. Помню, что как-то к нам на свидание вместо отца вышел митрополит Кирилл, чтобы рассказать нам об отце и успокоить нас.

В марте 1922 года отец был освобожден без всяких ограничений, и опять перед Пасхой, к нашей огромной радости, он приехал в Абрамцево.

Жизнь в Абрамцеве. Отдых

Три с половиною года прошли для нашей семьи без бурь. Отец много сил и энергии вложил в работу музея, на нем лежали все заботы по ремонту музея; он водил экскурсии, и, конечно, это ему удавалось прекрасно. Дома он стремился во всем помогать и делал все так, как будто это было для него самым обычным, знакомым делом: после чая он всегда мыл посуду (так и вижу его в очках, с полотенцем, перекинутым через плечо), он работал в огороде, колот дрова и чистил стойло коровы. Летом отец носил теперь парусиновые блузы, а в холод — суконный желтый пиджак, очень несовременно сшитый мною, и на голове черную профессорскую шапочку.

Много людей жило тогда по летам в Абрамцеве, состав летних жителей менялся: жили Кончаловские (Петр Петрович с семьей), артист Вишневецкий с семьей, С. П. Григоров с семьей (он был тогда заместителем Троцкой, возглавлявшей охрану памятников старины), Сабашниковы (очень известные в Москве своими прекрасными изданиями), композитор С. Н. Василенко, профессор Шамбинаго⁴³ и многие другие. Отец со всеми легко общался и даже помню веселый вечер в поленовском домике, где жили Василенко и Шамбинаго. Ставились шарады, все принимали участие, и даже мой отец, к общему удовольствию, выполнял какую-то роль.

Музей устраивал выставки, особенно запомнилась мне посвященная памяти Е. Д. Поленовой⁴⁴ — 25-летию со дня ее смерти. Для собирания материалов к выставке отец ездил в разные музеи, был в Бехове у Поленовых⁴⁵, о чем впоследствии очень хорошо вспоминала Ольга Васильевна⁴⁶, говоря, что только в это время она поняла, как просто и интересно было общаться с моим отцом ей, тогда совсем молодой.

В абрамцевской церкви в праздники бывала служба, и наш хор процветал, мы даже пели венчание Леонида Леонова, который женился на дочери издателя Сабашникова. Помню, что на свадьбе были И. С. Остроухов⁴⁷ и Г.А. Рачинский.

Хочется еще сказать здесь, что в эти годы житья в Абрамцеве и будучи на свободе, а также и в заключении, в Бутырской тюрьме, отец умел и любил общаться с подростками и молодежью. Мне говорили об этом теперь люди моего поколения, их удивляло, что такой старый, по их мнению, и уважаемый в их семье человек оказывался таким простым и интересным собеседником. Алеша К.⁴⁸ из семьи, которую отец мой очень любил, жил по летам в Абрамцеве, и, по его словам, именно отец мой уделял ему больше всего внимания, и он, мальчик 9–10 лет, проще всего чувствовал себя с ним. Отец много с ним разговаривал, но и дисциплинировал его. То же говорил К.Н.Г.⁴⁹, бывший в то время юношей и попавший в Бутырской тюрьме в общие условия с моим отцом. Он был удивлен, как просто и интересно было разговаривать с моим отцом, и как он умел своей манерой говорить, своим примером поднять дух.

Третий арест. 1925 г., Якутия

Милое, милое Абрамцево! Мог ли другой дом быть более уютным, родным, теплым, чем этот старый дом! Сколько прекрасных, высоких по духу и талантливых людей видел этот дом в своих стенах — Аксаков, Гоголь, Хомяков, Ю. Самарин, Тургенев, Щепкин, а позднее Савва Иванович и Елизавета Григорьевна Мамонтовы, а с ними братья Васнецовы, Поленовы — брат и сестра, Репин, Суриков и молодые Серов, Врубель, Нестеров, Коровин! Полная интересов в искусстве и добрых стремлений жизнь в Абрамцеве была ключом, увлекаая всех, давая новые жизненные силы и энергию, раскрывая таланты. Все это было и ушло, оставив прекрасный след...

И вот что вспоминаю я сегодня. Прошло с тех пор ровно 42 года. Была глухая, темная, бесснежная осень 1925 года. Земля замерзла, но не покрылась снегом. Ночи стояли темные и мрачные. В такую ночь раздался резкий стук в двери дома. Обыск... Чужие, чуждые люди пришли за моим отцом. Зажгли убогие керосиновые лампы, началось хождение по темному холодному дому. Мы жили тогда в разных концах дома, отапливались отдельные комнаты — оазисы. Музей занимал большую часть низа и на зиму был закрыт. Обыск... Что может быть отвратительней враждебных, чужих глаз и рук, имевших право пересматривать все самое дорогое и заветное. Кто не испытал это, тот не поймет всей унизости, которую чувствует человек при виде этих рук и глаз, проникающих в его жизнь... Ночь на исходе. Люди кончили свое “дело”. Отец готов идти. Почему-то в памяти не сохранилось минуты прощания в эту ночь. Может быть, потому, что мне разрешено проводить отца до станции Хотьково.

Мы идем по такой знакомой, замерзшей дороге в Хотьково. Сколько раз ходили мы вместе, вдвоем, в столь любимый нами Хотьков монастырь. Папа всегда впереди, высокий, легкой и быстрой походкой, я за ним почти вприпрыжку и тоже легко и радостно. Хотьков мне второй родной дом. Как любили мы монашеское стройное пение, чинность службы, необычайную чистоту-сияние в храме. В эту ночь мы шли молча, окруженные конвоем, чужими

людьми. Вот и станция. Сидим в столь знакомом с детства станционном “зале”. Молчание. Подходит поезд из Сергиева посада. Я отхожу в сторону. Что в это время в душе! Расставание с отцом уже не первое... Знаю, что с этим поездом может приехать из Посада брат Юша⁵⁰, а его тоже хотели взять. Не отрывая глаз, смотрю на вагон, в котором скрылся отец. Стою, прячась, прижавшись к дереву у края платформы, и вижу быстродвигающуюся фигуру Юши. Он вышел из соседнего вагона и, к счастью, не видел отца. С его порывистостью, он кинулся бы к нему. Поезд отходит, и я бегу за Юшей по направлению к дому, чтобы сказать ему тяжелую весть.

В этот день, вернее в эту темную, мрачную, ноябрьскую ночь, отец ушел из дома навсегда, а для нас ушел из жизни родной, милый абрамцевский дом. Все, что было после этой ночи, было как бы тяжелым эпилогом нашего милого Абрамцева.

Зима прошла в хождениях с передачами во внутреннюю тюрьму ГПУ на Лубянку и в Красный Крест, где была слабая надежда узнать что-то новое; тут был добрый гений — Екатерина Павловна Пешкова (первая жена Максима Горького), она и все ее окружение стремились помочь приходящим к ним в горе, если не делом, что было часто невозможно, то словом утешения, надежды и добрым отношением.

Пришла весна, и с ее приходом дело сдвинулось с мертвой точки. В Красном Кресте помощник Пешковой — юрист Винавер, сам погибший в 1937 году, читал всем родственникам приговор, вынесенный арестованным по этому большому церковному делу, во главе которого были митрополит Петр Крутицкий (Полянский)⁵¹, митрополит Кирилл, — Соловки, Туруханск, пещи Средней Азии, а для двоих — холодная, далекая, тогда малодостигаемая Якутия: туда были назначены архиепископ Гурий, в то время Иркутский, и мой отец. Срок был дан 3 года. Наступает наконец перевод в Бутырскую тюрьму, а с ним и долгожданное свидание. Помню воскресное утро, переполненные ожидающими коридоры тюремной приемной. Множество знакомых лиц среди ожидающих и, наконец, свидание с отцом, который пробыл 7 месяцев в недрах Лубянки. Свидание по всем правилам

тюрьмы. Две деревянные перегородки тянутся вдоль длинного коридора параллельно, в них окна одно против другого. С одной стороны у каждого окна заключенный, с другой — пришедший к нему близкий, а в узком пространстве между перегородками бдительный страж ходит взад и вперед. Срок свидания очень короткий. Все волнуются, хотят многое услышать и сказать. Стоит невообразимый шум и крик.

Как изменился отец! Бледный, отекший, землистого цвета лицо, обросшее широкой бородой. Глаза, полные напряженности. Он ничего о нас не знает. Ему говорили на следствии, что сын, брат, сестры — все арестованы. Сейчас снимается гнет, давивший сердце за близких. После допросов, видимо, наступало предельное изнеможение. Только твердая вера и обращение к помощи Божией помогали в это время.

Приговор отцу известен. Я твердо заявляю о своем намерении ехать с ним, и слышу от него решительный отказ. Только через несколько дней, при свидании с дядей Сергеем Дмитриевичем и тетей Анной Дмитриевной, вследствие их просьбы не огорчать меня, отец согласился, прибыв на место ссылки и оглядевшись, написать о своем решении.

Проводы были под Троицын день вечером. Такой знакомый с детства Ярославский вокзал, построенный когда-то моим дедом Саввой Ивановичем Мамонтовым. Там всегда висел его портрет работы Цорна, и такие значительные и знакомые северные панно Константина Коровина и Серова. Что-то было тоже свое и родное в этом вокзале, с которого ехали в Абрамцево. Сейчас напряженное ожидание целой толпы близких, пришедших ловить минуту отправки арестованных. Эшелон специальных “столыпинских” вагонов стоит прямо у перрона, как обычный поезд дальнего следования. И вот во дворе вокзала “черные вороны” выпускают одного за другим толпу арестованных, с мешками за плечами, с узлами в руках, в разных одеждах, часто зимних (в середине лета). Толпа эта выстраивается и под конвоем проходит мимо тех, у кого разрывается сердце от боли и стремления броситься к своему близкому узнику, увозимому в полную неизвестность. Вот идет рядом архиепископ Гурий, строгий ученый

монах, в черном подряснике и скуфье, в темных очках, еще не старый, небольшого роста, аскетически худой, а рядом Папа — высокий, худой, благообразный старик, обросший седой бородой, нагруженный мешками, с взволнованным лицом, он ищет глазами в толпе нас — близких, а нас было много и среди родных, на руках у своего отца⁵² был даже маленький Сережа (Сергеевич) двух лет. Видимо, это доставило радость отцу, потому что в первой открытке с пути он пишет: “Какой миленький маленький Сергей Сергеевич, мне было так отрадно видеть его детский чистый привет” (25 июня 1926 г. из Перми).

Вскоре мы видели лица архиепископа Гурия и отца у окна вагона. Удастся крикнуть несколько слов, и все... Дальше неизвестность, томительное ожидание. Помню, с вокзала мы с тетей Шурой пошли к Васнецовым. Уже поздно. Летний теплый вечер, ворота строгого дома заперты. На наш звонок быстрым легким шагом подходит к калитке и отпирает сам Виктор Михайлович. Он ждал нас, и столько любви и горячего порыва было в его вопросах. Виктор Михайлович любил и уважал моего отца и сейчас всей душой разделял его подвиг. Это было последнее наше свидание с Виктором Михайловичем. 10 июля 1926 года он скончался.

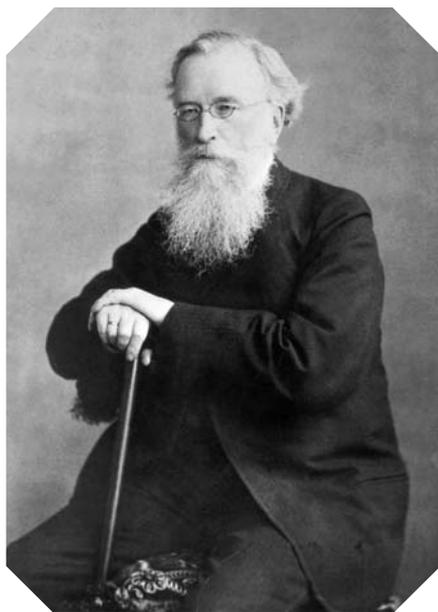
Как у библейского Иова, отнималось у отца постепенно все или многое из того, к чему было привязано на земле его сердце любовью — большой и прекрасной, но все же земною. Вначале смерть моей матери и чудесного по душе сына Сережи, а затем революция, сломавшая его жизнь и деятельность, которой он был предан и увлечен. Все принял он с глубочайшей верой в Промысл Божий, с настоящим, искренним смирением. В письмах последних лет к нам, детям, и к нашей тете, воспитавшей нас и заменившей нам мать, отец открывается как человек высокого духовного строя, всегда бодрый, не теряющий интереса к жизни, но, как истинный христианин, в себе постоянно видящий недостатки, себя укоряющий, а нам, детям, дающий не только пример, но и указание к подлинно христианской жизни.



Варвара Петровна Самарина (урожд. Ермолова)



Дмитрий Федорович Самарин

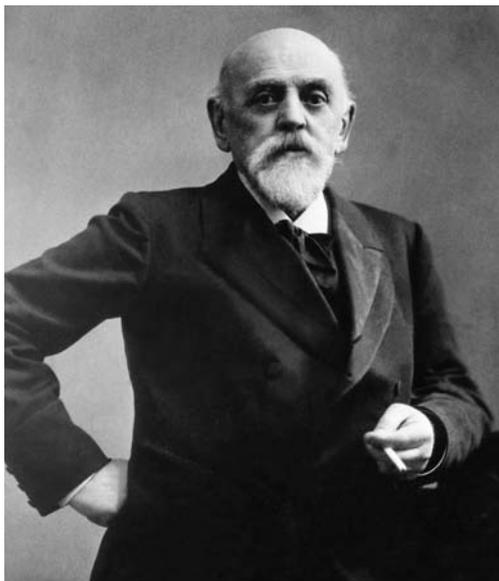




Елизавета Григорьевна Мамонтова с внуком Сергеем Самариным
1907 г.



Савва Иванович Мамонтов.
1910 г.





В верхнем ряду: слева Александр Дмитриевич Самарин — студент, справа — Вера Саввишна Мамонтова в юности (после болезни)

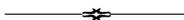


В. А. Серов. “Девочка с персиками?”
(Портрет Веры Саввишны Мамонтовой).

1887 г.



На верхней фотографии — имение Самариных на Волге
Васильевское. Главный дом (арх. М. А. Дурнов).
1891 г.



Фотография внизу: М. А. Дурнов, А. Д. Самарина, Д. Ф. Самарин,
Ю. Д. Самарин, В. П. Самарина, С. Д. Самарина, А. Д. Самарин (стоит).
Имение Васильевское



Александр Дмитриевич
Самарин.
1891 г.



А. Д. Самарин
(в центре за столом) —
земский начальник
в дер. Дьяково
Бронницкого уезда.
Около 1896 г.





А. Д. и В. С. Самарины накануне свадьбы. Рим.
1902 г.



А. Д. Самарин на о. Корфу (во время свадебного путешествия)





Верхняя фотография: А. Д. Самарин
с дочерью Елизаветой.

1906 г.



Фотография в центре: Елизавета,
Сергей и Юрий —
дети А. Д. и В. С. Самариных .

1909 г.



Фотография справа:
Елизавета и Юрий Самарины
в Измалково





Вера Саввишна
Самарина на Волге



Абрамцево.
Панихида на могиле
Веры Саввишны
Самариной.

1907 г.





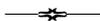
Александра Саввишна Мамонтова.
Абрамцево.
1918 г.





На верхней фотографии слева направо: А. Д. Самарин,
А. С. Мамонтова и Е. Г. Мамонтова. Абрамцево.

1910-е гг.



А. Д. Самарина с племянницей Елизаветой.

1906 г.



В верхнем ряду
слева —
Федор Дмитриевич
Самарин,
справа —
Сергей Дмитриевич
Самарин



На фотографии
внизу —
Петр Дмитриевич
Самарин





Представители московского дворянства на Романовском юбилее в 1913 г. Слева направо: граф С. Д. Шереметев, А. Д. Самарин, А. К. Варжаневский



Санкт-Петербург. Здание Св. Синода.
Начало XX в.





Александр Дмитриевич Самарин.
Около 1915 г.





Берега реки Лены



А. Д. Самарин
с дочерью Елизаветой в ссылке.
Якутия.
1927 г.





Александр Дмитриевич Самарин в Якутии



Якутск, кафедральный собор.
(дореволюционная фотография)





Панихида на могиле А. Д. Самарина в Костроме.

1933 г.



Могилы Самариных (в ограде): в центре могила
Антонины Николаевны, справа от нее — могила Федора Дмитриевича,
слева — их сына, Дмитрия Федоровича.

Слева от могилы Самариных — два серых креста над могилами
Трубецких. Москва, Донской монастырь



1926 год. Этап от Москвы до Якутии

Долгое и трудное путешествие “этапом” началось 20 июня 1926 года. От Москвы выехали отец и преосвященный Гурий в “столыпинском” вагоне (эта система вагона для перевозки заключенных была изобретена во времена министра Столыпина и сохранила за собой его имя) в одном купе, но, конечно, кроме них, купе было переполнено свыше меры другими спутниками-арестованными. Погода летняя, жаркая, теснота и духота.

С 22 июня отец постоянно писал письма (сначала открытки) мелким, аккуратным почерком, химическим карандашом (полустертые теперь). Во всех больших городах арестованных вели в тюрьму, в город, а через несколько дней — опять на железную дорогу, в вагоны, уже часто просто товарные. Письма со штампом цензуры приходили из Перми (22–28 июня), из Омска (1–6 июля), из Новосибирска, из Красноярска (20–24 июля), из Иркутска (29 июля), а затем уже с Лены — из Качуга (4–6 августа) и Жегалова (10–14 августа). Из этих писем впервые знаем мы о заключении в одиночке на Лубянке, о трудном душевном состоянии в связи с допросами, об углубленной молитве, укреплении и успокоении в ней.

В вагонах, в тюрьмах, во время этапа отец был все время вместе с преосвященным Гурием. Несмотря на тесноту и шум, их окружавший, они вычитывали ежедневно вместе богослужение, многое на память. Отношение окружающих заключенных было “предупредительным”, как определяет отец; он среди всех был по возрасту самым старым, ему было 58 лет.

По некоторым письмам этого периода становится ясным, что во внутренней тюрьме на Лубянке были очень трудные дни для отца. Некоторое время после длительного одиночества в камеру был посажен заключенный, по-видимому, “наседка”. Этот человек был хорошо осведомлен в вопросах, интересовавших отца, и между ними возникали оживленные разговоры, и отец, увлекаясь, упоминал имена некоторых знакомых людей, связанных с церковными делами. На допросах (после этих дней) по ряду задаваемых вопросов и упоминаемых имен у отца создалось впечатление, что он подверг этих лиц преследованию и по его вине они арестованы. Возвращаясь

с допросов в камеру, где он опять был один, он бесконечно ходил из угла в угол и вполне логично доказывал сам себе, что бывший с ним заключенный — “наседка”, что отец подвел этих названных им людей, что все они по его вине арестованы. (Впоследствии выяснилось, что все было благополучно.) А потом, продолжая хождение из угла в угол, он также логично доказывал себе обратное: что союзник его человек вполне порядочный, что упоминание этих лиц на допросах не связано с ним, и так далее...

Привожу дальше отдельные места, а иногда полный текст писем.

6 июля из Омска отец пишет мне по поводу сидения во внутренней тюрьме.

“Кажется, я никогда в жизни так не страдал душой, но когда Господь давал мне силу молитвы, я так укреплялся, что сразу успокаивался и начинал верить, что если даже суждено этим лицам и мне страдать, то значит такова воля Божия...” Когда все эти волнения отпали, то “...ссылка и все с ней связанное показалось мне таким легким по сравнению с тем гнетом, который тяготил бы меня во всю жизнь. Велика милость Божия и какова сила молитвы! Благодарение Господу! Как рад я был, что самые тяжелые минуты по душевному настроению я был один!... В одиночке я много молился и не замечал, как проходит время; я читал все церковные службы и утром и вечером, утренние и вечерние молитвы (все по памяти. — Е.Ч.), очень распространенной молитвой за всех родных, близких, живых и умерших”.

Незадолго перед смертью, уже в Костроме, отец поделился с племянницей, приехавшей к нему, Марией Федоровной Мансуровой⁵³, той удивительной реальной помощью, которую он получил из иного мира, — это было на Лубянке, в одиночке, после допросов: он молился напряженно, и вблизи он ощутил присутствие монаха-схимника, “возможно Александра Невского”. Он видел неясный образ, который при усилении молитвы прояснялся, при ослаблении — как бы затуманивался.

В Красноярске было объявлено преосвященному Гурию и моему отцу о назначении их обоих в Якутию. По приезде в Иркутск произошел весьма занятный эпизод. Архиепископ Гурий был в это время Иркутским, но по тем временам не удивительно,

что ему и не пришлось ни разу быть в своей епархии. А тут, когда этап шел пешком по городу от вокзала до тюрьмы, он был встречаем у каждой приходской церкви колокольным звоном. Это было не в часы, возможные для богослужения, и первый же звон обратил на себя внимание шедших заключенных. Отец с уверенностью сказал: “Владыка, это ведь Вас встречают”. Тот был озадачен и смущен. Все заключенные, в большинстве своем евреи (это было время постепенной ликвидации НЭП’а), тоже поняли торжественный звон и с интересом отнеслись к необычайной встрече заключенного. Никаких неприятных последствий из этого события не получилось. Владыка Гурий в Иркутске получил большие передачи от приходов и, конечно, делился ими с окружающими заключенными. В Иркутской пересыльной тюрьме преосвященный Гурий и отец мой оказались вдвоем в маленькой одиночной камере и отдыхали “от ужасного шума, тесноты и ругани общих камер на этапе”. Так всегда, спустя время, в письмах упоминалось о тех трудностях, о тех мучительных сторонах этого путешествия, которые сначала отец замалчивал, чтобы не волновать нас.

29 июля 1926 года отец пишет из Иркутска:

“Только что отправил Вам телеграмму и начал писать письмо в неизвестности, когда мы поедем в Якутск, как в камеру пришли два представителя от ГПУ и сказали, что если мы желаем ехать за свой счет, то нас отправят через 4–5 дней с партией человек в сто, едущей до города Киренска на автомобилях (верст около 300), а дальше на пароходе по реке Лене до Якутска. Стоимость проезда с человека от 50 до 75 рублей. Как мне ни тяжело просить у Вас денег, да еще таких больших, притом не на прожитие, а на дорогу, все же решил сегодня же послать Вам срочную телеграмму о высылке по телеграфу в местное ГПУ на мое имя 100 рублей. Если ехать не за свой счет, то приходится все 300 верст идти пешком за подводой, на которой везут вещи, быть в пути не менее двух недель, с остановкой по этапам. Это, конечно, было бы тяжело, особенно если будет стоять сильная жара, как теперь. Да, кроме того, обычные этапы здесь редки, так что, может быть, пришлось бы здесь сидеть довольно долго. Мой спутник (Владыка Гурий) решил ехать за свой счет... До сих пор

все время здоров, духом не падаю и укрепляюсь общей молитвой, дай Бог, чтобы так было и дальше... Придется купить шубу и шапку, говорят, что это обойдется рублей в тридцать... Единственно, что хотелось бы иметь: Ирмологий, Псалтирь, учебный Октоих, хотя бы одну книгу Епископа Феофана (Толкования), кроме того, прошу переписать из Евангелия указатель Апостольских чтений. Евангельские чтения я списал в пути, а Апостольских у меня нет. Милые мои, живу мысленно с Вами и переносюсь постоянно к Вам настолько, что как-то не чувствую и не сознаю, что нахожусь в далекой Сибири. Не сокрушайтесь обо мне и не беспокойтесь так обо мне, по милости Божией переносу все легко и благодарю Бога за все, за Его великую милость ко мне во время моего сидения в тюрьме”.

Последние мысли и чувства повторяются и звучат постоянно в письмах отца в это трудное для него время, так же, как просьба не высылать ему денег. Из Иркутска “на свой счет” выехали 2 августа 26 г.

Вот письмо с пути от 4 августа:

“Мы выехали на грузовых, закрытых брезентом автомобилях часов в 11 вечера, было очень тесно и тряско. Часа в 4 утра остановились в большом селе, а теперь даже преобразованном в город Усть-Орда с бурятским населением. По большому Якутскому тракту к Лене большое движение, и в деревнях много постоянных дворов; выехали дальше часов в 11 утра. Было очень жарко, но еще больше пыльно. Остановились в 3 часа, из-за жары, опять на постоялом дворе до 9–10 часов вечера, проехали до 4 часов утра и опять остановились до 10 часов утра, а затем в 1 час дня приехали в Качуг на Лене, но еще настолько мелкой, что плавают только большие лодки. На днях, может быть, завтра, мы поплывем вниз по Лене на большой лодке, около 500 верст до Усть-Кута, а там уже сядем на пароход или пассажирскую баржу, которую поведет пароход до Якутска.купаемся здесь в Лене, вода на редкость чистая и не холодная, так как очень мелко. Мы разместились по разным домам... Всюду очень чисто, и хозяева наши очень любезны. Ночевали на дворе, в амбаре, и после двух бессонных ночей на автомобилях очень хорошо выспались... Здесь местность очень

красивая — кругом горы, покрытые лесом. Село разделяет на две части Лена, с паромным перевозом. На противоположном берегу от нас — церковь и базар. Лодки, на которых здесь везут, большие дощаники, середина их крыта тесом — круглой крышей... Обо мне не беспокойтесь, я здоров и бодр, а в жизни и смерти волен Бог”.

В августе, из того же Качуга, в дни ожидания отплытия, отец пишет очень длинное письмо, обращенное ко мне. Он говорит о сложности и трудности пути, о страхе за меня в связи с моим намерением ехать к нему, о стоимости путешествия от Москвы до Якутска (около 200 руб.). Необычайно ласковые и нежные слова и желание не огорчить меня, не обидеть, но убедить в невозможности поездки.

10 августа из села Жегалова на Лене — следующее письмо:

“7-го августа мы отплыли на лодках (из Качуга), вся партия около 120 человек, есть жены с детьми — все евреи. Партия идет до города Киренска (на Лене), около 1000 верст от Иркутска, только двое в Якутск (преосвященный Гурий и мой отец. — Е. Ч.). Плыдем в 5-ти лодках-дощаниках. Течение Лены медленное, около 4-х верст в час. Берега поразительно красивые, и все время развертываются разнообразные картины, одна другой лучше: то река совсем суживается и течет между почти отвесных гор красного песчаника, причем горы покрыты лесом — береза, ель, сосна, лиственница, кедр, — то появляются дали, но тоже гористые — несколько планов гор, покрытых лесом разных оттенков; деревень много; дома деревянные, не очень богатые, но всюду, где приходится останавливаться, меня поражала чистота, — полы вымыты и в избах покрыты сухим сеном, печи выбеленные, скамьи и столы чистые, на дворе хозяйственность: плуги, косилки, веялки. В других условиях такое путешествие было бы одно удовольствие. Для ускорения движения мы все гребли и отпихивались большими шестами. Утром и вечером купались на стоянках. Погода отличная, днем даже слишком жарко, и раз только нас застала гроза сильная”.

Плыли трое суток. “Церквей мало, но некоторые красивой архитектуры, например в Верхоленске. В общем же, красота удивительная и не чувствуется пустынности, всюду чувствуется заботли-

вая человеческая рука... Лодка от Качуга была нанята только до Жегалова, это большое пыльное село с пристанью. Как-то мы поплывем дальше — неизвестно: по случаю мелководья сюда не доходят даже маленькие пароходы, которые тащат на буксире лодки, и, вероятно, нам придется и дальше плыть просто по течению на лодках. Сегодня мы перешли на постоялый двор, здесь очень чисто, семья патриархальная, за стол садятся вместе с работниками 25 человек. Глава семьи еще не очень старый, бодрый и рассудительный... тип, непохожий на наших абрамцевских соседей. Чувствуется и свобода, и самобытность, и большая воля”.

14 августа 1926 г.:

“Завтра, наконец, мы выезжаем отсюда, опять на лодках по Лене до Усть-Кута. В пути будем не менее пяти суток, так как придется проплыть верст триста пятьдесят. Там предстоит ждать парохода дня четыре; говорят, отходит он 24 августа; в город Киренск доберемся 26-го, а дальше что с нами будет — неизвестно, т. е. сразу ли нас двоих, на том же пароходе, отправят дальше до Якутска или высадят в Киренске — неизвестно.

Здесь со всей партией 120 человек, только три конвоира. В лучшем случае мы попадем в Якутск 3-го сентября”.

20 августа 26 г. письмо из Усть-Кута:

“Вчера мы приплыли сюда, закончив свое путешествие на лодках. Плыли от Качуга до Жегалова около 3 суток, погода была хорошая. В Жегалове были 5 дней; отплыли 15-го и плыли скорее, так как разъединили все пять лодок; гребли по очереди по полчаса, ночевали с 7 часов до 4-х часов. Один день и ночь были ненастные, и мы сидели и спали под крышей на лодке; один раз после дождя ночевали в селе, в чистой избе, а две ночи я оставался на лодке, где было, правда, холодно, но зато спокойно и не нужно было таскать вещи”.

21 августа, Усть-Кут:

“Сейчас в Усть-Куте садимся на пассажирскую баржу, которую потянет пароход. Мы сидим всей партией в высоком светлом трюме, как было раньше на волжских пароходах. Через двое су-

ток, т.е. 23 августа, будем в Киренске. Когда нас двоих отправят дальше, — не знаем, может быть, тут же, а, может быть, и через несколько дней. Погода — чудная, но ночи уже свежие, баржа отапливается и освещается электричеством”.

“24-го августа, из газеты “Иркутские Известия”, узнал о кончине Виктора Михайловича Васнецова († 23 июля 26 г.)⁵⁴”.

Из Киренска в Якутск Папа и преосвященный Гурий были отправлены без замедления с тем же пароходом, только уже не на пассажирской барже, а по-видимому, в 3-м классе, без всякого конвоя (есть фотография, сделанная одним геологом на палубе парохода). Дальше идет первое письмо из Якутска.

И вот — первое письмо из Якутска.

“11 сентября, Якутск. Милые все дорогие мои, в день приезда сюда я наскоро написал два слова с отходившим обратно пароходом, надеюсь, что Вы получите это письмо и посланные раньше из Иркутска, Качуга, Жегалова, Усть-Кута, г. Киренска. Приехали мы сюда 2 сентября (20 августа по ст. ст.); у парохода были встречены высланной лошадейю в пролетке от церковной общины. В тот же день я послал телеграмму, по-видимому, она попала неудачно, когда повреждена была линия; я долго ждал ответа и только в среду, 8 сентября, получил перевод на 100 рублей. В день приезда мы были в здешнем ГПУ; прием был очень любезный, нам сказали, что мы, верно, утомились после долгой дороги и потому можно неделю отдохнуть и устроиться, а через неделю, когда мы придем, сказали — “установятся наши взаимоотношения”.

Казалось, что как будто имеют в виду возможность оставить нас здесь. Когда мы пришли третьего дня, нас опять-таки приняли очень любезно и по тону разговора (необходимость раз в неделю являться, право владыки служить в церкви, предоставление нам права поступать на службу или искать других занятий, обещали платить кормовые деньги — сколько, еще неизвестно) казалось, что, значит, мы останемся здесь. Но вдруг, под конец разговора, было сказано очень категорически, что один из нас должен будет отсюда уехать и будет поселен не в глуши, не в деревне или селе (по-здешнему, “наслег” и “улус”), а в городе,

где есть храм, медицинская помощь и другие культурные условия; может быть, отправка произойдет еще с пароходом, а может быть, по первому санному пути, т.е. примерно во второй половине октября старого стиля.

Здесь нет вообще колесной езды по трактам, летом ездят верхом и вещи возят во вьюках на лошади, а зимой езда на саниах. Так как к северу по реке Лене и Вилюю только один город Вилюйск, в который могут отправить, назад же по Лене только город Олекминск, в который, говорят, не пошлют, а другие города, Верхоянск и Колымск, не имеют связи по реке с Якутском, то нужно думать, что намечен город Вилюйск, в расстоянии 550 верст от Якутска, но только туда бывают три пароходных рейса по Лене и Вилюю; теперь же больше уже не будет отсюда рейса в Вилюйск, и значит, во всяком случае, нужно думать, что до половины октября мы останемся здесь, хотя тут же было сказано, что о том, кто из нас должен будет уехать, куда и когда, нам будет объявлено в недалеком будущем, но заблаговременно до отъезда, чтобы мы имели возможность как следует собраться.

Слухов о нас здесь ходит много; наш приезд сюда, по-видимому, возбуждает интерес, тем более, что здесь уже давно (с революции) не было ссыльных, а мы к тому же персонально обращаем на себя внимание. По этим слухам, будто бы вышлют Владыку, а меня оставят. Я лично совершенно не боюсь дальнейшей отправки: вижу, что Господь не оставляет нас Своей милостью всюду; всюду посылает нам добрых людей в помощь, так что и в Вилюйске я не пропаду, а быть от Вас в 8000 верст или на 550 верст дальше, уже мало разницы, но скорбно очень, что будем мы оба разлучены; я лишусь не только ценного спутника, но и ценного в нравственном отношении союзника, а что еще важнее — лишусь ежедневной совместной молитвы и богослужения домашнего. Правда, здесь я могу ходить в церковь, но домашняя будничная служба больше дает поддержки. Ну, что же делать, так Богу угодно!

Так как почему-то нам еще не объявили окончательно, кто, куда и когда должен уехать, то мы думаем, что, может быть, этот вопрос еще не решен окончательно, и по слухам, оно так и есть, т. е. будто бы в советских кругах мнение об этом расходится.

Здесь, между прочим, есть ряд учреждений научного характера: музей, архив, исследовательское общество. В этом обществе есть лица, знающие Владыку по Казанской Духовной Академии; они охотно поддержат нашу просьбу о предоставлении нам занятий в архиве. Владыка, по своей службе, имел близкое отношение к изучению калмыков, бурят и, отчасти, якутов, я же, конечно, мог бы попасть только в сотрудники по технике архивной работы, и как будто мне легче, чем ему (мешает сан) получить небольшую должность с 1 октября. Он, впрочем, и не хочет иметь должности, а хочет просто работать безвозмездно.

Я бы очень рад был иметь заработок, но одно меня смущает, что я в большие праздники, на Страстной лишен был бы возможности бывать в церкви по утрам. Вопрос о том, разрешит ли нам местная власть работать в архиве, решится на днях, так как мы уже подали официальное заявление о допущении нас к работе. Со стороны ГПУ препятствий нет, но вообще советская власть очень строго относится к допущению кого бы то ни было в архивы, так что, может быть, к нам эта строгость будет еще больше.

Другое, что мне представляется и что, конечно, мне больше по душе, — это служба при церкви в качестве псаломщика. Здесь 4 открытых церкви: собор, два прихода и на краю города кладбищенская. Первый — самый лучший храм во всех отношениях, но там нет, кажется, такой нужды в псаломщике, так как эту должность исполняет один сельский батюшка, здесь живущий, а в двух других священники как будто склонны к новшествам, хотя, правда, открыто не переходят в обновленчество и, говорят, от него отрещиваются. Здесь, между прочим, нет ни одного диакона, и был разговор обо мне на эту должность.

Ждут сюда нового викарного епископа, который, по слухам, посвящен в Нижнем и уже едет, а настоящий здешний архиерей был в Соловках, по отбытии наказания жил в Москве, а теперь, по слухам, опять выслан в Тобольскую губернию. Владыка Гурий служил 26-го попросту, а сегодня, с разрешения ГПУ, данного и ему и общине, служил всенощную и завтра будет служить обедню. Собор здесь очень хороший, поместительный, светлый и в большом порядке, благодаря священнику и приходскому совету, и, конечно, особенно женщинам. Он екате-

рининских времен, иконостасы синего цвета, а орнаменты золотые, очень стильные. Жалко, что я не умею рисовать; думаю, что Шуре⁵⁵ понравился бы этот стиль. Мы были в церкви на следующий же день по приезде. Вы поймете, что я испытал, войдя в церковь и стоя за службой (обедня), после всего пережитого и после того, что 9 месяцев я не был в церкви! В пути, в Усть-Куте, в Киренске и Витиме мы не ходили в церковь, хотя и была служба, так как там все обновленцы. На другой день, в субботу 22-го, я причастился, и так на душе было хорошо, легко и отраднo, а еще больше хотелось молиться за Вас всех... Служат здесь очень усердно, можно упрекнуть в слишком большой тягучести, особенно в праздники, из-за певчих; хор довольно хороший, руководит им очень умело настоятель собора, такой любитель этого дела, что он все и вся забывает, когда поет, и готов без конца петь.

Заботу о нас здесь проявляют самую горячую и прямо трогательную добрые люди; все исходит из соборной общины; сразу нам предоставили помещение, правда временное, но и дальше уже намечается постоянное. Живем мы при ресторане, т. е. на одном дворе с рестораном, в верхнем этаже; под нами амбар и погреб, а у нас только что отделанные летние номера, очень простые, но вполне чистые. Отопиться там совсем нельзя, так как нет печей, а пока можно жить, так как погода стоит удивительно теплая; днем прямо жарко, а ночи свежие, но без морозов. До сих пор нам все готовили в ресторане, а продукты доставляются разными лицами через соборную общину; хозяйка ресторана принимает участие в этой организации. С сегодняшнего дня готовить начала Елизавета Ивановна Кочеткова, сопровождающая владыку Гурия его племянница. Теперь забота наших благодетелей — достать нам теплую одежду. Ведь здесь зима очень суровая и длинная; с половины октября бывает уже санный путь, а с декабря до марта стоят крепкие морозы 30–40 градусов, но говорят, что при 20–25 градусах здесь совсем не чувствуется резкости воздуха. Во всяком случае, без меховых шапок, рукавиц, шерстяных чулок, меховых сапог и шубы или дохи здесь выходить зимой нельзя, а тем более куда-нибудь

ехать. И вот, по-видимому, все это подыскивается и, может быть, даже нам будет дано так же, как продукты.

Сегодня вечером я получил уже два громадных сладких пирога (один с черносмородиновым вареньем, другой торт бисквитный) по случаю моих именин, и говорят, завтра будут еще пироги. Таким образом, можете быть совершенно покойны за мое здесь существование, и я думаю, что имеющихся у меня денег хватит надолго, во всяком случае, до марта — апреля. Если же я получу платную службу или буду при церкви, то, несомненно, я в деньгах на жизнь нуждаться не буду. Вот было бы счастье, если бы хоть в этом я не причинял вам хлопот и забот. Достать здесь все можно (одежду, обувь).

После исключительно красивых видов по Лене мы здесь попали в совершенно плоское место. Тут Лена разделяется на много протоков, образуемых песчаными островами с тальниками, как на Волге, и береговые горы отстоят очень далеко; в расстоянии не менее 10 верст один берег от другого; на низком плоском берегу стоит Якутск, весь деревянный город, каменных домов не более 10-ти — 15-ти, ни одной мощеной улицы, дома все почти одноэтажные. Улицы широкие, с деревянными тротуарами, по которым днем ходить можно, а в темноту небезопасно. Есть телефон и во всех домах, даже самых убогих, электричество, еще дореволюционное. Почва здесь вся мерзлая и оттаивает летом не более как на 2—3 аршина. Что здесь любопытно, что все пьют круглый год ледяную воду, т. е. из оттаянного льда. Правда, настоящая Лена отошла от города за песчаные острова версты на полторы-две, а около города остались протоки почти стоячей воды, которую нельзя пить, но говорят, что и раньше, когда Лена протекала у самого города, пили всегда оттаянный лед, чем возить воду с реки, а хранить его ничего не стоит: зимой он лежит на дворе в глыбах, а летом до нового льда легко хранится в погребах, которые есть у каждого хозяина. Холода прекращаются с марта, в конце апреля появляется зелень; в июне, и особенно в июле, бывает сильная жара, благодаря которой здесь все дозревает: есть арбузы, помидоры и картофель, но всего почему-то мало, так что цены на все высокие... Хозяйка здесь опытная повариха и великолепно готовит; особенно они гордятся своими пирогами с рыбой; в сущности это

не пирог с рыбой, а рыба в пироге, но, действительно, очень вкусно... Рыба здесь отличная, стерляди, но особенно в ходу нельма, бывают сиги и нечто вроде селедки “омуль” с Байкала.

В городе не более 8–10 тысяч жителей, и громадное большинство якуты, ходишь, точно в Монголии или Японии, и все почти на одно лицо, особенно женщины и маленькие дети, последние бывают очень милы, я в них всегда вижу тети Шурину милую японскую куклу. Это письмо придет к Вам не раньше конца октября”.

30-го после обедни*.

“(Вспоминает Хотьков монастырь — Е.Ч.). Обедня была очень торжественная, первое архиерейское служение владыки Гурия, да и здесь уже более 5-ти лет не было архиерея; народу было много, особенно много якутов. Они очень религиозны и преданы Церкви и с уважением относятся к духовенству. Здесь есть чтимая икона Корсунской Божией Матери, но гораздо хуже по письму, чем Хотьковская, а я эту икону всегда помню и еще на Лубянке видел ее всегда перед собой... Знаешь ли ты, что при приеме во внутреннюю тюрьму у меня отобрали все — и крест и иконку деревянную преподобного Серафима (теперь это все при мне), а чехольчик на икону, который ты сшила мне с вышитым на нем крестиком, оставили, и я все время пользовался им как дорогой мне во всех отношениях святыней... Письма, говорят, идут в лучшем случае 2 месяца, а в весеннюю и осеннюю распутицу около 3-х месяцев.

Так давно ничего не знаю, как Вы живете; ведь последнее письмо было мною получено в Иркутске 1-го августа нового стиля...

Радуюсь, что так скоро собрали выставку Виктора Михайловича, ведь в Абрамцево, собственно, не так много его работ. А Верушкин портрет** был ли выставлен?

* По ст. стило в день св. благов. кн. Александра Невского, день именин А.Д.

** Портрет с кленовой веткой <Веры Саввишны Мамонтовой> работы В. М. Васнецова, подаренный автором А. Д. Самарину перед свадьбой. В то время находился в семье, а ныне — в музее Абрамцево.

Добрые люди ищут для нас подходящее помещение, но пока еще нет подходящего, где бы можно было поместиться всем вместе и иметь возможность молиться. Благодаря теплой погоде еще можно жить в нашем теперешнем помещении. По-прежнему мы ни в чем не нуждаемся, благодаря удивительной доброте и заботам добрых людей... Говорят, что могут нас обоих оставить здесь. Буди воля Божия! Здесь есть хорошая библиотека при музее Географического общества, городская, а кроме того — в соборе”.

17 сентября Папа пишет особенно ласковое и заботливое письмо ко мне, накануне моих именин.

23 сентября 26 г.:

“В понедельник 20-го сентября мы переехали на другую квартиру, там, где мы жили, помещение было летнее. Удалось получить помещение в квартире, занятой семьей (частный дом), нас приютили охотно. Размеры комнаты 8 на 5 аршин (22 кв. м), одно окно на улицу, два — во двор, окна большие, так что свету много, освещение электрическое, отопливается голландской печью. Говорят, зимой бывает тепло. Порядок во всей квартире, в том числе и в кухне, удивительный. Елизавета Ивановна помещается вместе с хозяйками... Пока живем так: встаем рано, в 6 часов утра начинаем молитву, в половине девятого пьем чай втроем в своей комнате, затем занимаемся чтением и выходом в лавки или для прогулки, обедаем около 2-х часов, потом отдыхаем и опять занимаемся, между прочим, английским языком, а потом читаем и изучаем книги по Священному Писанию; в 6 часов вечера бывает вечерняя служба, в 8 часов иногда немного едим и пьем немного чаю, затем вечерняя молитва и в 10 часов ложимся спать... Предлагают уроки с детьми”.

3 октября 26 г.:

“...Почты отсюда с пароходом на Иркутск больше уже не будет, отправлять почту будут около 1-го ноября старого стиля. Говорят, пойдут еще два парохода отсюда вверх, но без почты,

так как ее не рискуют посылать: пароходы из-за морозов и ледохода могут остановиться где-нибудь в пути... Живем по-прежнему, слава Богу, благополучно и пока без перемен. Ходят слухи, что Владыка Гурий будет отправлен по санному пути в Вилуйск или Верхоянск, а меня будто бы здесь оставят... Не помню, писал ли я Вам, что Владыка Гурий через одного педагога, бывшего ученика его по Казанской академии, подавал заявление о желании работать по архивным материалам для изучения Якутского края, и, в частности, якутского языка, и что я мог бы быть у него сотрудником. Это заявление поступило в здешнее Общество по изучению Якутии; там признали согласно указанию власти, что мы еще ничем не проявили своей способности к научной работе, и потому это Общество не может пока принять нас под свое покровительство. Вот мы и решили, чтобы проявить свою работоспособность, проделать такую работу. Мы узнали, что в области изучения якутского языка, что теперь вопрос здесь очередной, очень важно иметь старинное ученое исследование академика Бётлинга Böhrling Otto. "Über die Sprache der Jakuten". С.-П.б. 1851. "Grammatik, Text, und Wörterbuch. Von Otto Böhrling". Photomechanischer Nachdr. The Hague, Monton. 1864. LIV, II 184 с. (Indiana University publications). [Grammatical school. Uralic and Altaic Series. Vol. 35], так как оно считается и теперь капитальным трудом. Мы его здесь достали в библиотеке Географического общества, оно на немецком языке, и мы его переводим. Дело идет, хотя и не очень быстро, так как много всяких примечаний и ссылок на разные восточные языки. По классификации академика А.Н. Самойловича, якутский язык — один из восточносибирских представителей тюркской группы языков. В силу исторических условий настолько отличается от других тюркских языков, что иногда подвергали сомнению самую связь с ними якутского языка. Однако, отдельные черты якутского языка, по-видимому, были свойственны и другим тюркским языкам (ныне вступившим в другую фазу развития), но в них Владыка Гурий имеет некоторые познания. На днях мы закончили один отдел, перепишем и через знакомого Владыки, который принимает деятельное участие в этом Обществе, представим свою работу. Посмотрим, в какой мере она будет сочтена

интересной и как будет оценена по качеству исполнения. А перевод делать мне нравится и интересно. Я вижу, что еще не все забыл из немецкого языка... У якутов не было своей письменности, т. е. не было алфавита. Впервые якутский язык запечатлелся на бумаге благодаря Церкви и миссионерским трудам лет 100 тому назад...

До сих пор, кроме первой телеграммы и письма-телеграммы, не имею от Вас писем”.

8 октября 26 г.:

“Эти дни были для меня очень радостными, получил все Ваши письма в два приема, начну с вопроса о Твоей поездке (моя поездка в Якутию. — Е. Ч.).

...Могу сказать, что трудность пути стала для меня еще яснее. (Дальше идет подробнейшее рассуждение о возможности моей поездки).

...Продолжаю письмо, которое не отсылал, так как почты все еще нет и неизвестно, когда она пойдет. Река стала, но снегу почти нет, так что путь еще не установился. Погода все время стоит хорошая: после двух дней тепла, когда пароходы успели вернуться сюда, но не только без барж, но даже и без всяких других грузов, в том числе и без почты, — опять установились морозы градусов в 15°, а вот сегодня, говорят, 30°. Но ветру почти нет, и воздух не резкий, так что, по нашему самочувствию, не верится, что так морозно, правда до 50° еще далеко, но все же я надеюсь, что даже в сильные холода мы не будем очень страдать; в доме же у нас совсем тепло, так что я сижу в летней рубашке, правда, на ногах шерстяные носки и сапоги (а по-здешнему чулки) из заячьего меха, покрытые бумажной материей... В городе, даже и при малом снеге, гораздо больше стало видно приезжающих из деревень якутов. Все они, в оленьих мехах и таких же шапках и меховых сапогах (по-здешнему камасы), привозят мороженое мясо и такое же молоко, на вид это круги вроде сыра, но меньше”.

24 октября 26 г.:

“Зимний путь до сих пор еще не установился, были морозы 10–15°, замерзли озера и протоки Лены, на главном течении

шел сплошной лед — “шуга идет”. Замерзли, не дойдя до Якутска 600 верст, пароходы со всей почтой, верно, там и посылки, посланные (Вами) в августе. Всего на пароходах и баржах до ста тысяч пудов продовольствия и мануфактуры. Это составляет здесь злобу дня, так как до весны уже более такие транспорты не прибывают...

Уроки пока еще не начинались, а вот перевод с немецкого научной грамматики якутского языка, который мы начали делать вдвоем, был рассмотрен в здешнем правительственном Обществе просвещения. Работа признана нужной, и нам предложено продолжать. Может быть, этим определится наше оставление в Якутске, так как эту работу можно выполнить только здесь, где есть библиотека и нужные материалы и пособия. Кроме того, по-видимому, за этот перевод нам будут платить деньги. С завтрашнего дня опять примемся за это дело... Каждый день за службой вместо причастного стиха читаем “Поучения Аввы Дорофея”, по вечерам Священное Писание с толкованием; днем переводим с английского из одной хрестоматии, и отдельно еще читаю “Историю христианской Церкви” Лопухина.

10 ноября 26 г.:

“Сегодня, когда я по обычаю пришел на регистрацию (в ГПУ), мне объявили постановление местное от 26 сентября о высылке моей в Вилюйск, с обязательством невыезда оттуда, и сказали, что постановление не объявлялось, пока не было пути, а теперь можно ехать; повезут на санях за казенный счет и дадут для тепла на дорогу доху. С отъездом не торопят, так что можно собраться. Я подал вчера же заявление в правительственное Общество “Возрождение Якутии”, по поручению которого мы делали перевод, с просьбой возбудить ходатайство об оставлении меня здесь, так как работа признана необходимой”.

16 ноября 26 г.:

“...Ходатайство Общества уважено, и я оставлен временно здесь, что значит временно — неизвестно... Сегодня идет снег, и, значит, в ближайшие дни пойдет почта. С нетерпением жду от Вас писем, теперь они будут приходить правильно”.

13 декабря 26 г.:

“Морозы 45° Реомюра. Одежда есть: меховая оленья шапка и полупальто оленье, заячьи рукавицы. Расписание дня: в шесть — половине седьмого начало службы: утренние молитвы, полунощница, часы, Литургия — все продолжается два с четвертью часа. Пьем чай — берем у хозяев; все это при электричестве. Затем начинаются занятия, чтение, я переписываю в двух экземплярах наш перевод с немецкого, что требует много времени, так как приходится срисовывать много слов татарских, а Владыка вписывает монгольские и калмыцкие слова. Он знает шрифт, а я просто срисовываю. По средам и пятницам я хожу после чая к обедне в собор, где помогаю пением и чтением; по четвергам ходим на регистрацию, иногда хожу в лавки, изредка на почту. В 2 часа обед, питаемся хорошо, но без мяса, зато изобильно рыбой — нельма, налим, караси, омуль, стерляди — и все очень крупного размера, все это получаем очень легко. В 4 часа хожу на урок, а по возвращении, около 6 часов, начинается всенощная, которая идет около двух часов. Затем чай, чтение Толкования на Священное Писание, вечерние молитвы. Спутники мои идут ко сну, а я сижу еще один до десяти-половины одиннадцатого. Забыл сказать, что перевод мы делаем от 12 до 2-х часов, требуется точность, прибегаем к словарю, а иногда задумываемся над смыслом фонетических размышлений автора”.

25 декабря 26 г.

Ответ на наши письма от 5 октября 26 г.:

“Письма (через два с половиной месяца) не теряют цены... Самое письмо, самый вид его, сознание, что оно писано Вами, мои дорогие, доставляет мне громадное утешение и дает поддержку... Прочитываю я всегда сразу быстро письмо от начала до конца, а потом еще раз перечитываю и вечером, когда все кругом уже спит, доставляю себе удовольствие еще раз почувствовать себя через письмо с Вами.

Не подумай (ко мне. — Е.Ч.), что я вообще в унынии и мрачном настроении, слава Богу, я бодр духом, а мысли мои всегда несутся к Вам”. (Дальше идут чудесные, ласковые слова ко мне).

1927 год.

10 января:

“Дорогие мои, пользуюсь возможностью отправить это письмо с одним отъезжающим отсюда лицом и надеюсь, что благодаря этому Вы получите эти строки гораздо скорее, чем по почте, во всяком случае, не позднее, как через месяц, а может быть, и раньше моего большого письма, посланного по почте, кажется, 6 декабря нового стиля.

...Мы же провели три дня Праздника так: в Сочельник начали часы в 8 часов утра, после небольшого перерыва была обедня, которая кончилась в половине первого, напились чая и затем вскоре пообедали. В 6 часов вечера мы пошли ко всеобщей в собор; там было очень много народу, особенно много якутов; служил местный Епископ Синезий⁵⁶, приехавший сюда 8 сентября; служба окончилась в начале 11-го; пока мы вернулись домой и напились чая, было уже около 12-ти; я лег в половине первого, а в половине второго мы уже встали и в 2 часа начали у себя по своему обычному уставу: утренние молитвы, полунощницу и утреню (без Великого повечерия); канон пели и читали полностью, так что 48 раз пели ирмосы; после утрени — часы и Литургия, все кончено было в 6 часов. Было очень хорошо; в 3 часа ночи, во время нашей утрени, начиналась всеобщая в Москве (6 часов вечера), и я думал о всех, кто там молился. Напившись чая и разговевшись, мы полежали с полчаса и в 7 часов пошли к обедне в собор. Там опять было очень много народу, очень светло (в паникадилах электричество) и много свечей у иконы Праздника; служба кончилась в половине одиннадцатого, поздравили Епископа, который живет в бывшей ризнице при соборе, и пришли домой.

Здесь пропели “Рождество...” два раза, в двух семьях, живущих в нашем доме, и у них по очереди пили чай, а затем мы с моим спутником были в трех домах; вернулись в половине пятого, поотдохнули, а в 6 часов, по обычаю, начали свою всеобщую. В общем, поутомились изрядно. На другой день была у нас, по обычаю, Литургия, но с опозданием, не в половине седьмого, а в половине восьмого. Я еще сходил в собор, потом был в одном доме, а в 2 часа к нам пришел Епископ, обе-

дал у нас; в 6 часов я пошел ко всенощной в собор (дома без меня читает и поет Елизавета Ивановна). Сегодня, по обычаю, я отпел сначала у себя Литургию, а затем опять был в соборе; обедня там очень затянулась, и я вернулся домой около 1 часа; вдруг, совершенно неожиданно пришли соборные певчие (все любители и любительницы) “прославить” к нашим хозяйкам, а потом попросили разрешения пропеть и у нас; потом их всех угощали хозяева чаем вместе с нами. После обеда я немного отдохнул, а затем был в одном доме, так что пропустил в первый раз за все время свою обычную всенощную. Теперь все у нас уже спят, а я Вам пишу и мысленно с Вами. Эту ночь я так ясно представляю все, что было 19 лет тому назад, как будто все это происходило вчера! Дети, естественно, не могут так чувствовать всего, чего мы лишились, как мы с Тобой, дорогая моя Шура, я знаю, что и они скорбят по-своему, печалуются, что они не испытали в сознательном возрасте материнской любовной ласки.

С завтрашнего дня опять примусь за работу по переводу и возобновлю немецкий урок, который я на неделю прерывал. Из того, что я написал, Вы можете видеть, что у нас есть дома, куда мы можем ходить, но мы нигде обыкновенно не бываем и сделали исключение для Великого Праздника. Ведь с самого начала об нас здесь стали проявлять исключительную трогательную заботу разные лица, прикосновенные к Церкви, стали снабжать теплыми вещами, продуктами, и все это продолжается до сих пор, а к Празднику еще усилилось, так что нас завалили пирогами, пельменями (все своего изделия). Неизвестные нам лица ежемесячно помогают и денежно, за квартиру с нас ничего не берут. Просто мы не знаем, как будем расплачиваться за все то добро, которое нам оказывают, за ту любовь и сочувствие, которое к нам проявляется! Вот почему пока я не нуждаюсь ни в чем, тем более что из ГПУ я получаю 6 руб. 25 коп. в месяц. Урок мне дает 20–25 руб. в месяц (1 руб. 50 коп. за урок), да обещают платить за наш перевод, сколько — еще неизвестно, но все же, я думаю, рублей 20 в месяц на каждого придется. Отраднo в особенности видеть, что все это добро делают с любовью к нам”.

В половине января отец был болен. У него и раньше бывали острые боли в кишечнике, но в этот раз приступ был сильнее. Это были спазмы, вызвавшие непроходимость. В письме к нам он пишет об этом очень сдержанно, чтобы не волновать нас. Впоследствии, по приезде моем в Якутск, я узнала, что положение было очень серьезное. Милейшая семья доктора Бушкова (Пантелеймон Митрофанович и Дора Иннокентьевна), которым отец давал уроки немецкого языка, употребили все, чтобы спасти его. Они взяли его к себе в дом; сам доктор и жена его, еще молодые, лечили его, ухаживали за ним, но поняли, что домашние меры недостаточны, и с большим трудом поместили отца в больницу. Думали, что придется делать операцию, если не поможет атропин, который было очень трудно получить. Уколы атропина оказали свое действие, спазмы были прекращены. Это был предвестник того приступа, от которого через 5 лет отец скончался.

В письмах этого времени очень яркие картины солнечной холодной зимы, якутской одежды, быта, праздников.

Вот письмо от 20 марта:

“Хозяйки уже начинают поговаривать о приготовлениях к Пасхе: предстоит генеральная мойка и чистка в доме сплошь всего, побелка печей и прочее, а затем заготовка всякого рода яств к разговенью. По-видимому, будет что-то грандиозное. Мы будем ощущать это, так как обычное течение жизни несколько нарушается, а главное — у многих такая суета сопровождается “повышенной нервозностью”.

Мне отец пишет в ответ на мои сетования на разлуку с ним и упадочное настроение: “Не роптать, а благодарить Бога надо за все Его к нам милости. Разобщение внешнее — это такая мелочь по сравнению с тем, что мы все духом вместе, что нас не разъединяют никакие разномыслия, никакие различия в основных убеждениях: ведь и Юша, и ты, так же как и я, по милости Божией, в основе нашей жизни имеем веру и связь с Церковью, а это чувство сближает, несмотря ни на какие расстояния...”

Великий пост проводили строго по монастырскому уставу. Владыка Гурий был очень строгий постник, настоящий монах, вот что пишет отец о первой неделе поста:

10 марта:

“Около 6 часов утра начинается служба чтением утренних молитв, затем следует полунощница и непосредственно за ней утренняя полностью, со всеми кафизмами и чтениями из св. Ефрема Сирина. Удивительно глубоко по мысли и просто по выражению, и проникнуто высоким настроением. Утреннее богослужение идет три часа. В половине одиннадцатого начинаем часы, которые также совершаются без пропусков со всеми кафизмами, и также два раза бывает чтение св. Ефрема Сирина. Часы с вечерней идут два с половиной часа. Вечером бывают мефимоны⁵⁷, которые продолжаются час и три четверти. В общем, довольно утомительно за день и для ног и для голоса, хотя и читаю и пою вполголоса; но зато отрадно для души”.

А вот из письма от 26 апреля, 3-й день Пасхи:

“Служба Страстной: все чтения и пения, которые выполнялись мною в условиях нашей жизни, давали особенно благоприятную возможность для восприятия не только умом, но и сердцем их глубокого и трогательного содержания. В Пятницу и Великую Субботу, так как часы нашей службы не совпадают с соборной, я имел возможность быть и тут и там.

В соборе нет совсем чтецов — мое чтение ценится. А для меня чтение в такие дни — великое утешение, и, значит, я имел счастье дважды почувствовать красоту службы. Певчие, совершенно неожиданно, вынесли мне ноты 3-го голоса, когда вышли к Плащанице петь трио “Воскресни, Боже”.

Прошла Пасха, наступила весна.

30 мая:

“Событие в здешней жизни — вскрытие Лены, все этого ждали, следили по местной газете за ходом льда выше Якутска. Вода стала прибывать в субботу 8 (21) мая. К сожалению, глав-

ное русло Лены далеко и отделено от Якутска островами, так что самого сильного ледохода мы не видели, но и здесь, когда вода залила все острова (остались только кое-где верхушки тальника), и когда образовалась такая громадная масса воды, по которой плыли льдины, получилась очень внушительная картина; ведь от набережной Якутска до другого берега, где тянется горный кряж, около 15 верст. Погода это время стояла прекрасная: тихо, ясно и прямо жарко. В этом отношении совсем не похоже на ледоход на реках в России, там они бывают, когда в полях лежит снег и еще совсем холодно, здесь же с 20–25 апреля уже совсем сухо.

К сожалению, здесь совсем не чувствуется наступление весны, да ее и не бывает. Снег сходит быстро, его немного, в общем, за зиму, — сразу сохнет, а зелени никакой: ведь в городе совсем нет деревьев и травы почти совсем не видно... Суть страшная, пыль летит при ветре целыми тучами. 9-го, в Николин день, был уже полный разлив, все острова были залиты, это хорошо, так как там сенокос. В городе же ничего не залило, кроме лощины против нашего дома, где в этот день ездили на лодках. В дни разлива город стал неузнаваем — на берегу большое оживление, катанье, гулянье, все как-то принарядились... Впрочем, приходы пароходов и приезды “новых лиц”, конечно, будут составлять разнообразие в тихой и ровной жизни Якутска...

Как мне досадно, что мое “пасхальное красное яичко” — мой подарок, заработанной мною, пришел в Москву только сейчас, а мне так хотелось, чтобы Лиза к Пасхе купила цветок на пасхальный стол”.

1 июня 27 г.:

“Мысли все время возвращаются к приезду Лизы...” (письмо к сестрам).

8 июля 27 г.:

Письмо к сестрам полно беспокойства о моем путешествии, приезде, неизвестности моих дальнейших планов: останусь ли я на зиму в Якутске или вернусь в Москву. Сроки, возмож-

ные для путешествия очень сжаты, все очень сложно. Отец пишет: “Приходится думать, что у нее (Лизы) есть намерение остаться здесь на зиму. Мысль об этом меня очень смущает: во-первых, я продолжаю быть убежденным в том, что ее присутствие гораздо нужнее в Москве для Шуры, чем здесь, затем...” (идет ряд соображений о трудностях зимы для меня в условиях Якутска. — Е.Ч.).

Мое путешествие и приезд в Якутск

Здесь начинаются мои письма с пути. Ехала я целый месяц, тогда не было других способов сообщения. Выехала я из Москвы 29 июня 27 г. в Петров день. На Ярославском вокзале меня провожало множество близких. Поезд Москва — Харбин. Прекрасно оборудованный. Семь дней до Иркутска, а дальше — грузовики, лодки, холодные ночи с грозой и ливнем, ночевки у костра на берегу Лены. Тетя Анна Дмитриевна Самарина нашла мне прекрасного спутника — Арсения Константиновича Модестова. Это был ученый ветеринарный врач, уже немолодой, ехавший на работу в Якутию на два года по договору. Очень благодущный и спокойный человек, очень приятный в пути, но, будучи неприспособленным к трудностям северной жизни и направленный из Якутска в крайний поселок и пристань на Лене — Булун, он с трудом выдержал суровую зиму и сбежал в Москву. Я тогда по молодости лет не отдавала себе отчета, что такой человек был для меня прекрасным и заботливым спутником. Помню, что отец мой очень благодарил его.

Письма мои с пути длинные, подробные, написаны в часы долгих ожиданий на стоянках карандашом, почти детским почерком. Мне был тогда 21 год. Мой приезд, мое путешествие очень заботило, очень волновало отца, несомненно, много больше, чем все трудности, касавшиеся его самого! По некоторым письмам и телеграммам тех дней в Москву и Абрамцево видно, что все было для него неясно. Ни время моего выезда, ни причины задержки его, ни длительные ожидания в пути. Прodelав

этот длинный и сложный путь в предыдущее лето, отец не мог не волноваться за меня и шаг за шагом мысленно следил за мною, а связи, по тем временам очень слабой, почти не было. Наконец, он получил от меня телеграмму о пароходе, с которым я плыла от Усть-Кута до Якутска примерно 10–12 дней. По коротенькому письму о встрече нашей видно, как напряженно ждал он этого дня. А я, думаю, не меньше ждала окончания пути и свидания с отцом.

Вот что он пишет:

“1(14) августа 27 г.

Дорогие мои, Вы понимаете мою радость. Сейчас 4 часа утра, я встретил Лизу в городе на краю. Вчера я целый день просидел на берегу в 6-ти верстах (где теперь останавливается пароход) и так как прозяб, ушел домой, узнал в городе, пароход придет только в 3 часа ночи на сегодня. К сожалению, так устал, что проспал и, вскочив в 3 часа, побежал навстречу; встретил на краю города; ее подвезли до этого места добрые люди. Мы прямо проехали с Лизой к доктору Бушкову, который просил, чтобы хоть ночью зайти к нему, так как он уезжает сейчас на пароходе. Он же увозит эти строки. Всех обнимаю. Поражен, как Лиза выросла!”

В моей памяти, в моем сердце необыкновенно отчетливо запечатлелось это время, и особенно ярко день приезда моего в Якутск. Путь по Лене, новые для меня просторы и строгая красота могучей реки и ее берегов, ожидание встречи с отцом после почти двухлетней разлуки и всех перенесенных за него волнений.

Так помню ясный холодный вечер, последний на пароходе, “сибирский” красивый, но холодный закат солнца. Лена до Якутска течет одним мощным руслом и только перед городом разделяется на несколько рукавов и теряет свою мощную красоту.

Все пассажиры в напряженном ожидании, спать никто не ложится; пароход сильно опаздывает и придет в Якутск глубокой ночью. Пристани нет, так как пароходы в конце лета вынуждены приставать у островов, где позволяет глубина воды и берег. В ночной тьме появляются на берегу огни костров —

это табор ожидающих. Как напряженно все ждут этой минуты, а я... Вот начинаются крики с парохода и с берега. Узнают друг друга только по голосам. Я вглядываюсь в тьму, жду голоса, но тщетно. Уж не случилось ли что-нибудь?! Меня и мои небольшие вещи берут на телегу встречавшие мою спутницу родители. Из разговора с ними узнаю, что накануне отец мой, как и другие, ждал тут на берегу прихода парохода. Идем в темноте по пескам между кустарниками 7 верст до города, и вот начинает светать, утро еще раннее, все спят, небо низкое, серое и холодное. При въезде в город — глубокая лощина, в которую мы спускаемся, а с противоположной стороны стремительно движется, чуть ли не бежит, отец. Как и раньше легкий в движениях, в обычном своем летнем макинтоше и якутской шляпе на голове. В его облике видна неопишуемая радость, и я как сейчас вижу и чувствую эту минуту.

В день моего приезда состоялось переселение в отдельный домик-избушку. Владыка Гурий, Елизавета Ивановна, Папа и я. Избушка совсем новая, необжитая, на краю города. Провели электричество, которое в Якутске было всюду с дореволюционного времени. Домик наш был разделен легкими перегородками на пять частей. Владыка Гурий занимал левый передний угол, наибольший по площади, правее — за перегородкой у Папы была маленькая комната в одно окно; у нас, двух девиц, была общая комната на двоих, занимавшая правый угол дома. В середине дома стояла русская печь, выходившая челом в кухню-столовую. К печке со стороны входной двери и маленькой прихожей была приложена плита. И печка, и плита топились ежедневно; зимой надо было усиленно поддерживать тепло в доме, да к тому же еще на плите таять лед в ведрах, добывая таким образом воду для питья. В доме были тройные оконные рамы и особенно холодно не было, хотя внутренние углы сильно обледенели. В комнате Владыки Гурия совершалось ежедневно богослужение, даже и Литургия, тогда протягивался занавес — временный иконостас. Из Казани, с которой Владыка Гурий был связан и по рождению, и по Духовной Академии, ему была прислана большая икона святителя Гурия Казанского. Помню, что я обычно

вскакивала, когда слышала голос отца, читавшего утренние молитвы.

Питались мы обычно отдельно в разные часы в кухне. В праздничные дни объединялись, и Владыка Гурий, часто суровый, бывал в такие дни праздничным и благостным, любил угощать особым китайским чаем, который хранился в красивой расписной коробочке типа пагоды. Угощал он также маслинами или еще какими-либо вкусными вещами, присланными из России. В первое время по моем приезде я чувствовала в нем напряженность, он присматривался ко мне, видимо, боясь, что я внесу диссонанс в их жизнь, потом привык и стал несколько общительней, но, как я уже говорила, он был очень строгой монашеской жизни и никаких лишних разговоров в обыденной жизни не допускал. Только изредка, если приходил кто-либо для него приятный, он очень оживлялся и как-то по-детски хорошо смеялся. Очень любил он реку и рыбную ловлю. Он родился и вырос на Волге. Летом, очень редко, он отправлялся с кем-то из местных жителей на лодке на рыбную ловлю, с рассвета и до поздней ночи; возвращался очень усталый, но довольный. И в эти минуты увлечения делался подвижным, быстрым, живым, а возвращаясь, опять замыкался.

Очень скоро по приезде я поступила на работу в статистическое управление. Ходила пешком через весь город около 3-х километров. В это время велась перепись населения, которую мы обрабатывали; кроме того, у меня была дома большая работа, тоже статистическая, для отделения Академии наук, и один урок английского языка с двумя детьми. Богослужение дома утром и вечером давало очень много, хоть и не всегда могла я присутствовать, но иногда и я допускалась к участию в чтении или пении. Папа один пел как-то особенно и часто удивлял меня неожиданно новыми, тут же импровизированными напевами Херувимских песен. Владыка Гурий не имел музыкального слуха и был безразличен к пению.

Одно из чудесных воспоминаний этого времени — это первый день Рождества. Когда я вернулась с работы, Папа принес мне в комнату очень маленькую, настоящую, всю украшенную и с зажженными свечами елочку. Это был сюрприз, который он

мне сам приготовил и доставил огромную радость. Столько любви было в этой елочке, что на всю жизнь я ее запомнила, так же, как запомнились прекрасные нарядные елки в Москве, в раннем детстве.

Помню в ноябре великолепное северное сияние, на которое мы все смотрели с восхищением. Оно было очень большое и яркое, захватывало половину небосвода. Отец позвал нас посмотреть эту необыкновенную красоту в 11 часов вечера. Полная луна, ярко светившая накануне, казалась теперь бледным желтым пятном. Столбы света поднимались от горизонта, росли, колебались, меняли цвета — и все вместе качались, дрожали, переливаясь разными оттенками! Такое великолепное сияние я видела только один раз, в другие разы — оно было незначительным.

В эту зиму 1927/28 года был очень долгий перерыв в почтовом и телеграфном сообщении. В Якутии было восстание. Якуты провозгласили лозунг: “Якутия для якутов” (т. е. золото в Якутии). Несколько месяцев мы были отрезаны от мира, пока из Иркутска не пришли войска. В нашей повседневной жизни, работе и снабжении это не отражалось, но было беспокойно и тяжело было быть оторванным от близких.

С самой осени отец, сверх занятий переводом якутской грамматики, каждодневного участия в утреннем и вечернем богослужении, хождения в собор, уроков немецкого языка, которые он давал группе врачей, начал еще работать нештатным сотрудником в национальной библиотеке, составляя там карточки на иностранных языках и затрачивая на это ежедневно 3 часа. Как успевал он все это делать и как хватало у него сил, сколько было энергии! Он вставал в 6 часов, даже раньше, а ложился спать не раньше половины двенадцатого.

В это время ему было 60 лет!

1928 год. Зима. Пост. Пасха

Зима проходила в работе, очень размеренно. Морозы стояли сильные, 40–50° и даже ниже, это по Реомюру, но без ветра. В

такие морозы в городе стоял сильнейший туман, так что в двух шагах не видно было идущего навстречу человека. Одеты мы были хорошо, по-якутски, в олений мех.

Великий пост проводился особенно строго, с долгими службами, совсем по-монастырски. На Страстную неделю и Пасху я взяла свой отпуск. Дома Владыка Гурий служил все службы строго и чинно, с постоянным участием отца, а иногда и нашим с Елизаветой Ивановной. Бывали мы и в соборе, но дома было особенно хорошо в эти дни. В Якутии есть обычай — перед Пасхой приносить в дом небольшие лиственницы (как у нас в России березки в Троицын день). Деревца ставят в воду, и в тепле они очень быстро распускаются и дают тонкий запах распускающейся лиственницы. Мы это сделали, и это было чудесно. К Пасхе мы готовились, и я впервые в жизни пробовала печь кулич на местных дрожжах из хмеля. Получился камешек, но Папа хвалил и говорил, что превосходно. Была еще настоящая зима. У Пасхальной заутрени мы все — Владыка Гурий, отец, Елизавета Ивановна и я — были в соборе, куда через замерзшую воду лощины было совсем недалеко. После заутрени мы вернулись домой, и Владыка Гурий вдохновенно и необычайно торжественно служил в нашей избушке Литургию.

Только что кончилось богослужение, как к домику нашему подкатили розвальни, и двое приехавших мужчин начали вносить в дом бесчисленное количество всяких вкусных вещей. Чего тут только не было: пасхи и куличи, бабы, торты (все самодельное и великолепно приготовленное), пироги, крашенные яйца и т. д. Все было заставлено и завалено этими угощениями, которые собрали для нас в соборной общине, по инициативе необыкновенно энергичного, умного отца Серафима (раньше протоиерея Иннокентия), настоятеля, архимандрита из вдовых священников. Все начальные годы революции он заменял в Якутии епископа, был в Москве на Соборе⁵⁸, а в 1937 году был расстрелян вместе со своим помощником, очень скромным, молодым и многодетным отцом Константином.

Мой неудавшийся опыт кулича совсем померк среди великолепных даров. До Троицына дня у нас велись эти угощения.

Конец жизни в Абрамцеве

В начале июля 1928 года до нас дошло известие о крушении Абрамцева. Еще при мне, осенью 1926 года, тетя Шура была отстранена от заведования музеем и оставлена хранителем. Появление нового заведующего было неожиданным. Это был весьма пожилой человек, совершенно чуждый искусству, да и вообще чуждый культуре, но зато ярый атеист, священник, снявший сан и приехавший с Дальнего Востока. Первое время он опирался на тетушку и от нее черпал кое-какие знания, на которые он был способен. Но наступил момент, когда она стала ему не нужна, и 21 мая 28 года ее арестовали. Это было под Николин день, когда в Сергиевом Посаде и Хотькове были изъяты сотни людей. После недолгого пребывания в Бутырках тетю Шуру освободили с обязательством немедленно (не побывав в Абрамцеве) выехать за пределы Московской области (минус шесть). Мы были в большом горе, получив это известие о ее аресте. Я, конечно, не находила себе места. Оторванность, отдаленность, невозможность знать и принимать участие в ее судьбе были мучительны. Я колебалась в решении уехать, оставив отца. Но куда ехать: ни дома, ни работы впереди не было. Тетя Шура, выйдя из тюрьмы, уехала к брату своему Всеволоду Саввичу в Тульскую область.

Конец Якутской жизни. Отъезд в Олекму

Вскоре после этого, в августе 1928 года, произошло событие в нашей якутской жизни, очень волнительное и все изменившее. Мы получили из Москвы посылку и много писем не почтой, а через Петра Владимировича Грунвальда; это был видный геолог Якутии, уже весьма немолодой человек. Он много лет руководил геологическими работами экспедиций в Якутию; подчинен он был Москве, и семья его была там, и он по тем временам и дорогам не один раз в год ездил из Моск-

вы в Якутск, и дальше на север и обратно. Он был очень приятный, интересный, образованный и глубокий человек. Большого роста, а главное — необычайной толщины, он с трудом проходил в узкие двери нашего домика. Его приходы и интересные разговоры были всегда очень приятны Владыке Гурию и Папе. Недавно я увидела его могилу на Введенских горах в Москве.

Письма, которые он нам привез, послужили поводом к обыску, вызову в ГПУ и решению о расселении отца и Владыки Гурия в разные места. Письма были о церковных делах, о сложном вопросе местоблюстительства Патриарха, о вступлении в эту должность митрополита Сергия и его обращениях, напечатанных в газетах.

С отъездом тети Шуры из Абрамцева наши письма полны заботы о ней и о Юше, который лишился дома, семьи, уюта. Он работал тогда в Москве, в Музее народов СССР, имел угол, но это не родной дом. Отец пишет ему: “Ты у нас сейчас один, приуроченный к определенному месту и имеющий все-таки свой угол, а мы трое бездомные скитальцы”. Брат преуспевал тогда в своих занятиях фольклором, и поездки их группы во главе с Борисом Матвеевичем Соколовым⁵⁹ сыграли роль в сохранении знаменитых Кижей.

Для нас неожиданный, вернее все время угрожавший перевод из Якутска был нелегко. Мы сжились в нашей маленькой избушке и внутренне много получали от нашей размеренной, строгой жизни. Обрывалась также и научная работа по переводу якутской грамматики, которая была близка к окончанию. Первым уехал отец, один, с ближайшим рейсом парохода, шедшим вверх по Лене. Я осталась на некоторое время в Якутске — закончить дела на работе, ликвидировать или уложить вещи, проводить Владыку Гурия и Елизавету Ивановну в Вилюйск. Они ждали рейса парохода вниз по Лене, до Вилюйска. Жили мы с ними в мире и тишине, — расставаться было грустно. Я их проводила, а затем и меня проводили добрые друзья, с которыми за этот год и у меня сложились самые хорошие отношения.

Олекминск. Сентябрь 1928 — июнь 1929 г.

С переездом в Олекминск жизнь наша резко изменилась и потекла по иному руслу. К моему приезду в середине сентября отцу удалось снять прекрасное помещение (что было очень трудно) в доме у сектантов-скопцов. Дом хозяйки (их было три женщины), весь уклад жизни и быт напоминали Мельникова-Печерского. Дом прекрасный, двор, в хозяйстве лошадь, корова, при доме банька — все в изумительном порядке. При городе Олекминске была целая слобода, выстроенная и заселенная в царское время скопцами. Они славились своими сельскохозяйственными достижениями, выращивали невиданную раньше в Якутии великолепную пшеницу и прекрасные овощи. Мы занимали две комнаты и прихожую, служившую нам столовой; нас отапливали, снабжали прекрасной водой из Лены, а не льдом, продавали нам вкусный хлеб — пшеничный, собственного печения — “калачи”, снабжали нас овощами, молоком. Типичная и очень малопрятная личность была старуха хозяйка; две другие, много моложе, ее племянницы, были выписаны с Урала для привлечения в секту и передачи им наследства. С ними я дружила, и младшая, добродушная и не очень далекая, посвящала меня в тайны секты, что было очень красочно. Сначала они побаивались нас, — мы были у них первыми жильцами, — а потом привыкли и со слезами провожали в следующее лето.

В отличие от Якутска в Олекминске рядом с городом — скорее, похожим на село — прекрасная природа: Лена, горы, сопки, поросшие лиственницей. Главная красота, конечно, река: тут единое русло без островов, шириной примерно в 4 километра. Скоро пришла глубокая осень, жизнь на реке стала замирать, и вместе с приходом осени замерли и наши надежды на отъезд в Россию. Трехгодовой срок у отца кончался в ноябре, и мы несколько наивно думали, что нам разрешат выехать досрочно, ввиду недоступности зимнего путешествия на лошадях. Мы (особенно я по молодости лет) испытали горькое разочарование. Помню, как я стояла на берегу Лены вечером и с тоской смотрела на закат и уходящий вверх последний

пароход, дававший протяжные прощальные гудки. Началась тихая зима. Отец давал уроки немецкого языка врачам в больнице. Ходили мы в церковь, где он пел и читал, служба бывала только по воскресным дням и праздникам. Часть богослужения шла на якутском языке. Очень хорошая семья была у священника, сам он еще очень молодой, приветливая жена, хорошая хозяйка и мать, маленькие дети. Старшая девочка Тоня лет семи, которую мой отец особенно любил, говоря, что она напоминает ему Тоню Комаровскую⁶⁰, его крестницу. Батюшка, наверное, несколько стеснялся отца, а матушка нашла какой-то очень верный простой тон и легко отвечала шуткой на юмор моего отца.

Я поступила на работу в школу девятилетку, вела библиотеку, была секретарем, и были у меня уроки английского языка. Ученики были якуты и якутки, довольно великовозрастные. Папа иногда посматривал в ярко освещенные окна, как я с ними занималась, и подшучивал надо мною. Дело шло неплохо. Но тут прошла чистка “соваппарата”, и я была “вычищена” без права поступления на какую-либо работу и восстановления в профсоюзе. Я стала зарабатывать рукоделием: вышивкой, шитьем, стежкой ватных одежд; эти работы я хорошо знала по Хотькову. Наши хозяйки привели ко мне своих “белиц”, совсем как из заволжских скитов, они мне дали большие пальцы, и дело пошло. Мы много читали, брали книги в библиотеке, занимались английским языком.

Пришло Рождество. Морозы стояли сильные. В церкви было празднично и солнечно. Мы устроили у себя для детей батюшки елку и даже “une stêche” (вертеп и ясли), как, бывало, для нас в детстве делала тетя Таня Васнецова. Все очень удалось, хотя мы оба плохо рисовали, но как-то вырезали фигурки из картины (старого журнала) и удачно скомпоновали. Нашлась и цветная папиросная бумага. Дети были очень довольны, и мы не меньше.

Письма наши к весне все больше и больше полны мыслями о возвращении в Россию, — но куда? Надо было выбирать место “минус шесть”. Москва и еще 5 крупных городов исключались. О выборе шла переписка с братом моим; назывались города:

Владимир, Кострома, Киржач, Малоярославец, как города, не очень отдаленные от Москвы. Отец всецело предоставил право выбора близким; что можно было сказать из далекой Якутии?

В это время до нас дошла весть о безнадежно тяжелой болезни о. Сергия Мансурова, а вскоре и телеграмма о его кончине. Эта весть нас поразила, мы так его любили и уважали и в этом горе особенно чувствовали свою оторванность. В письмах тех дней столько скорби об этой утрате.

В мае наступила настоящая весна — “сибирская”. Снег сошел, стало тепло, даже жарко, и на Николин день (22 мая) сломало лед, и он тронулся. Зрелище было грандиозное. Вода поднялась, залила огороды, спускавшиеся от домов к Лене, а луга левого берега залило сплошь, и мощь потока была огромна. Лед толщиной около двух метров шел и шел, а иногда эти глыбы или горы выталкивались на берег и оставались тут таять постепенно. Я поднималась в эти дни на ближнюю сопку, где чудесно пахло распускавшейся лиственницей, а земля была усеяна анемонами, белыми и лиловыми, с пушистой, прозрачной ножкой. С сопки был чудесный вид вдаль на Лену.

С наступлением навигации мы уже только и жили мыслями об отъезде, сборами, а главное — вопросом о получении документов, разрешающих отцу выезд. Наши близкие в Москве брали для нас Кострому, где сняли небольшую комнату и маленькую вторую при кухне в одно окно, — это была последняя комната моего отца.

1929 год. Приезд в Кострому

23 июня 1929 года мы писали последнее письмо из Олекминска в Москву, письмо, полное большой радости о предстоящей встрече.

Мы выехали из Олекминска во второй половине июня. Плыли вверх по Лене на хорошо устроенной пассажирской барже, которую тащил пароход, дальше — на катере, который заменил на этот раз лодки. Обратный путь проходил как-то

незаметно. В Иркутске мы ждали известия о возможности ехать через Москву. Отцу так хотелось увидеть своих сестер и брата Сергея Дмитриевича. Ответ на просьбу не был получен. Дальше в пути все время ждали этого разрешения. Редко бывало такое большое, горячее желание у отца, точно он чувствовал, что брат его доживает в это время последние дни, но и в этом ему было отказано, о чем мы узнали в Вологде по телеграмме.

10 июля в Костроме на вокзале нас встретила тетенька. Радость свидания была неопишима. Мы водворились в доме очень милых людей — Зузиных⁶¹, ставших нашими большими друзьями.

Кострома

1929 год. Каким красивым старым городом была в то время Кострома! Правда, уже не было Кремля — собора и колокольни, но было еще очень много старых красивых церквей, что особенно было хорошо на крутом берегу Волги. Центр города с типичными для начала XIX века торговыми рядами, административными домами николаевской эпохи и особенно стильным зданием кордегардии и сейчас остался, но церквей и многих очаровательных домов, домиков, спусков к Волге, торговых лавок — нет. Кострома потеряла свой чудесный облик! Не было тогда и мостов через Волгу, а вокзал был за Волгой на правом ее берегу, и через Волгу плавали на пароме, а по первому льду начинали переходить пешком, что было очень впечатлительно. Кострома очень понравилась отцу, да и всем нам.

Приезд на новое место, близко к Москве, омрачился печальным семейным событием — кончиной дяди Сергея Дмитриевича (19 августа 1929 г.). Это был последний и очень любимый брат отца, и так надеялся он на свидание с ним, будучи в далекой Якутии. Папа был один в Костроме в эти дни, мы же все были в Москве на похоронах. Очень, очень тяжело было отцу, но опять в его письме звучит непоколебимая вера. Он пишет сестрам своим: "...думаю о нашем Сереже без вся-

кого уныния и, наоборот, ощущаю душевный мир... Вместе с телесными страданиями постепенно отходило от него все земное, плотское; думаю, что и внешне осталась только одна оболочка прежнего Сережи. Зато все становилась чище и чище, освобождаясь, очищаясь от “уз плоти”, а причащением Святых Тайн душа еще в этой жизни все ближе и ближе становилась к Богу, и теперь я с неизменной надеждой на милость Божию молюсь о вселении души Сережи в вечные блаженные обители!”

Очень скоро после печального события было и радостное семейное событие — свадьба моего брата, и опять отец был лишен возможности быть в Москве и принимать участие в этом семейном торжестве. По письмам можно проследить, как принимает он все к сердцу, как близок по-настоящему к нему мой брат, несмотря на долгую разлуку и оторванность. Подлинная внутренняя близость нерушима благодаря единомыслию в основном — в вере в Промысл Божий.

Жизнь в Костроме постепенно вошла в колею. День шел за днем, месяц за месяцем. Все было очень однообразно, и похож был один день на другой. Первые полтора года жили там отец и тетенька наша. Папа ежедневно по утрам уходил рано в церковь. Очень скоро по приезде он стал посещать храм Всех Святых, красиво стоявший в конце Муравьевского бульвара, высоко над Волгой. Там был чудесный священник отец Сергей Никольский, скромнейший, достойный всякого уважения иерей. По возрасту он был близок к отцу, но производил впечатление древнего старичка, убеленного сединами. С моим отцом они хорошо поняли и искренне полюбили друг друга. Отец стал незаменимым чтецом, певцом и регентом. Дочери о. Сергия принимали постоянно участие в церковной службе, особенно милая Наталья Сергеевна. У нас сложились очень тесные дружеские отношения с семьей Никольских, куда нас всегда приглашали в уютный патриархальный домик в дни праздников и семейных торжеств. Тут же, в церкви, познакомились мы и очень близко сошлись с Анной Владимировной И. Это была удивительная русская женщина-подвижница со сложною, трагической судьбой, принявшая в конце жизни монашество с именем Магдалины.

Она была верной почитательницей и хранительницей могилы моего отца, сохранившая ее и в самые тяжелые годы войны и разрухи; после войны мы с братом были у нее, она как бы передала нам могилу, но и там, в Костроме, поручила наблюдение за могилой одной святой душе, до сих пор неопустительно наблюдающей за могилой*.

Постоянное посещение храма, участие в богослужении, жизнь в церкви составляли суть жизни отца, он жил этой жизнью и горел ею.

Дома он делал всю физическую работу: носил воду из колонки, довольно далеко, колол дрова и приносил их на 2-й этаж, ходил в магазин, где бывали очереди. Так проходили будни; радостными вторжениями в эти будни были приезды из Москвы. Приезжал брат, один или с женой своей Катенькой; приезжала я (работала я в Москве и жила у Васнецовых), изредка приезжал кто-либо из близких родных — тетя Аня, двоюродные мои сестры Варя Комаровская с Тоней, Маня Мансурова; вдова дяди Сергея Дмитриевича Ульяна Михайловна с маленьким сыном Николаем. Это была большая радость для отца. Он очень охотно и много говорил, рассказывая и вспоминая, и не менее охотно слушал приехавших; он любил и умел показывать приехавшим старую Кострому, с которой скоро сроднился. О себе я и не говорю, как радостно встречал меня отец, как умел выразить свою любовь, столько тепла никогда в жизни я не видела. Как было уютно в этих убогих комнатках, как надо было ценить то, что так скоро от нас ушло.

Отец жил в крошечной комнатке-каюте, отгороженной от общей кухни. Там было одно небольшое окно и едва помещалась кровать — она была деревянная с сеткой, наша абрамцевская. Против кровати к стене был приделан простой, дощатый, откидной столик, очень небольшой — это был его “письменный” стол, за которым он мог писать, сидя на кровати. Иконы были над кроватью. Над столиком на стене висели фотографии — моей матери, родителей отца, и, вообще, самых

* Анастасия Степановна Баскакова, скончалась в 1978 году.

близких людей. При входе просто на гвозде висела одежда и кое-что из вещей, книги лежали на полу. Ничего больше поместить в этой полутемной и полухолодной каморке было невозможно. За стеной, с дверью из коридора, была наша с тетей комната в два окна, квадратная. Она была значительно больше и лучше, но тоже небольшая, только много выше и светлее, чем папина каморка. У нас в углу стоял киот с иконами, между окнами обеденный стол, кровать и диван вдоль стен. Вещи были из Абрамцева, и было уютно. Если кто приезжал или приходил, то всегда сидели в этой комнате.

В эти годы, с 1929-го по 1932-й, было очень много волнений и расхождений в церковных вопросах. Все это очень волновало отца, ему хотелось все знать. Он понимал и сочувствовал тем из духовных лиц, кто решался смело высказывать свои взгляды, не соглашаясь с заявлениями митрополита Сергия — <заместителя> Местоблюстителя Патриаршего Престола. В это время углублялся раскол; одни поминали митрополита Сергия и власть, другие продолжали помянуть митрополита Петра, который был оставлен Местоблюстителем самим покойным Патриархом Тихоном. Но митрополит Петр был все эти годы в ссылке, и неизвестно было даже, жив ли он. Было время, когда, остро воспринимая весь этот раскол, многие, очень приверженные к Церкви православные люди переставали посещать храмы, поминавшие и подчиненные митрополиту Сергию. Тетя рассказывала, что после долгих колебаний и отец пришел к решению не ходить в храм. Но, как она говорила, “с первого же дня своего отхода он затосковал, впал в уныние (чего с ним никогда не бывало) и сказал, что без храма, без богослужения он жить не может и будет ходить”. Внутренне он был на стороне “непоминающих” (так тогда называли отделившихся, и их было очень много).

Весной 1931 года мне срочно дали знать в Москву (я тогда жила у Васнецовых и работала в статистике), что и отец и тетя арестованы. Я немедленно выехала в Кострому и нашла их обоих в Костромской тюрьме. Это было время многочисленных арестов “за золото”. Изымали золото у прежних богатых людей, и ГПУ предположило, что мой отец и тетя скрывают какие-то ценности хозяев дома, в котором мы жили. Самих хозяев Зузиных уже не было в Костроме: он был выслан на Урал,

жена и кто-то из детей уехали за ним, остальные рассеялись по разным городам. Я ходила в ГПУ, носила передачи в тюрьму и, приведя в порядок жилище наше, после обыска перевернутое вверх дном, поехала в Москву, чтобы уволиться с работы и переехать в Кострому. Все было оформлено очень быстро, но, к великой моей радости, в день отъезда из Москвы я получила телеграмму об освобождении отца и тети. Как же мой брат и я были счастливы! Все же я решила не менять своего намерения, и, видимо, так было нужно. Бог привел меня пожить около отца последние месяцы его жизни, с июня 1931 по январь 1932 года. До сих пор принимаю и понимаю это как великую милость Божию ко мне, да и не только ко мне, но и ко всем нам.

Я очень скоро поступила на работу счетоводом в торговую организацию водного транспорта. Работы было чрезмерно много, и она была невероятно нудная, но выбора не было, надо было и этим быть довольной, а дома было тепло и уютно. В ноябре 1931 года кончился трехгодичный срок “минус шесть”, данный отцу после Якутии, и мы стали ждать с нетерпением дальнейшего сдвига. Я все надеялась, что Папа получит разрешение приблизиться к Москве. Его вызывали неоднократно в ГПУ, вызывали и меня, и, по-видимому, ждали каких-то указаний из Москвы. Помню, как один раз я развивала какие-то мечты и планы о переезде в скором времени, и Папа, слушая меня, вдруг сказал с грустью: “Ну, Вы поедете, а я уже здесь останусь”. Я разгорячилась и стала возмущаться такими словами, говоря, что он прекрасно понимает, что мы без него никуда не поедem, и т. д., а он грустно умолк. Было ли у него какое-то предчувствие? — Не знаю. Зима была суровая, морозная. Плохо было с едой, особенно для отца. По его больному желудку надо было бы есть легкую пищу, но ее не было. Хлеб тяжелый, картошка, льняное масло и чечевица — вот основная пища. На базаре покупали молоко.

Перед Рождеством помню, как отец говел и сказал: “Как хорошо я в этот раз за всю жизнь исповедался”.

Празднично прошли дни Рождества Христова и Святки, все ждали приезда моего брата. Наконец он приехал в Крещенский сочельник утром, пришел в церковь и принимал участие в чтении паремий и пении. Папа был очень доволен, но и крити-

ковал его чтение. У брата был блестящий слух, но настоящего голоса не было. Он мог руководить хором, помогать в любой партии, но сам переходил, любил переходить из голоса в голос. По тембру у него скорее был баритон. Он очень любил и знал хорошо церковную службу. В последние приезды его ко мне в Поленово я всегда просила его поиграть на фисгармонии, и он с любовью наигрывал “Тебе Одеющагося” Турчанинова или киевского распева “Егда от древа”.

В это время церковь Всех Святых на Муравьевке была уже закрыта, и о. Сергей, а с ним и отец мой перешли неподалеку, тоже над Волгой, в церковь свв. Бориса и Глеба.

Иногда в будние дни мы с отцом пели вдвоем, если мне удавалось пойти в церковь до работы. Особенно помню, как любил он две Херувимские песни: одна называлась “На разорение Москвы” (другого названия ее я не знаю), печальная, минорная, тягучая, и вторая “Софрониевская” — очень красивая по мелодии и простая. Я-то была далеко не первостепенной певицей, но на фоне его прекрасного голоса и опоры — получалось. И как я это любила!

Еще очень часто пели мы канон Божией Матери “Скорбных наведение” московским распевом.

Приезд брата моего на Крещение был последним при жизни отца, и как он радовался свиданию с сыном, как был оживлен, как много говорил! Никто и подумать не мог, что всего несколько дней остается ему жить на земле.

Болезнь. Кончина

Отец болел всего два дня. 28 января, по-видимому, у него уже начались боли в кишечнике, но сначала несильные. Кажется мне, что еще 29-го утром он ходил в церковь, но, придя, слег. Боли усиливались. Вернувшись с работы вечером, я нашла его сильно осунувшимся. Лежал он еще у себя. Принимались всякие домашние меры, но боли усиливались, и была явная непроходимость кишок. На 30-е, утром, мы вызвали доктора частного, к которому отец не раз обращался. Очень хороший врач, почтенный старик. Он пришел 30-го утром и нашел положение очень серьезным. Полная не-

проходимость кишок и необходимость срочной операции. В это время отец лежал уже не у себя, а на диване в нашей комнате. Боли становились у отца невыносимыми, он так изменился и осунулся, что видно было и нам, насколько положение тяжелое.

В это утро приходила Анна Владимировна, и вот ее запись, хранящаяся у меня: “Что было говорено в первые моменты после моего прихода — я не могу вспомнить. Я, вероятно, даже не слышала, так как была совсем убита, поражена видом Александра Дмитриевича, долго не могла прийти в себя. Первое, что вспоминаю, сказал Александр Дмитриевич: “Уж очень сильные боли, утром хоть отпускали на время, теперь не переставая; меняю положение, ничего не помогает”, — и в это время он все двигал то руками, то ногами, натягивал одеяло, все стараясь как будто утишить боль. “В больницу я решаюсь, может быть, там хоть немного успокоят боль”. Александра Саввишна стала готовиться к принятию батюшки, я встала, хотела уйти, боясь помешать. Александр Дмитриевич сказал: “Какая же может быть от Вас помеха”. Я сказала, что надо собраться в больницу, на это Александр Дмитриевич сказал: “Нечего собирать, мне хотелось бы взять с собою только образок преподобного Серафима. Вы знаете порядки больницы, разрешается ли это или нет? Взять еще разве маленький кусочек мыла, да нет, не надо, попрошу, когда понадобится”. Александра Саввишна вышла, и Александр Дмитриевич сказал: “Чувствую, что силы мои все слабеют, слабеют... Если будет операция, я уже не вернусь, не перенесу я, тогда Вас прошу — за меня молитесь, Анна Владимировна, и простите меня”. На это я сказала, что прощать мне не приходится — нечего, что скорее я раздражала Александра Дмитриевича. Он мне ответил: “Если когда я и говорил Вам что, то только любовно, а не раздражаясь”. Затем вошли о. Сергей и Александра Саввишна. Я вышла”. Отец Сергей с любовью причастил отца Святых Тайн.

Я побежала доставать “скорую помощь”, чтобы немедленно везти отца в больницу. Когда все ушли, я вернулась, заказав “скорую помощь”. Мы остались втроем. Боли у отца были сильнейшие, и он говорил совсем спокойно: “Я, вероятно, не выживу — умру”. Он пожелал благословить меня иконкой преподобного Серафима и сказал, думая о моем брате и обо мне: “Мне пора умирать. Вы теперь взрослые, должны жить своим умом. Я жил

последнее время только молитвой и Вашей любовью. Спасибо Вам за все”.

Около 2-х часов пришла машина “скорой помощи”, и отца на носилках вынесли со 2-го этажа. Я поехала с ним. В больнице начались долгие процедуры приема, ванны и т. д., а боли не ослабевали. Я понимала, что операция нужна немедленно, что может быть уже поздно — доктор еще утром сказал о крайней ее необходимости. Я страшно волновалась, ходила к хирургу, говорила, что атропин спасал раньше отца, но получила суровый ответ, что они знают лучше меня, что делать, и, видимо, считали, что этому больному операции делать не следует (его положение ссыльного в больнице знали). Отец видел мое волнение и возбужденность и сказал мне: “Главное — не надо раздражаться!” Сколько раз говорил он это мне, и насколько умел он сам никогда не раздражаться, а все принимать от руки Божией! Оставив отца в палате, я почти бегом направилась в переговорную телефона, чтобы дать знать в Москву брату и другим родным. На обратном пути я забежала в церковь Бориса и Глеба, где все переживали с нами волнение, начиная с о. Сергия. В больницу мы пришли с тетей Шурой, и врач нам объявил, что операция сделана, но это было бесполезно, и надежды нет, поэтому нас тут же допустили к папе, который лежал один в каком-то служебном помещении. Вскоре пришла Анна Владимировна. Отец лежал неподвижно и спокойно на спине, он был очень слаб.

Вот что потом записала тетя Шура: “В больнице, до операции, слова Саши приблизительно: “Больно очень сильно, все хуже, если доживу до утра, принесите для питья кружку, здесь пьют из своих. Когда сел в ванну, было облегченье. Прощай. Когда придете узнавать, не удивляйтесь, если скажут Вам, что я умер”. Она продолжает: “После операции слабым голосом, почти шепотом, на вопрос мой ответил: “Болит не так сильно, но все-таки схватки есть”. Пожелал поцеловать Лизу и меня. Операции не чувствовал. “Болят мускулы плечей, — потому что неловко держали, когда несли; удачно ли сделана операция?” (По-видимому, мы ответили что-то неопределенное.) Он продолжает: “Холодно. Зябнут ноги. Левая пятка. Хотел бы глубоко вздохнуть, но не могу. На руках немеют пальцы. Анна Владимировна, читайте канон Божией Матери. Он есть в толстой книге. (Читать стала я на па-

мять, по-моему, “Скорбных наведение”, что мы так любили петь. — Е. Ч.) Поправлял слова молитв, в которых Лиза ошибалась”.

Потом поднял вверх широко-широко открытые глаза, как бы увидев что-то невидимое для нас, и сказал: “Днесь благовернии людие светло празднуем...” (Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы)... Конец... Ни агонии, ни вздоха, ни смятения, торжественный покой. Мы замерли и долго стояли на коленях в эти удивительные минуты тишины.

Скончался отец мой 30 января 1932 года в 11 часов вечера.

Похороны. Любовь и дань близких. Могила

Бедный брат мой приехал рано утром 31 января с первым возможным поездом. Он нашел нас с тетенькой дома и все понял.

На следующее утро приехала тетя Аня, Катя (Юшина жена), Нина Фудель, Дмитрий Васильевич Поленов — вот все, кого я помню из приехавших близких. Бесконечно много помогала в эти дни Марина Матвеева (Беляева)⁶², жившая тогда в Костроме (“минус шесть”), она и тогда была верным, искренним другом. Анна Владимировна, семья Никольских были все около. Прямо из больницы гроб привезли в храм Бориса и Глеба. Как удивительно, что жизнь отца с самого раннего детства и до кончины была связана с храмами во имя этих святых. Отпевали отца три священника; кто был кроме о. Сергия Никольского, который глубоко переживал кончину моего отца, я не помню, но кто-то местный, костромской.

Не один раз при жизни отец говорил, что ему хотелось бы, чтобы при его погребении пели Софрониевскую Херувимскую и запричастный стих “Чертог Твой” Бортнянского. Это исполнил маленький и скорбный хор, потерявший свою опору, своего регента. Скрамнейший отец Сергей сказал над гробом такое же, как он сам, скорбное слово, полное глубокого понимания и уважения к отцу моему (сам он своими умелыми руками сделал к полугоду чудесный деревянный крест с крышей и в том же году и сам скончался и похоронен недалеко от моего отца). По моей просьбе отпевание служили полное. Я решила покрыть лицо после отпевания “воздухом”, присланным ему с мощей преподобного Серафима в ссыл-

ку (чем смутила многих женщин, решивших, что он имел сан иерея, а сана он не имел, но это было в последние годы самым заветным его желанием). Затем гроб везли на санях, на лошади, на кладбище.

До 40-го дня приезжали еще близкие; кончина была настолько неожиданной, что на похороны попасть было очень трудно. А сколько писем я тогда получила! Они и сейчас хранятся у меня, как многоголосый хор, провожающий уход отца моего в иной мир.

В том же, 1932 году, весной, мы с тетенькой покинули Кострому, но могилка отца охранялась любовью и заботой почитавших его память людей. В дни войны и разрухи уничтожены были деревянный крест (сделанный о. Сергием) и ограда, но тогда Анна Владимировна своими руками поставила маленький, как бы детский железный крестик. Позднее мы с братом были вместе в Костроме, и Анна Владимировна, уже совсем старая и больная, рассказала, что пришлось ей пережить, охраняя могилу отца. Брат поставил тогда металлический крест и деревянную ограду, которые стоят и сейчас. Кладбище старое, давно закрытое, заросло не только огромными деревьями, но и кустарником, но могила цела и сейчас, охраняемая доброй душой, получившей этот завет от Анны Владимировны и помнящей отца⁶³.

Прошло с тех пор 42 года. Годы необычайно трудные, мучительные, сложные, но ничто не может изгладить из “памяти сердца” всего, что связано, срослось для нас, моего брата и меня, а теперь уже только для меня, со светлым, мужественным, всегда бодрым и чистейшим образом нашего отца.

Его заветы, его твердая вера в Бога и Промысл Божий, его образ мыслей и отношение к жизни и людям и его поистине христианская кончина до конца дней моих останутся для меня самым дорогим, незабвенным образом.

Закончить мои записи мне хочется, дерзновенно поместив слова апостола Павла о себе самом: *Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды... и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его* (2 Тим. 4,7–8).

День Покрова Пресвятой Богородицы.
14 октября 1974 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

“ДЕТСКИЕ ГОДЫ”

Примечания

Эти воспоминания были опубликованы в: “Богословский сборник”. Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт. М., 1999. вып. 2.

¹ Софья Федоровна Самарина (1885–1922). — *Ред.*

² Дмитрий Федорович Самарин (1890–1921). — *Ред.*

³ Переливающийся (франц.). — *Ред.*

⁴ Князь Николай Петрович Трубецкой (1828–1900). — *Ред.*

⁵ Капля воды (франц.). — *Ред.*

⁶ Варвара Федоровна Самарина, в замужестве графиня Комаровская (1886–1942), см. прим. на с. 210. — *Ред.*

⁷ Княгиня Софья Алексеевна Трубецкая, урожденная Лопухина (1841–1901). — *Ред.*

⁸ Она больше кокетка для детей, чем для себя самой (франц.). — *Ред.*

⁹ Ампир (франц.) — стиль в архитектуре и декоративном искусстве, возникший во Франции в начале XIX века. — *Ред.*

¹⁰ Софья Дмитриевна Самарина (1863–1934). — *Ред.*

¹¹ Юрий Федорович Самарин (1819–1876). Старший брат деда М.Ф. Выдающийся русский религиозный и общественный деятель, славянофил, один из авторов проекта крестьянской реформы 1861 г. — *Ред.*

¹² Дмитрий Федорович Самарин (1831–1901), младший брат Ю.Ф. Самарина. — *Ред.*

¹³ Федор Васильевич Самарин (1784–1853). — *Ред.*

¹⁴ Священник Павел Флоренский (Павел Александрович Флоренский, 1882–1937) — известный религиозный писатель, философ, ученый. Был неоднократно арестован, погиб в лагере. — *Ред.*

¹⁵ Граф Владимир Алексеевич Комаровский (1883–1937), см. прим. на с. 203.

¹⁶ шурин (франц.). Князь Николай Викторович Гагарин (1873–1925), шурин Ф.Д. — *Ред.*

¹⁷ Варвара Петровна Самарина, урожденная Ермолова (1832–1905), племянница и воспитанница генерала Алексея Петровича Ермолова. — *Ред.*

¹⁸ Бульвар Александра III (франц.). — *Ред.*

¹⁹ Князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905), первый выборный ректор Московского университета; князь Евгений Николаевич Трубецкой (1869–1920), профессор Московского университета, участник Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 гг. Философы, друзья В.С. Соловьева. Общественные и церковные деятели. Дяди М.Ф. по матери. — *Ред.*

²⁰ Княжна Елизавета Николаевна Трубецкая, в замужестве Осоргина (1865–1935). Княжна Ольга Николаевна Трубецкая (1867–1947). Княжна Варвара Николаевна Трубецкая, в замужестве Лермонтова (1870–1933). Княжна Александра Николаевна Трубецкая, в замужестве Черткова (1872–1925). Князь Григорий Николаевич Трубецкой (1873–1929). Княжна Марина Николаевна Трубецкая, в замужестве княгиня Гагарина (1877–1924). — *Ред.*

²¹ Княгиня Любовь Васильевна Трубецкая, урожденная графиня Орлова-Денисова. — *Ред.*

²² Гладко причесанные волосы (франц.). — *Ред.*

²³ Это неестественно (франц.). — *Ред.*

²⁴ Роман молодого бедняка (франц.). — имеется в виду роман французского писателя Октава Фелье. — *Ред.*

²⁵ Граф Федор Львович Соллогуб († 1890). — *Ред.*

²⁶ Графиня Мария Федоровна Соллогуб (1821–1888). — *Ред.*

²⁷ Стихование называется “Созвездие”, неопубликовано. — *Ред.*

²⁸ Шалости, проказы (франц.). — *Ред.*

²⁹ Князь Петр Николаевич Трубецкой (1858–1911). — *Ред.*

³⁰ Софья Юрьевна Самарина, урожденная Нелединская-Мелецкая (1793–1879), дочь поэта XVIII в. Ю.А. Нелединского-Мелецкого. — *Ред.*

³¹ Обольстительная Софи Нелединская выходит замуж за рыжего Самарина (франц.). — *Ред.*

³² Няня сегодня сердится (франц.). — *Ред.*

³³ Так в рукописи, ранее — Автоном. — *Ред.*

“МАНСУРОВЫ”

Примечания

Мария Федоровна Мансурова (урожденная Самарина, дочь Ф.Д. Самарина) долгие годы писала воспоминания о рано умершем муже — о Сергии Мансурове и об их совместной жизни. Эти воспоминания остались в черновиках — М.Ф. была очень требовательна к себе и неоднократно переделывала написанное, так и не успев довести свои записи до законченного вида. После ее смерти, двояродная сестра М.Ф., Елизавета Александровна Чернышева (урожденная Самарина, 1905–1985), дочь А.Д. Самарина, дяди М.Ф., написала воспоминания о них обоих (о Сергии и М.Ф.), пользуясь записями М.Ф. А так как некоторое время Е.А. была в добровольной ссылке вместе со своим от-

цом, то недостающие сведения об этом периоде жизни М.Ф. ей были даны Антониной Владимировной Комаровской, дочерью Варвары Федоровны, сестры М.Ф. и В.А. Комаровского. М.Ф. очень любила Антонину Владимировну и принимала большое участие в ее жизни, жила с ней некоторое время в ссылке. Повествование ведется от лица Е.А. Чернышевой-Самариной. Примечания автора в тексте обозначены: Е.Ч., непомеченные примечания написаны А.В. Комаровской. — *Ред.*

¹ Вера Саввишна Мамонтова (1875–1907), мать Е.А. Чернышевой-Самариной, дочь известного промышленника и деятеля культуры Саввы Ивановича Мамонтова.

² Елизавета Григорьевна Мамонтова, урожденная Сапожникова (1847-1908), жена С.И. Мамонтова.

³ Юрий Александрович Самарин (1904–1965), сын А.Д. Самарина, филолог, собиратель фольклора. Был женат на Е.П. Раевской.

⁴ Усадьба Самариных. Находилась между станцией Переделкино Киевской и Баковка Западной жд. В настоящее время в пос. Переделкино занята детским пульманологическим санаторием.

⁵ Федор Дмитриевич Самарин (1858–1916). Русский общественный и религиозный деятель. В 1880 году — предводитель дворянства Богородского уезда, Московской губернии. Член Государственного Совета (1906–1907), дважды (при Витте и Столыпине) привлекался в состав правительства и отказывался от предлагаемых ему должностей. Участник и один из основателей “Кружка ищущих христианского просвещения”. Друг М.А. Новоселова. Вместе с братьями П.Д. и С.Д. Самариными продолжал после отца издание сочинений Ю.Ф. Самарина. Скончался в Москве. Похоронен на Донском кладбище.

⁶ Дом на Поварской, 38, принадлежал Самариным. Находился рядом с храмом страстотерпцев блгвв. кнн. Бориса и Глеба. Снесен в середине 1960-х гг. На его месте построено здание общежития музыкального училища им. Гнесиных.

⁷ Сергей Дмитриевич Самарин (1865–1929). Дядя М.Ф. Был женат на Ульяне Михайловне Осоргиной (1892–1977). Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Предводитель дворянства Богородского уезда Московской губернии (1889–1899). Художник-любитель. До 1917 года занимался большим хозяйством в усадьбе Самариных — Васильевском, на Волге. Во время первой мировой войны организовал лазарет для раненых в г. Серпухове Московской губернии. После 1917 года деятельно участвовал в приходской церковной жизни храма страстотерпцев блгвв. кнн. Бориса и Глеба на Поварской, где исполнял должность теще-псаломщика. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Могила не сохранилась.

⁸ Воспоминания М.Ф. о детстве составляют первую часть книги. — *Ред.*

⁹ Софья Дмитриевна (1863–1934) и Анна Дмитриевна (1872–1953) Самарини — сестры Ф.Д. Самарина.

¹⁰ Граф Владимир Алексеевич Комаровский (1883–1937). Муж сестры М.Ф. — Варвары Федоровны (1886–1942). Двоюродный брат С.П. Мансурова. Художник, иконописец. Окончил три курса юридического факультета

СПб университета. Учился недолгое время в Академии художеств. Большинство его работ утрачено. (Как, например, иконостасы в имении Медем на Волге и в храме прп. Сергия Радонежского на Куликовом поле). В 1915–1917 гг. сотрудник Кавказского отделения Земского союза по организации лазаретов для раненых воинов. С 1923 по 1925 год — художник Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры. Был неоднократно арестован. В 1925–1928 г. был в ссылке в г. Ишиме, тогда Уральской области. В 1929 году расписал главную переднюю часть храма св. Софии на Софийской набережной в Москве. Последняя его работа — роспись алтарной части кладбищенской церкви в г. Рязани. Арестован в 1937 году, расстрелян на полигоне Бутово под Москвой 5 ноября 1937 г. Из его работ сохранились: образ Донской Божией Матери (сейчас находится в Даниловом монастыре), несколько портретов, эскизы к церковным работам и рисунки разного времени.

¹¹ Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923), протоиерей. Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. Настоятель храма свт. Николая в Кленниках на ул. Маросейке в Москве. Известный московский священник тех лет, старец. С.П. и М.Ф. Мансуровы были ему близки еще до 1914 года. Особенно он помогал молитвой и утешением старшей сестре М.Ф. — Софье Федоровне (1885–1922), своей духовной дочери, страдавшей неизлечимым недугом. О. Алексей приехал в 1918 году в Измалково.

¹² Дмитрий Федорович Самарин (1890–1921) — брат М.Ф. Друг с отроческих лет С.П. Мансурова. Вместе с ним учился на историко-филологическом факультете Московского университета. В 1913 году в Марбурге, в Германии, где писал критическую работу о Марбургской философской школе, направленную против ее рационализма, заболел душевно. Перед первой мировой войной его удалось перевести в лечебницу под Смоленском, откуда он уехал и скитался. Ездил по монастырям, долго прожил в Сибири, где его арестовывали, бедствовал. В 1921 году вернулся в Москву, где вскоре умер. Похоронен на Донском кладбище в Москве рядом с родителями. Существует мнение, что он явился (отчасти) прототипом доктора Живаго в одноименном романе Б. Пастернака, бывшего товарищем его по университету.

¹³ Павел Борисович Мансуров († 1932) — отец С.П. Мансурова. Друг Ф.Д. Самарина, отца М.Ф., с которым он одновременно учился в Московском университете. По воле своего отца стал дипломатом. Долгие годы служил в Константинополе секретарем Русского посольства. Просвещенный и глубоко верующий человек, хорошо знал церковную жизнь Ближнего Востока, неоднократно бывал в Святой Земле и на Афоне. Вернувшись с семьей в 1903 году в Москву, служил директором Архива Министерства иностранных дел. Один из основателей и главных участников “Кружка ищущих христианского просвещения”. В 1919 году в Сергиевом Посаде публично выступал против закрытия Лавры, после чего несколько лет скрывался от ареста. Вернувшись в конце 1922 года в Сергиев Посад, где вскоре умерла его жена, жил с семьей сына, Сергея Павловича, а после отъезда последнего из Посада в 1925 году с семьей В.А. и В.Ф. Комаровских. В 1926 году был арестован и по приговору “минус

шесть” отбывал срок, живя в Новгороде. По возвращении в Москву быт его был неустроен, жил временами то в одной, то в другой из близких ему семей. Погиб в Москве, сбитый трамваем, летом 1932 года. Похоронен на Скорбященском (ныне не существующем) кладбище в Москве.

¹⁴ Софья Васильевна Мансурова, урожденная Безобразова († 1923), жена П.Б. Мансурова, мать о. Сергия Мансурова.

¹⁵ Князь Григорий Николаевич Трубецкой (1873–1929). Дядя М.Ф. по матери. Дипломат. Перед первой мировой войной был послом в Сербии. В 1917 году — член Собора Русской Православной Церкви. Участвовал в правительстве генерала Врангеля в Крыму. Эмигрировал. Умер в Клараме, предместье Парижа, похоронен на Кларамском кладбище.

¹⁶ Глава из книги П.А. Флоренского “Столп и утверждение истины”. Собр. соч. в 2-х томах. М., 1990. Т.1. — *Ред.*

¹⁷ Прп. Алексей Зосимовский (Федор Алексеевич Соловьев, 1846–1928). Старец-затворник Зосимовой пустыни, иеросхимонах. В молодые годы, до пострига — диакон храма свт. Николая в Толмачах; хорошо знал Ю.Ф. Самарина и его мать Софью Юрьевну, живших близко, в доме графини М.Ф. Соллогуб, урожденной Самаринной.

¹⁸ В жизнеописании прп. Алексея Зосимовского, составленном матушкой Четверухиной (женой о. Ильи Четверухина), приводятся слова самого о. Алексея о значении и влиянии того круга людей, который он узнал в этом доме.

¹⁹ Игуменья Сергия и Иоанна (Екатерина и Наталия Борисовны Мансуровы), сестры Павла Борисовича Мансурова, тетушки о. Сергия. Основательницы Сергиевского женского монастыря в Риге и Преображенской пустыни под Митавой (Елгавой). Во время первой мировой войны выехали в Новгород. Около 1926 года переехали в пос. Пушкино под Москвой, где м. Сергия в 1927 году умерла. М. Иоанна последние годы жила, скрываясь, в городе Геническе. Прах м. Сергии в 1980-м году перенесен в Преображенскую пустынь, могилу же м. Иоанны в Геническе найти не удалось.

²⁰ Василий Григорьевич Безобразов (1853–1918) — дед о. Сергия Мансурова по матери. Последний период жизни провел в Ялте, где умер и похоронен.

²¹ В “Очерках из Истории Церкви” о. Сергия Мансурова содержатся составленные им хронологические таблицы. — *Ред.*

²² “Очерки из истории Церкви” о. Сергия Мансурова в настоящее время изданы отдельной книгой: Издание Спасо-Преображенского Валаамского мон. М., 1994. — *Ред.*

²³ Юрий Александрович Олсуфьев (1878–1938). Известный специалист и исследователь древнерусского искусства и старины. До 1917 года его трудами было издано описание памятников старины Тульской губернии. По его инициативе и отчасти на его средства в 1912–1914 гг. воздвигнут храм прп. Сергия Радонежского на Куликовом поле. В годы первой мировой войны Ю.А. заведовал Кавказским отделением Земского союза. С осени 1917 года жил в Сергиевом Посаде. Был одним из организаторов и главных членов Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры (1919 год). Изучая ее собрание, составил опись древних икон

Троице-Сергиевой Лавры, написал ряд статей. Друг и родственник С.П. Мансурова, духовный сын старца Гефсиманского скита о. Порфирия. В начале массовых арестов в Сергиеве успел уехать, бросив дом, и поселился под Москвой. Работал в Реставрационных мастерских при Государственной Третьяковской галерее. В годы разорения храмов и монастырей боролся за их сохранение и реставрацию в них древних фресок, доказывая их художественное значение и ценность. С этой целью много ездил в экспедиции. В начале 1938 года арестован в пос. Косино. Расстрелян 14 марта 1938 года на полигоне Бутово.

²⁴ См. прим. на с. 203. — *Ред.*

²⁵ Петр Владимирович Истомина (1879–1937?). Внучатый племянник героя Севастополя, адмирала В.К. Истомина. Окончил юридический факультет Московского университета. Участник Русско-Японской войны. В 1915 году недолгое время был товарищем обер-прокурора Св. Синода (А.Д. Самарина). С 1915 по 1917 г. — директор Канцелярии Наместника Кавказа. После Февральской революции был приглашен с семьей в Измалково, где прожил до осени 1923 года, когда бывшие владельцы усадьбы и жившие с ними были оттуда окончательно выслены. В 1923–1928 гг. семья его жила в Сергиевом Посаде. Сам же П.В. был в 1925 году арестован и выслан летом того же года в Соловецкий лагерь на три года. По освобождении жил с семьей в Твери, затем недолго под Москвой, откуда, не пройдя как “лишенец” паспортизации, уехал в г. Орел. Через год (в 1933 году) был там арестован вместе с сыном Сергеем и дочерью Ксенией и выслан в г. Кокчетав Казахской ССР, где в 1934 году умер его сын. В последний раз П.В. был арестован в Кокчетаве в 1937 году и, очевидно, тогда же расстрелян (приговор — “без права переписки”).

²⁶ Софья Ивановна Истомина (1886–1962). Жена П.В. Истомина. Познакомилась с ним во время Русско-Японской войны, когда была сестрой милосердия на эскадре адмирала Рождественского. Ездил к мужу в Соловецкий лагерь. В 1928 году была арестована вместе с сыном в Сергиевом Посаде и выслана по приговору “минус шесть” на три года в Тверь, куда вернулся из Соловков ее муж. Жила с семьей в Орле и Кокчетаве. С.И. умерла летом 1962 года в пос. Рыбное Рязанской области. Похоронена там же.

²⁷ Прп. Анатолий (Потапов, 1885–1922) — иеромонах, старец Оптиной пустыни. Был духовником С.П. и М.Ф. Мансуровых. М.Ф. оставила о нем неоконченные воспоминания. Сохранилась записка к нему с вопросами близких Мансуровых, не имевших возможности самим к нему приехать, с ответами старца.

²⁸ Софья Владимировна Олсуфьева, урожденная Глебова (1884–1943), жена Ю.А. Олсуфьева. Двоюродная сестра М.Ф. и друг ее и о. Сергия Мансуровых. В годы революции, живя в Сергиевом Посаде, была горячей и преданной духовной дочерью старца Гефсиманского скита о. Порфирия. Разделяя труды своего мужа, ездила с ним в экспедиции, была его помощницей. Работала в музеях по реставрации, специализировалась на реставрации фарфора. Осенью 1941 года арестована в г. Дмитрове (со слов А.В. Комаровской, С.Вл. Олсуфьева была арестована в Косино) и выслана в лагерь в Свияжске, где скончалась в конце 1943 года. Похоронена там же.

²⁹ Священник Михаил Шик (Михаил Владимирович Шик, 1887–1937) — друг о. Сергия и М.Ф. Мансуровых. С 1919 по начало 1920-х гг. — сотрудник Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры. В 1925 году рукоположен во диакона свмч. митрополитом Петром (Полянским). В том же году арестован и сослан на 2 года. < В ссылке в 1927 году рукоположен во иерея. — *Ред.* >. Служил в конце 1920-х, начале 1930-х гг. в храмах свв. апш. Петра и Павла в Сергиевом Посаде, храме страстотерпцев блгвв. кнн. Бориса и Глеба в Москве на Поварской, в храме свт. Николая у Соломенной Сторожки. После закрытия храмов, где он служил, жил с семьей в Малоярославце, занимался переводами и литературной работой. Арестован осенью 1937 года. Расстрелян на полигоне Бутово в 1937 году.

³⁰ Наталия Дмитриевна Шик, урожденная княжна Шаховская (1890–1942), жена о. Михаила Шика, дочь русского общественного деятеля князя Д.И. Шаховского. Друг о. Сергия и М.Ф. Мансуровых. Детская писательница. Автор воспоминаний об о. Сергии.

³¹ Священник Сергей Сидоров (Сергей Алексеевич Сидоров, 1895–1937), был духовным сыном оптинского старца прп. Анатолия (Потапова). В 1923–25 гг. — настоятель храма свв. апш. Петра и Павла в Сергиевом Посаде. В 1925 г. арестован по “делу” свмч. митрополита Петра (Полянского), вместе с А.Д. Самариным, о. Михаилом Шиком, П.Б. Мансуровым, П.В. Истоминым и др. Выслан из Сергиева Посада. В 1937 г. арестован и расстрелян на полигоне Бутово. — *Ред.*

³² Св. мученик Михаил Новоселов (Михаил Александрович Новоселов, 1864–1938). Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. Православный мыслитель и писатель. Основал и возглавил “Кружок ищущих христианского просвещения”. Издатель “Религиозно-философской библиотеки”. Друг отца М.Ф. Мансуровой — Ф.Д. Самарина. В 20-е гг. жил против храма Христа Спасителя, в доме Ковригина. <Был неоднократно арестован. Расстрелян в 1938 г. в Вологодской тюрьме. — *Ред.*>

³³ Священномученик Сергей Мечев (Сергей Алексеевич Мечев, 1892–1941). Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. После кончины отца возглавил Маросейскую общину, став настоятелем храма свт. Николая в Кленниках. С 1929 года был неоднократно арестован и сослан. Расстрелян 28 ноября 1941 года (по другим сведениям 6 января 1942 года). — *Ред.*

³⁴ Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932). Брат Ф.Д. Самарина, дядя М.Ф. Мансуровой. Подробнее о нем см. воспоминания его дочери, Е.А. Чернышевой-Самариной, составляющие третью часть книги. — *Ред.*

³⁵ Вера Тимофеевна Верховцева (1862–1940) — духовная дочь св.прав. Иоанна Кронштадского, автор воспоминаний о нем. Вместе с дочерью Натальей Александровной Верховцевой с 1916 по 1928 г. жила в Сергиевом Посаде. В их доме после закрытия Зосимовой пустыни жил и преставился старец прп. Алексей Зосимовский. В.Т. была неоднократно арестована. В конце 20-х гг. поселилась с дочерью в Туле, где и жила до самой смерти. Похоронена на Всехсвятском кладбище г. Тулы. — *Ред.*

³⁶ Наталия Александровна Верховцева (1893–1991) — сестра милосердия во время первой мировой войны, была неоднократно арестована. В 1928 году, вернувшись с дежурства в Николин день, узнала об аресте матери (в Сергиевом Посаде, где они тогда жили), добровольно явилась в ОГПУ, попросив отпустить маму, а ее посадить вместо нее (вторая часть просьбы была немедленно исполнена). Была духовным другом епископа Германа (Ряшенцева), с которым многие годы состояла в переписке. С конца 20-х гг. жила с матерью в Туле, где и скончалась. — *Ред.*

³⁷ Прп. Алексей Зосимовский жил у Верховцевых с 1923 года. — *Ред.*

³⁸ Иеромонах Макарий. Келейник прп. Алексея Зосимовского с 1889 по 1928 г. Все это время был простым монахом, сана не принимал. После преставления прп. Алексея стал насельником Высокопетровского монастыря в Москве. Там был рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха. Расстрелян в 1930 году. — *Ред.*

³⁹ Семья профессора МДА А.П. Голубцова, жившая в Сергиевом Посаде в своем доме на Красюковке.

⁴⁰ Монахиня Сергия (Наталия Александровна Голубцова, 1896–1977), сестра епископа Сергия (Голубцова). В начале 1920-х гг. организовала что-то вроде частной домашней школы в Сергиевом Посаде, которую сама вела. Приняла постриг в 1926 г. Неоднократно подвергалась арестам и ссылкам. Конец жизни провела в Пюхтицком монастыре, где и похоронена.

⁴¹ Архиепископ Сергей (Голубцов Павел Александрович, 1906–1982). Брат протоиерея Николая Голубцова и монахини Сергии (Н.А. Голубцовой). Был другом о. Сергия и М.Ф. Художник-реставратор. В 30-х гг. был в ссылке. Участник второй мировой войны. После войны учился в семинарии и МДА. Пострижен в 1950 г., был в числе братии Троице-Сергиевой Лавры. В 1955 г. хиротонисан во епископа Старорусского, викария Ленинградской епархии, затем был епископом Новгородским. Уволен на покой по болезни в 1967 году в сане архиепископа Казанского и Марийского. Последние годы жизни провел на покое в Троице-Сергиевой Лавре. Погребен там же возле Успенского собора.

⁴² Священник Сергей Дурылин (Сергей Николаевич Дурылин, 1886–1954). Был секретарем религиозного общества им. Владимира Соловьева в Москве. Рукоположен в 1920 году. Служил в храме свт. Николая в Кленниках при св.прав. Алексие Мечеве в 1920–21 гг. В 1922 г. (и впоследствии неоднократно) был арестован и сослан. Занимался историей литературы, театра, был искусствоведем. Профессор, доктор филологических наук. — *Ред.*

⁴³ Василий Васильевич Розанов (1856–1919). Известный философ, писатель-публицист. Жизнь его семьи в Сергиевом Посаде после 1917 года была крайне тяжелой. С.П. и М.Ф. старались им помочь, чем могли, и очень их жалели.

⁴⁴ Игумен Израиль был последним настоятелем Гефсиманского скита близ Сергиева Посада в начале 1920-х гг. Умер в ссылке в конце 1940-х гг. Иеромонах Порфирий, бывший келейник старца Черниговского скита прп. Варнавы.

Глубоко почитаемый духовник Гефсиманского скита. Похоронен под Москвой на Лосиноостровском кладбище. — *Ред.*

⁴⁵ Иеромонах Диомид был ризничим Троице-Сергиевой Лавры. Иеромонах Потапий был канонархом в Троице-Сергиевой Лавре. Обладал сильным и красивым голосом. После революции был заведующим художественной мастерской, открытой при Лавре. Был неоднократно арестован и сослан. Служил на приходе. — *Ред.*

⁴⁶ Монахиня Иннокентия (Екатерина Сергеевна Хвостова, род. в 1887). Дочь С.А.Хвостова, одного из сотрудников П.А.Столыпина, погибшего при покушении на Столыпина на его даче. Духовная дочь о. Иннокентия Зосимовой пустыни. В начале 1920-х гг. жила в Сергиевом Посаде с матерью, Анной Ивановной, и близкими их родными, Раевскими. Приняла постриг в 20-х гг. Помогала монахам после закрытия монастырей. Была дважды арестована вместе с матерью А.И. Хвостовой (монахиней Анастасией). После последнего ареста в 1938 году дальнейшая судьба ее неизвестна. — *Ред.*

⁴⁷ Монахиня София (Софья Сергеевна Тучкова, 1874–1938). Жила по соседству с Верховцевыми и прп. Алексием Зосимовским на Пионерской улице в Сергиевом Посаде. В 1920-х гг. работала в Красном Кресте сестрой милосердия, вероятно, уже тогда была тайной монахиней. Расстреляна на полигоне Бутово.

⁴⁸ Пелагея Васильевна Новикова — девушкой жила у С.П. и М.Ф. Мансуровых. Ездил с ними на Кавказ. В Сергиевом Посаде оставалась с ними до начала 1919 года, когда от них уехала, и след ее потерялся. В 1960-х гг., проживая с дочерью в г. Уфе, разыскала М.Ф., переписывалась с ней. Похоронена в Уфе.

⁴⁹ Пульхерия Ильинична Пязуке. Была помощницей по хозяйству у Мансуровых в Тифлисе, затем в Сергиевом Посаде. Потом с перерывами приезжала и жила у них в Дубровском монастыре и в Верее. Умерла и похоронена в Верее.

⁵⁰ Мария Яковлевна Лефевр (Lefèvre, † 1932). Француженка, жившая у Самариных со времен детства М.Ф. до конца жизни. В семье Самариных ее очень любили. Во Франции родных у нее не было. В начале 1920-х гг. была переведена в Православие о. Сергием. Похоронена на Введенском кладбище в Москве.

⁵¹ Борис Леонидович Пастернак (1890–1960). Известный поэт. Учился в Московском университете вместе с С.П. Мансуровым и Дмитрием Федоровичем Самариным, братом М.Ф. Упоминает о последнем в “Охранной грамоте” и в “Воспоминаниях”.

⁵² Т.е. описание дня Сергея Павловича Мансурова. — *Ред.*

⁵³ Надежда Григорьевна Чулкова (1873–1961). Жена Г.И. Чулкова. В начале 1920-х гг. горячо обратилась к Церкви. Познакомилась с С.П. Мансуровым, М.А. Новоселовым (прославлен в лике мучеников, см. прим. на с. 207), затем с М.Ф. Приезжала к ним в Посад. О значении своего общения с ними рассказала в своих воспоминаниях об о. Сергии. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

⁵⁴ Георгий Иванович Чулков (1879–1939). Поэт-символист начала века. В молодости как революционер отбывал Якутскую ссылку. В 1900-х гг. был секретарем журнала “Новый путь” в Петербурге (с 1905 г. “Вопросы жизни”). Автор

нашумевшей в те времена книги “О мистическом анархизме”. Был в близком общении с наиболее известными поэтами Петербурга начала XX века. Знакомство и общение с Мансуровыми было для Г.И., как и для его жены, большим внутренним событием. В последний период своей жизни, пересмотрев свои прежние взгляды и высказывания, Г.И. отказался от них и пришел к христианской вере и к Церкви. Свидетельством тому является письмо, написанное им своей жене.

⁵⁵ Вячеслав Иванович Иванов (1866–1949) — известный поэт-символист. — *Ред.*

⁵⁶ Алеша и Тоня — дети В.А.Комаровского и сестры М.Ф., Варвары Федоровны. Упоминание о них относится к поездке Н.Г. Чулковой к Мансуровым в Сергиев Посад в 1924 году.

⁵⁷ Прп. Нектарий (Тихонов, 1853–1928) — иеросхимонах, старец Оптиной пустыни. Посещая этот монастырь, Мансуровы всегда бывали у него, о чем М.Ф. живо рассказывала.

⁵⁸ Сборник “Троице-Сергиева Лавра” был издан в 1919 г. Издание Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой Лавры.

⁵⁹ Священномученик Серафим (Звездинский, 1883–1937), епископ Дмитровский. Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. Окончил МДА; в 1908 г. пострижен и в 1909 г. рукоположен во иеромонаха. С 1914 г. архимандрит, помощник наместника Чудова монастыря в Москве. Духовный друг владыки Арсения (Жадановского). В 1919 г. хиротонисан во епископа св. Патриархом Тихоном. С 1922 г. почти все время подвергался арестам и ссылкам. Между арестами жил в Аносиной пустыни, в Дивеево, в пос. Меленки Владимирской области. Расстрелян в 1937 г. в Ишимской тюрьме. — *Ред.*

⁶⁰ Иеромонах Досифей, старец Зосимовой пустыни. После закрытия ее жил в Аносином мон. Был духовником сестер. В начале 1930-х гг. недолгое время служил в храме пристанционного дачного поселка Баковка. В 1933 году был арестован и отправлен в лагерь в Средней Азии, где вскоре и умер.

⁶¹ Варвара Федоровна Комаровская, урожденная Самарина (1886–1942) — сестра М.Ф. Жена В.А. Комаровского. С начала 30-х гг. постепенно началась ее неизлечимая болезнь, приведшая к потере движения. Скончалась от внутреннего кровоизлияния 11 января 1942 года в Дмитрове. Похоронена на Дмитровском старом кладбище.

⁶² Игуменья Евгения (Озерова, 1774–1837). Основательница Аносинной женской пустыни. Ошибка автора. Основательницей Аносинной пустыни была игуменья Евгения (Мещерская, 1774–1837). Игуменья Евгения (Озерова, 1815–1875) была её внучкой.

⁶³ Дмитрий Павлович Соколов — известный в 20-е годы врач-гомеопат.

⁶⁴ Супруги Андрей Андреевич и Александра Федоровна Григорьевы с любовью принимали у себя странников, монахов и монахинь, выброшенных из закрывавшихся тогда монастырей, оказывали им посильную помощь и давали приют. Занимали при этом тесную квартиру в 3-м Троицком пер., вблизи от Троицкого подворья, где жил в те годы св. Патриарх Тихон.

⁶⁵ См. прим. на с. 205. — *Ред.*

⁶⁶ Протоиерей Константин Ровинский (1862–1943) — принял сан по благословению св. Патриарха Тихона. Служил в храме свт. Николая в Клен-

никах. Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери при общине сестер милосердия. Был неоднократно арестован. Умер в ссылке. — *Ред.*

⁶⁷ В книге об Аносинной пустыни (“Женская Оптина”. М., 1997. с. 453) неправильно приведены дата хиротонии, место ее и епископ, рукоположивший о. Сергия. — *Ред.*

⁶⁸ Епископ Бийский Иннокентий (Соколов, 1846–1937). В 1873 г. руколожен во иерея, назначен миссионером Алтайской Духовной миссии. Пострижен в 1902 г. Епископ — с 1905 г. В 20-х гг. Был неоднократно арестован, затем проживал на покое в Николо-Угрешском монастыре вместе с митрополитом Макарием Невским (Парвицким). После кончины митрополита Макария в 1926 г. жил под Москвой. — *Ред.*

⁶⁹ Священник Александр Гомановский (1886–?). Рукоположен в 1911 г., во время первой мировой войны служил фронтовым священником. С 1919 г. проповедник и секретарь Братства ревнителю и проповедников Православия. Духовный сын протоиерея Владимира Богданова (в тайном постриге иеромонаха Серафима). С 1922 г. до 1929 г. служил в храме прп. Саввы Освященного в Москве. Арестован в 1929 г., был в заключении на Соловках, после лагеря и ссылки скрывался. В 1938 г. тайно принял монашеский постриг с именем Даниила. Второй раз арестован в 1941 г. Умер в лагере. — *Ред.*

⁷⁰ Лидия Иосифовна Фудель († 1934) — дочь о. Иосифа Фуделя (1865–1918), известного в Москве проповедника и пастыря, настоятеля храма свт. Николая в Плотниках. — *Ред.*

⁷¹ Инокния Лидия (Лидия Дмитриевна Гаврилова, 1905–1994) — регент, духовная дочь о. Александра Гомановского. В 1930-х гг. отбывала ссылку в г. Семипалатинске. В начале войны оказалась в г. Верее; вместе с архимандритом Данилова монастыря Серафимом (Климковым) уехала на его родину — Западную Украину. Весной 1945 года они были там арестованы и приговорены к 10 годам ИТЛ. После лагеря жила в г. Житомире, регентовала в кафедральном соборе. Умерла и похоронена там же. — *Ред.*

⁷² П.Д. Войков (1888–1927) — полпред СССР в Польше, убитый в 1927 году.

⁷³ Священник Петр Пушкинский — настоятель храма во имя св. пророка Илии в Верее. Был арестован в 1937 году.

⁷⁴ Алексей Владимирович Комаровский (1914–1988), племянник М.Ф. Был арестован в 1933 г. и до 1936 г. отбывал заключение в Сибирских лагерях.

⁷⁵ Храм свт. Николая у Соломенной сторожки в Петровско-Разумовском. Автор ошибается. Настоятелем храма в 1920-е гг. был о. Василий Надеждин. — *Ред.*

⁷⁶ Алексей Владимирович Шенрок († 1968). Сын известного историка литературы В.И. Шенрока. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. В начале 30-х гг. рукоположен во диакона целибатом. Отбывал ссылку в Средней Азии. Был близок к епископу Гермогену (Голубеву).

⁷⁷ Максим Петрович Кончаловский — известный московский врач. Александр Дмитриевич Воскресенский — заслуженный московский врач-те-

рапевт. Летом жил в Сергиевом Посаде, где встречался с Мансуровыми. Лидия Александровна Воскресенская, урожденная Бари. Жена А.Д. Воскресенского. Духовная дочь о. Сергия Мечева. Друг М.Ф.

⁷⁸ О. Сергей Мансуров скончался в день празднования иконы Божией Матери “Державная”. — *Ред.*

⁷⁹ Свмч. Сергей Мечев. — *Ред.*

⁸⁰ О. Сергия Мансурова соборовали о. Сергей Мечев, о. Александр Гомановский, о. Борис Холчев, о. Петр Пушкинский. Пятым священником, предположительно, был о. Сергей Никитин, в будущем епископ Стефан (1893–1963). — *Ред.*

⁸¹ Монахиня Мария (Соколова) бывшего Дубровского монастыря. После его закрытия жила у Мансуровых, помогая им. Оставалась с М.Ф. после кончины о. Сергия около года. Впоследствии жила в семье писателя К. Федин до конца жизни.

⁸² Анна Васильевна Романова — в прошлом жена писателя П. Романова. Была духовной дочерью о. Сергия Мечева, входила в его общину. Во время последней болезни и кончины о. Сергия Мансурова была рядом с ним и М.Ф. Впоследствии (до ссылки) М.Ф., приезжая в Москву, у нее останавливалась. Написала краткие заметки — воспоминания об о. Сергии.

⁸³ О. Александр Гомановский. — *Ред.*

⁸⁴ Архимандрит Борис (Холчев, 1895–1971) — в 1920 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета, специализировался по психологии. В 1927 г. рукоположен во диакона еп. Иннокентием Бийским, в 1928 г. — во иерея еп. Серпуховским Арсением (Жадановским). Арестовывался в 1922 и в 1931 гг., пять лет был в лагере. В 1955 г. пострижен в мантию и в том же году возведен в сан архимандрита. С 1955 по 1957 г. — настоятель Успенского собора г. Ташкента. С 1957 по 1971 год — духовник Ташкентской епархии. — *Ред.*

⁸⁵ Борис Павлович Мансуров (1882–1940-е гг.). Брат о. Сергия. Учился в Оксфорде. Участник первой мировой войны. Был женат на Н.Н. Шибаевой. В 40-х гг. был арестован и выслан в пос. Ярцево около г. Енисейска, где и умер.

⁸⁶ Текст проповеди предоставлен издателям дочерью о. Михаила — Елизаветой Михайловной Шик. Первая публикация в России. — *Ред.*

⁸⁷ Сохранились протоколы ее допросов. На допросах она отказалась кого-либо назвать, держалась удивительно мужественно. Из ее следственного дела: “...мои политические взгляды вытекают из моих религиозных убеждений, противоположных установкам советской власти и коммунистической партии... идеалом считала бы христианский строй, основанный на христианских началах”. — *Ред.*

⁸⁸ Священноисповедник Агафангел (Преображенский, 1854–1928), митрополит Ярославский и Ростовский. Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. Второй кандидат на местоблюстительство Патриаршего Престола по завещанию св. Патриарха Тихона. С 1922 по 1926 год был в тюрьмах и ссылке. — *Ред.*

⁸⁹ Софья Сергеевна (1905–1984) и Наталия Сергеевна (1914–1992) Самуиловы — дочери протоиерея Сергия Самуилова. Были арестованы в 1934–35 гг., приговорены к трем годам ссылки, которую отбывали в Бек-Буди (Карши), где и познакоми-

лись с М.Ф. После освобождения потеряли с ней связь. Отыскали ее в 1960 году, стали ей писать, были у нее в Боровске. Жили и похоронены в Самаре. Ими написана книга об отце, вышедшая уже после их смерти: “Отцовский крест”. Спб., 1996.

⁹⁰ Архимандрит Серафим (Григорий Юрьевич Климов, 1893–1970) — в схиме Даниил. С начала 20-х гг. был в числе братии Данилова монастыря в Москве. Был арестован в 1921 г., в 1927 году отбывал ссылку около г. Обдорска до 1932 года. Затем скитался, жил у своих духовных чад. О. Серафим родился около г. Львова на Западной Украине; во время войны, с отступлением немцев осенью 1941 г. он вернулся на родину. Служил в Житомире, активно участвовал в восстановлении храмов. Там же был арестован после войны, с 1945 до 1955 — в лагере под Красноярском. После освобождения опять скитался, жил у духовных чад. Умер в Москве. Погребен на Котляковском кладбище. — *Ред.*

⁹¹ Капитолина Михайловна, Маргарита Михайловна и Мария Михайловна Смирновы — дочери настоятеля Верейского собора, о. Михаила Смирнова. Проработали много лет учительницами в Верее и в ближайших селах. Пользовались общим уважением, не скрывая, что они верующие. Похоронены на верейском кладбище.

⁹² Вероятно, это блаженная Ксения Красавина, жившая в те годы в г. Рыбинске. — *Ред.*

⁹³ Алексей Алексеевич Сидоров — известный искусствовед и коллекционер.

⁹⁴ Монахиня Иоанна (Ирина, “Ариша”), монахиня Аносиной пустыни, служила старцу Досифею до его ареста и ссылки. Монахиня Мария из Зосимовой женской пустыни. Жили вместе вблизи Пафнутьева монастыря в домике, завещанном им бывшей его хозяйкой.

⁹⁵ Прп. Пафнутий Боровский (XV век).

⁹⁶ Евдокия Яковлевна Зуева — хозяйка дома в с. Высоком (часть Боровска), где М.Ф. прожила с начала 1950-х гг. до конца своей жизни.

⁹⁷ Игорь Николаевич Бируков (род. в 1913) — брат Е.Н. Бируковой. Познакомился с М.Ф. в начале 1950-х гг., был ее близким другом и помощником, часто навещал ее и заботился о ней. Трудился, оберегая могилу о. Сергия в Верее и родителей М.Ф. на Донском кладбище в Москве.

⁹⁸ Лидия Евлампиевна Случевская (1897–1980) — историк, ученица А.В. Бакушинского, сотрудник Литературного музея. Занималась творчеством Пушкина, Чехова и др. писателей. Талантливая, образованная, общительная; привлекала к себе живостью, доверчивостью, способностью ценить других. При этом Л.Е. с детства страдала мозговой болезнью и была физически беспомощна. Узнав М.Ф., уговорила ее писать воспоминания и первая их оценила.

⁹⁹ Евгения Николаевна Бирукова (1898–1987). Была высококвалифицированным переводчиком (переводила Шекспира, других классиков) и редактором, писала стихи — унаследованный дар от семьи матери — филологов Миллер. Принимая близкое участие в судьбе М.Ф., приглашала ее на зиму к себе, где М.Ф. было хорошо. Они вместе молились и бывали в храме.

¹⁰⁰ Любовь Ивановна Рыбакова — сестра Г.И. Чулкова, художница. Л.И. пережила смерть сына-подростка, мужа — проф. Н.М. Тарабукина, близких родных. Горячо любила М.Ф., нуждаясь сама, стремилась ей помогать.

¹⁰¹ Игорь Борисович Померанцев († в конце 1980-х), встретился с М.Ф., отдыхая в Верее в конце 1940-х гг. Кротостью, болезнью (периодически лечился в спец. клиниках), простым обхождением с людьми он напоминал ей князя Мышкина. Работал в медицинской лаборатории. Был глубоко верующим человеком; много ездил по монастырям. Навещая М.Ф., смиренно помогал ей. Был прихожанином храма св. пр. Илии в Обыденном пер., имел множество друзей.

¹⁰² Георгий Сергеевич Дунаев (1936–1978) — художник. Автор книги о Ботичелли. Преподавал в худ. училище им. Сурикова. По отзыву А.Ф. Лосева “имел в высшей степени развитое чувство духовного постижения окружающего нас мира”. Общение с М.Ф. было для него этапом жизни, отвечающим его исканиям. Был женат на М.М. Кедровой. Г.С. умер внезапно от несчастного случая.

¹⁰³ Александра Григорьевна Зуева — невестка Дуни, жившая в том же доме (другой его половине).

¹⁰⁴ Протоиерей Тихон Пелих (1895–1983) — рукоположен во иерея в 1947 г. С 1950 г. служил в Ильинском храме г. Загорска (Сергиева Посада), сначала во время настоятельства там о. Всеволода Шпиллера, затем сам стал настоятелем этого храма. Последние три года перед кончиной жил при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы в с. Акулове Московской обл., где и погребен. — *Ред.*

¹⁰⁵ Протоиерей Трофим Орлов (1939–1994) — рукоположен во иерея архиепископом Калужским Ермогеном (Голубевым) в 1965 году. С 1967 г. служил в храме Рождества Богородицы с. Роща Боровского района. Сразу после приезда в Боровск познакомился с М.Ф. и заботился о ней до самой ее смерти. — *Ред.*

¹⁰⁶ Протоиерей Николай Голубцов (1900–1963). Известный московский пастырь, литургист и исследователь церковного искусства. Сын профессора МДА по кафедре археологии А.П. Голубцова, брат архиепископа Сергия (Голубцова) и монахини Сергии (Голубцовой). В 1949 г. принял священный сан, служил в храме Ризоположения и в Малом соборе Донского монастыря. — *Ред.*

¹⁰⁷ Лидия Ильинична Полтева — в прошлом учительница. Жила в старом доме, в отдаленном районе г. Боровска.

¹⁰⁸ Надежда Павловна Комаровская — жена А.В. Комаровского, племянника М.Ф.

¹⁰⁹ Протоиерей Валериан Кречетов (род. в 1937). Рукоположен в 1968 г. В настоящее время — настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы. в с. Акулове Московской области. — *Ред.*

¹¹⁰ Архимандрит Иннокентий (Анатолий Просвирнин, 1940–1994). Осуществил публикацию “Очерков из Истории Церкви” о Сергия Мансурова в “Богословских трудах”.

¹¹¹ Протоиерей Николай Тихомиров (1896–1987) — настоятель храма пророка Илии в Обыденском пер. с 1962 по 1985 г. — *Ред.*

¹¹² Борис Александрович Васильев (1899–1976) — историк, этнограф, писатель.

¹¹³ *Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу* (Пс. 113,9). — *Ред.*

¹¹⁴ Из письма Сергея Иосифовича Фуделя (1900–1977) — сына священника о. Иосифа Фуделя (1865–1918), настоятеля храма свт. Николая в Плотниках, известного в Москве проповедника и пастыря. С.И. до революции

окончил один курс философского отделения Московского университета. Принимал активное участие в жизни Церкви после революции, был неоднократно арестован и сослан. Участвовал в Великой Отечественной войне. Автор многих религиозно-философских трудов. Последние годы жил в г. Покрове. Умер и похоронен там же. — *Ред.*

“А.Д. САМАРИН”

Примечания

Эти воспоминания были опубликованы в: журнал “Московский вестник”. М., 1990. №№ 2, 3. Примечания автора в тексте обозначены: Е.Ч., непомеченные примечания написаны А.В. Комаровской и С.Н. Чернышевым. — *Ред.*

¹ В предыдущих частях книги содержится комментарий почти ко всем упоминаемым здесь членам семьи Самариных. — *Ред.*

² Гласные — члены городских дум, земских собраний (уездных и губернских). Институт гласных был введен в городах в 1785 г. “Жалованной грамотой городам”, а по Земской реформе 1864 г. — в губернских и уездных земствах. — *Ред.*

³ Храм страстотерпцев блгвв. кнн. Бориса и Глеба на Поварской был уничтожен в начале 1960-х гг. — *Ред.*

⁴ Земский начальник — административно-судебное должностное лицо в русской деревне. Назначался губернатором и утверждался министром внутренних дел, осуществлял контроль над органами крестьянского общественного управления, утверждал должностных лиц и волостных судей. Ему передавались функции мирового судьи. — *Ред.*

⁵ Предводитель дворянства — выборная общественная дворянская должность. Дворянское собрание избирало губернского предводителя дворянства и под его председательством обсуждало сословные дела, избирало чиновников на административно-судебные должности, имело право делать представления губернатору, министру внутренних дел и даже непосредственно обращаться к царю. — *Ред.*

⁶ Священник Александр Ельчанинов (1881–1934) — русский духовный писатель, проповедник, педагог. Школьный друг ученого и богослова о. Павла Флоренского. О. Александр был первым секретарем религиозно-философского общества имени В. Соловьева. В 1926 г., находясь в эмиграции, принял сан. — *Ред.*

⁷ Вера Саввишна Мамонтова (1875–1907).

⁸ Савва Иванович Мамонтов (1841–1918) — крупный русский промышленник и видный деятель русского искусства. — *Ред.*

⁹ Валентин Александрович Серов (1865–1911) — русский живописец, выдающийся портретист, пейзажист. Бывал в Абрамцево. — *Ред.*

¹⁰ См. прим. на с. 203. — *Ред.*

¹¹ Александра Саввишна Мамонтова (1878–1952) — младшая сестра В.С. Самариной (Мамонтовой). — *Ред.*

¹² Абрамцево — подмосковное имение Мамонтовых (оно принадлежало Е.Г. Мамонтовой и потому сохранилось при разорении Саввы Ивановича в 1899 г.). Абрамцево стало центром художественной жизни: здесь собирались виднейшие

русские художники и музыканты И.Е. Репин, М.М. Антокольский, В.М. Васнецов, В.А. Серов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, В.Д. и Е.Д. Поленовы, К.А. Коровин, Ф.И. Шаляпин. — *Ред.*

¹³ Почетные попечители — выборная внесловная должность. Попечители содействовали увеличению средств учебных заведений, следили за хозяйственной частью и за ходом управления, имели право присутствовать на педагогических советах. — *Ред.*

¹⁴ Архидиакон Константин Розов (1874–1923) — известный всей Москве, знаменитый своим редчайшим басом-профундо архидиакон. В день 25-летия служения был возведен св. Патриархом Тихоном в сан Великого Архидиакона (1921) в храме Христа Спасителя. Похоронен на Ваганьковском кладбище. — *Ред.*

¹⁵ Красный Крест — общественная благотворительная организация, созданная в 1914 году для помощи раненым. — *Ред.*

¹⁶ Петр Владимирович Истомин, см. прим. на с. 206. — *Ред.*

¹⁷ Дочь Петра Владимировича Истомина, Ксения Петровна Трубецкая, в своих воспоминаниях об отце (Хоругвь. М., 1993. вып. 1. с. 59) пишет: «Он <П.В.> разделял отрицательное отношение Александра Дмитриевича <Самарина> к Распутину, но не в такой мере оценивал его влияние на Государя и ход дел, в какой полагает в своих записках дочь Александра Дмитриевича — Елизавета Александровна Чернышева». — *Ред.*

¹⁸ Епископ Варнава (Накропин) — епископ Тобольский 1913 по 1917 годы. — *Ред.*

¹⁹ Архиепископ Виленский и Литовский Тихон (Белавин, 1865–1925), (архиепископом Ярославским и Ростовским святитель Тихон был с 1907 по 1913 г.) — будущий св. Патриарх Тихон. — *Ред.*

²⁰ См. прим. на с. 207. — *Ред.*

²¹ Протоиерей Иосиф Фудель (1865–1918) — настоятель храма свт. Николая в Плотниках. Известный в Москве пастырь и проповедник. — *Ред.*

²² См. прим. на с. 208. — *Ред.*

²³ Выборы на Московскую кафедру проходили 20 и 21 июня (ст. ст.) 1917 г. в храме Христа Спасителя. 20 июня за архиепископа Тихона и А.Д. Самарина было подано равное количество голосов — 297. 21 июня при повторном голосовании за А.Д. Самарина было подано 303 голоса, за владыку Тихона — 481 голос, при 800 или 802 участвующих в голосовании. 23 июня / 6 июля 1917 г. архиепископ Тихон был утвержден Святейшим Синодом митрополитом Московским и Коломенским (ОР РГБ. ф. 26, картон 4, дело 6, л. 70 об. и л. 73 об.). — *Ред.*

²⁴ Союз объединенных приходов Православной Церкви был создан в январе 1918 г. Председателем совета «Союза объединенных приходов» г. Москвы был избран А.Д. Самарин. Совет организовал охрану Патриарших покоев на подворье Троице-Сергиевой Лавры, пытался сохранить преподавание Закона Божьего в школе, вел переговоры с властями о корректировке Декрета об отделении Церкви от государства, протестовал против вскрытия св. мощей и решал другие вопросы выживания приходов в условиях атеистической пропаганды. — *Ред.*

²⁵ Схиигумен Герман (Гомзин, 1844–1923) — настоятель Зосимовой пустыни с 1897 до ее закрытия в 1923 г. Принял постриг в Гефсиманском скиту

близ Троице-Сергиевой Лавры. О. Герман был талантливым иконописцем. Был опытным духовником и наставником. Прп. Алексий, старец Зосимовой пустыни, исповедовался у него. — *Ред.*

²⁶ Вероятно, апрель 1919 г. — *Ред.*

²⁷ Архиепископ (в будущем митрополит) Никандр (Феноменов, 1872–1933). Окончил КДА, с 1905 г. — епископ. Член Собора 1917–1918 гг. С 1922–23 архиепископ Глазовский, ближайший помощник св. Патриарха Тихона. Был неоднократно арестован и сослан. С 1925 г. — митрополит Одесский, с 1927 г. — митрополит Ташкентский и Туркестанский. — *Ред.*

²⁸ Николай Павлович Добронравов, в будущем архиепископ Николай (Добронравов, 1861–1937) — окончил МДА. В 1889 г. рукоположен во иерея. Член Собора 1917–1918 гг. Овдовев, принял постриг, с 1921 г. — епископ, с 1923 г. архиепископ Владимир и Суздальский. В 1925 г. арестован вместе со свмч. Петром (Полянским). В ссылке в Туруханском крае до 1929 г. Арестован в 1937 г. и расстрелян в Бутыво. — *Ред.*

²⁹ Священник Сергей (Сергей Иванович Фрязинов, 1880–?) — окончил МДА, кандидат богословия. Член Собора 1917–1918 гг. Арестован в 1918 г. В 1922 г. осужден на 5 лет лишения свободы по делу об изъятии церковных ценностей. Дальнейшая судьба неизвестна. — *Ред.*

³⁰ В 1918 году усадьба Абрамцево была обращена в музей, в котором было разрешено трудиться ее бывшим владельцам. — *Ред.*

³¹ Протоиерей Сергей Успенский (1854–1930) — заместитель председателя совета Союза объединенных приходов г. Москвы А.Д. Самарина. Арестован в 1919 г. по “делу Самарина-Кузнецова”, затем в 1922 г. В 1923 г. освобожден за преклонностью лет. — *Ред.*

³² Протоиерей Николай Цветков. — *Ред.*

³³ Григорий Алексеевич Рачинский (1859–1939) — видный церковно-общественный деятель. Был арестован в 1919 г. как участник Союза объединенных приходов г. Москвы и один из его организаторов, член исполнительного комитета совета Союза. От судебного преследования был освобожден перед началом процесса по “делу Самарина-Кузнецова” в силу показаний психиатра о невменяемости подсудимого. — *Ред.*

³⁴ Николай Дмитриевич Кузнецов (1868–1930) — доцент МДА, присяжный поверенный, крупный церковно-общественный деятель, член Собора 1917–1918 гг. Входил в совет Союза объединенных приходов г. Москвы. Арестован по “делу” Союза объединенных приходов в 1919 году. Освобожден в 1921 г. Арестован вновь около 1928 г. Умер в ссылке. — *Ред.*

³⁵ Н.В. Крыленко — советский партийный и государственный деятель. С 1918 г. — председатель Верховного трибунала, прокурор РСФСР. — *Ред.*

³⁶ Будущий свмч. Сергей Мечев, сын св.прав. Алексия Мечева, см. прим. на с. 207. — *Ред.*

³⁷ Сергей Павлович Мансуров (в будущем о. Сергей) — ему посвящена вторая часть книги. — *Ред.*

³⁸ Владимир Федорович Джунковский (1865–1938) — государственный деятель. Окончил Пажеский корпус. Генерал-лейтенант. Адьютант Москов-

ского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, с ноября 1905 г. — Московский губернатор. С января 1913 г. — товарищ министра внутренних дел. С 1915 г. уволен со всех постов, по личной просьбе отправлен на фронт. В 1919 г. приговорен к пяти годам тюрьмы. В 1937 г. арестован и расстрелян. — *Ред.*

³⁹ Священномученик Кирилл (Смирнов, 1863–1937), митрополит Казанский. Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. В 1887 г. окончил МДА, рукоположен во иерея. После смерти жены и ребенка принял постриг. В 1904 г. хиротонисан во епископа. В 1913 возведен в сан архиепископа. Член Собора 1917–1918 гг. В 1918 г. возведен в сан митрополита. В 1925 г. по завещательному распоряжению св. Патриарха Тихона назначен первым кандидатом на должность Местоблюстителя Патриаршего Престола. Был неоднократно арестован и сослан. Расстрелян в г. Чимкенте в 1937 г. — *Ред.*

⁴⁰ Архиепископ Волоколамский Феодор (Поздеевский, 1876–1937) — окончил КазДА в 1900 г. В том же году пострижен и рукоположен во иеромонаха. В 1909 г. хиротонисан во епископа. С 1909 по 1917 гг. — ректор МДА. С 1917 г. настоятель Данилова монастыря в Москве. Под его руководством в Даниловом монастыре была открыта Высшая богословская школа в 1918 г. С 1922 г. почти постоянно находился в тюрьмах и ссылках. Расстрелян в Ивановской тюрьме в 1937 г. — *Ред.*

⁴¹ Архиепископ Иркутский Гурий (Степанов, 1880–1938) — в 1905 г. пострижен в мантию, в 1906 г. рукоположен во иеромонаха. В 1906 г. окончил КазДА со степенью кандидата богословия. В 1909 г. — магистр богословия, в 1916 г. — доктор церковной истории. Член Собора 1917–1918 гг. В 1920 г. хиротонисан во епископа. Подвергался неоднократным арестам и ссылкам. С 1924 г. — архиепископ Иркутский. В 1938 (1937?) г. расстрелян в лагере под г. Новосибирском. — *Ред.*

⁴² Преподобноисповедник Георгий (Лавров, 1868–1932), архимандрит. Прославлен на Освященном Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2000 г. С 1880 г. — послушник, монах, иеродиакон Введенской Оптиной пустыни. Здесь же рукоположен во иеромонаха. С 1915 по 1918 г. — настоятель Мещевского монастыря в Калужской епархии. С 1922 по 1928 г. был в числе братии Данилова монастыря г. Москвы, куда был взят из тюрьмы “на поруки” владыкой Феодором (Поздеевским). С 1918 по 1932 г. подвергался неоднократным арестам и ссылкам. Вскоре после освобождения, возвратившись из ссылки в пос. Кара-Тюбе в Ср. Азии, умер в Нижнем Новгороде. — *Ред.*

⁴³ П.П. Кончаловский — художник, был близок с В.А. Серовым, В.И. Суриковым, учился в Париже, затем в Санкт-Петербурге, в Академии художеств. Стал советским художником-реалистом.

А.П. Вишневецкий — русский советский актер, был членом труппы МХАТ^а.

Братья М.В. и С.В. Сабашниковы — известные русские книгоиздатели.

С.Н. Василенко — советский композитор и дирижер, ученик Танеева.

С.К. Шамбинаго — доктор филологии, профессор; фольклорист, литературовед.

⁴⁴ Е.Д. Поленова — сестра В. Д. Поленова, художница. — *Ред.*

⁴⁵ Село Бехово сейчас расположено в 1,5 км. от музея-усадьбы В.Д. Поленова, недалеко от г. Тарусы в Тульской обл.

⁴⁶ Ольга Васильевна — дочь В.Д. Поленова.

⁴⁷ Л.М. Леонов — русский советский писатель.

И.С. Остроухов — художник-передвижник, собиратель икон, его произведения хранятся в ГТГ. — *Ред.*

⁴⁸ Алексей Владимирович Комаровский, см. прим. на с. 211. — *Ред.*

⁴⁹ Князь Кирилл Николаевич Голицин (1903–1990). — *Ред.*

⁵⁰ Юрий Александрович Самарин (1904–1965), был женат на Е.П. Раевской.

⁵¹ Священномученик Петр (Полянский, 1863–1937), митрополит Крутицкий. В 1892 г. окончил МДА. До революции работал в Учебном комитете при Св. Синоде. В начале 1920 г., призванный св. Патриархом Тихоном к епископскому служению, принял постриг, затем — в конце этого же года, хиротонисан во епископа. Ближайший помощник св. Патриарха Тихона. Местоблюститель Патриаршего Престола после преставления св. Патриарха Тихона. Почти все время с осени 1925 г. до мученической кончины провел в различных тюрьмах. Прожил 3 года в ссылке в зимовье Хэ (устье р. Оби), восемь лет был в заключении в одиночной камере. Расстрелян в 1937 г. — *Ред.*

⁵² Сергея Дмитриевича Самарина.

⁵³ Мария Федоровна Мансурова — племянница А.Д. Самарина, воспоминания о ней и ее муже, о. Сергии Мансурове, составляют первую и вторую части книги. — *Ред.*

⁵⁴ 10 июля по ст. ст. — *Ред.*

⁵⁵ Александра Саввишна Мамонтова, см. прим. на с. 215. — *Ред.*

⁵⁶ Епископ Синезий (Зарубин, 1886–1937). Возведен в сан епископа в 1926 г. На Якутской кафедре с 1927 по 1928 год. Был в оппозиции к митрополиту Сергию, в 1931 году арестован и приговорен к 10 годам лагеря (Беломорканал). Осенью 1937 г. арестован в лагере и расстрелян. — *Ред.*

⁵⁷ Мефимоны — вечерние службы первых четырех дней первой седмицы Великого Поста с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского. — *Ред.*

⁵⁸ Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–18 гг. — *Ред.*

⁵⁹ Борис Матвеевич Соколов — известный в 20-е годы фольклорист.

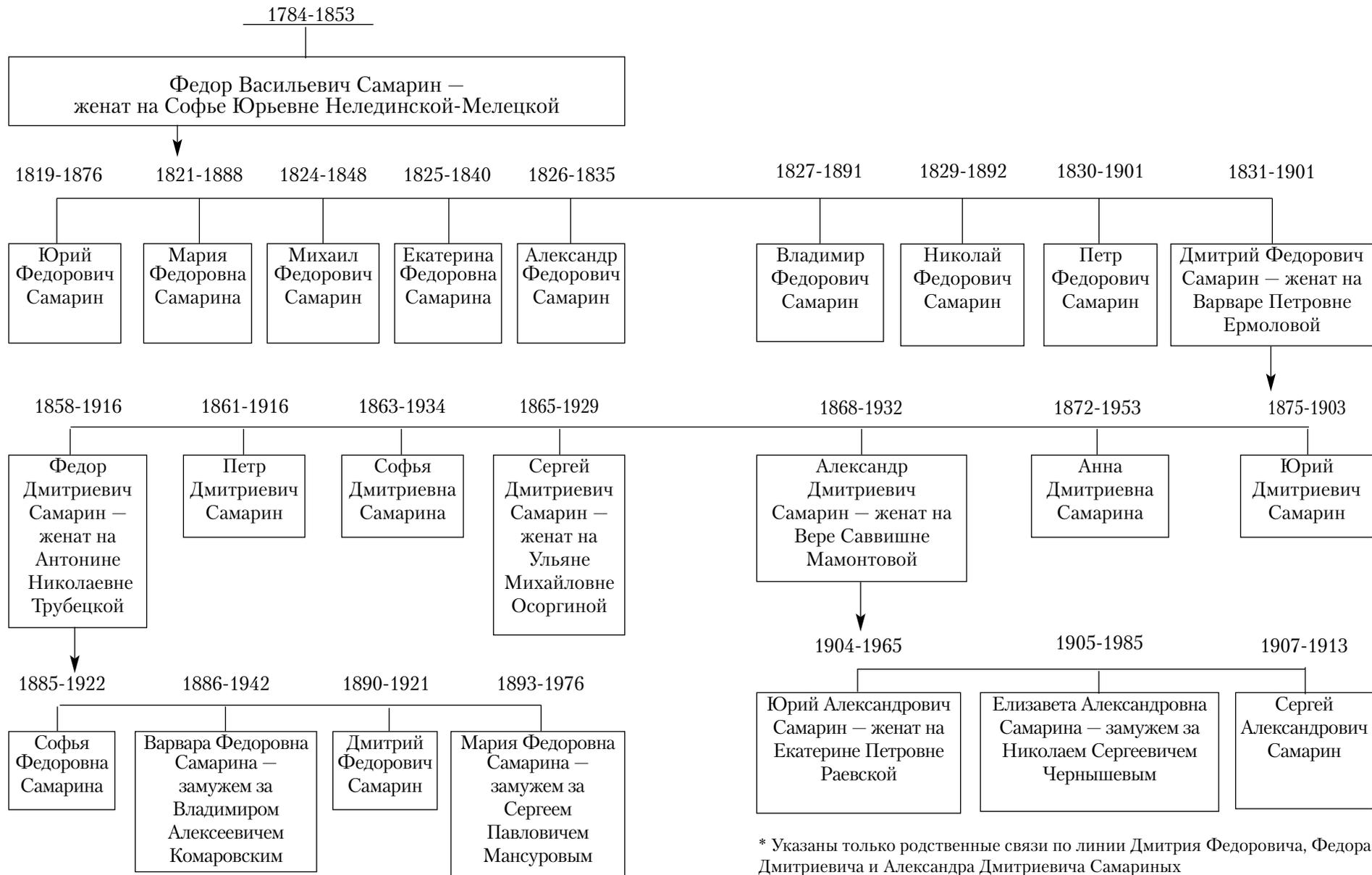
⁶⁰ Антонина Владимировна Комаровская (род. в 1916), дочь В.А. Комаровского и В.Ф. Комаровской (урожденной Самариной, племянницы А.Д. Самарина). — *Ред.*

⁶¹ Зузины — семья бывшего предводителя дворянства г. Костромы.

⁶² Марина Александровна Беляева († 1981) — жена прот. Алексея Беляева († 1987). Похоронены в Пюхтицком монастыре. — *Ред.*

⁶³ Сейчас кладбище уничтожено, но родственники отметили место захоронения.

ЧАСТЬ РОДОСЛОВНОГО ДРЕВА РОДА САМАРИНЫХ*



* Указаны только родственные связи по линии Дмитрия Федоровича, Федора Дмитриевича и Александра Дмитриевича Самариных

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
М.Ф. Мансурова. Детские годы.....	7
М.Ф. Мансурова. Е.А. Чернышева-Самарина. А.В. Комаровская. Мансуровы.....	45
Е.А. Чернышева-Самарина. Александр Дмитриевич Самарин.....	119
Примечания.....	205
Часть родословного древа рода Самариных.....	226

САМАРИНЫ. МАНСУРОВЫ
Воспоминания родных

Главный редактор протоиерей Владимир Воробьев

Ответственный редактор Н.Ф. Тягунова
Художественный редактор Л.А. Головкова
Корректор О.В. Снык

Фотографии М.В. Золотарев
Макет и верстка И.В. Плеханов, М.Г. Дзидзигури

Формат 60x90 1/16. Объем 14 п.л. Гарнитура “Петербург”
Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж.....

Издательство Православного Свято-Тихоновского
Богословского Института.
ЛР№ 030880 от 10 марта 1999 г.
113184, Москва, Новокузнецкая ул. 23б.

На первой странице обложки: Акварель работы М.Ф. Мансуровой
“Москва. Вид на Кремль”. (Фрагмент)
На последней странице обложки: Река Лена. (Фото 30-х гг.)

*На последней
странице обложки:*

Берега реки Лены.
Место изгнания
А.Д. Самарина.

